

НЕВА



7•2025

Ценим прошлое.
Открываем новое



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ксения АВГУСТ

Над плетеной корзинкой земли. *Стихи* • 3

Сергей КОРОЛЬКОВ

Кошунство. *Повесть* • 8

Дарья ЛИОНТАРИС

Там, за Ойкуменой, никто не пробовал
меня на вкус. *Рассказ* • 30

Виктория БЕЛЯЕВА

Простив сомнения. *Стихи* • 50

Татьяна ТИКУНОВА

Мушкетеры из вишневого сада. *Повесть* • 54

Ирина КРУПИНА

Лада Чернявка. *Рассказ* • 77

Макс ШАПИРО

Кукла дяди Изиди. *Повесть* • 91

Екатерина СПИРИДОНОВА

Не день — льняная скатерть. *Стихи* • 117

Марат ГИЗАТУЛИН

Книголюб. *Повесть. Окончание* • 120

Леонид БЕЖИН

Дожливая аллея, или Десять донесений
Департаменту полиции о композиторе Скрябине,
строительстве храма в Индии
и мистерии на конец времени. *Роман. Продолжение* • 160

ПЕРЕВОДЫ

Жюль БРЕТОН

Стихи. Пер. Михаила Серебринского • 190

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Марина ПЕРОВА

Жар земной. Прививка. Дачный сезон.

Дверь в небо. Рассказы • 193

АРХИПЕЛАГ БЛАГОРОДСТВА

Виктория КОТЕЛЬНИКОВА

Капитан второго ранга. Рассказ • 207

КРАСОТА СТАРОСТИ

Александр МЕЛИХОВ, Вадим ПУГАЧ,

Айгуль АХМЕТОВА

Красота старости.

Публикуется в дискуссионном порядке • 226

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Искусство чтения. Марина Кудимова. Классические корни романа «Зинзивер». **Юбилей.** К 70-летию Алексея Пурина. Александр Вергелис. Противление пустоте • 236

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Музыкальное наследие св. Франциска Ассизского.

Часть 1 • 246

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор

Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор). **Дмитрий Зенченко** (контент-редактор журнала, редактор интернет-сайта).

Дизайн обложки **А. Панкевича**

Макет **С. Булачевой**

Корректор **Е. Рогозина**

Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2025

Ксения АВГУСТ

НАД ПЛЕТЕНОЙ КОРЗИНКОЙ ЗЕМЛИ

* * *

А там, где лишь разруха, и разбой,
и пятна света на кирпичном блюде,
во рву лежат еще живые люди,
и клевер-человек и зверобой,

и ты сидишь над ними на краю
земли, обнявши голову руками,
не человек, не зверь, янтарный камень,
внутри сокрывший солнечность свою,

и ты сидишь, не отрывая глаз
от той земли, и чуть сутулишь плечи,
а там, во рву, звучат живые речи,
и перепела речь, и речь щегла,

а там, во рву, такой кипящий свет,
и жар цветочный, что еще не обжит,
но все пройдет, пройдет и это тоже,
и стих цветов, и клевер-человек,

останется лишь ров, в сухой воде
баюкающий вереск и лишайник,
и ты, на самом дне его лежащий,
янтарный камень, с прошлым в животе.

Ксения Август родилась в Калининграде. Окончила Белорусскую государственную академию музыки по классу фортепиано. Преподаватель Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова. Лауреат международных и всероссийских литературных конкурсов и фестивалей. Автор публикаций в областной и российской периодике, в том числе в журналах «Юность», «Наш современник», «Prosodia», «Южное сияние», «Гостиная», «День и ночь», «Литературные знакомства», «Дарьял», «Плавучий мост», «Балтика», интернет-альманахе «45-я параллель», «Литературной газете» и других. Автор четырех книг. Обладательница премии «Вдохновение» (Калининград, 2021) и премии «Молодой Санкт-Петербург» (2022). Член Союза российских писателей.

* * *

Это небо поет предзакатное,
собирая морщинками лоб,
точно слово, что было загадано,
и открылось, и в руки сошло,

и лежит меж ладонями красными,
и не жжется, а греет едва.
Это вечность стоит у окраины,
как облитая солнцем трава.

Глянешь ввысь и поймешь, разбазарены
звезды те, что мы не берегли,
но дрожит колыбельное зарево
над плетеной корзинкой земли,

и перо поднимается чаячье,
и корзинка надежде равна,
и плывешь в ней, и время качается
по обеим ее сторонам.

* * *

Обронила ель-швея
водяное платье,
плачет дождь, не плачу я,
я давно не плачу.

заострила красный клюв
так, что глаз хоть выплать.
Я не плачу, я терплю,
я терпеть привыкла.

Плачет ива, плачет ночь,
плачет звук расшитый,
только в ели все равно
скрыт какой-то шифр.

Переулками звезда
ходит еле-еле,
я не плачу, я — вода
на руках у ели.

Я не плачу, я хочу
знать, что в нем таится.
«Потерпи еще чуть-чуть», —
говорит мне птица,

Раз игла, и два игла,
водных сто застежек,
я не плачу, я смогла
я сумела все же.

* * *

Ребенок нежный, чистый, как слеза,
зажавший в кулачке надежды грошик,
насколько я тебя темней и горше,
и низок мой полет, и мертв мой сад,

а знаешь, как мне было в нем светло,
как музыка небесная звучала
в моей груди, и слово в ней молчало
до срока, и бессмертие цело,

но все прошло, а я еще стою
среди мертвого, как будто среди живого,
и облетает сказанное слово
по звуку в руку детскую твою,

ты — это я, но только налегке
жизнь пишущая и без адресата,
заснувшая среди живого сада
у старой вишни в мертвом кулаке.

* * *

Будьте как дети, Христос говорил,
и я ковыряюсь совочком в песке,
леплю из него пирожки и песочные замки,
мой мир, как песочница эта — нестроен и замкнут,
и замкнута я, и играть не желаю ни с кем.

Будьте как дети, Христос говорил,
и я, как ребенок, смеюсь,
бегу по волнам и песком набиваю карманы,
и верить стараюсь всему, и живу без обмана,
и знаю: дороги ведут все не в Рим, а в семью.

Будьте как дети, Христос говорил,
и я к маме бегу, за версту
увидев ее, и строку не стригу под гребенку,
и, может быть, все же и я дорасту до ребенка,
когда-нибудь, Господи, я до него дорасту.

МАМЕ

Поплачем, посмеемся, помолчим,
усталые, не спящие в ночи
две девочки, две женщины, две мамы
(ты — сильное, я — слабое звено),
две разные судьбы в судьбе одной,
скажи мне, это много или мало,

когда мы так близки, так далеки?
Твой мир — на расстоянии руки:
кастрюльки, тряпки, труд святой и рабский,

мой мир — твой мир, не вписанный в стихи,
дыхание небес, и гул стихий,
и слова путь до неба и обратно,

и белый шум, спеленутый строкой.
Не ты меня задумала такой,
но ты меня такую принимаешь,
хотя и говоришь, что все не так,
любви всегда присуща слепота,
я это знаю, я ведь тоже мама.

Любовь всегда прощает, ты прости
за то, что я не камень, а тростник,
и ветер до земли меня сгибает,
и я ему послушна всякий раз,
что я не воин, а усталый раб,
что плачу я и тычусь, как слепая,

в твои ладони — вечный мой приют,
что птицы у меня в душе поют,
когда в твоей душе они смолкают,
что нежность у меня в груди нема,
что я тебя могу не обнимать,
что не тростник я в этот миг, а камень.

Но все же сквозь слова и сквозь года
в себе тебя я вижу иногда,
и видишь ты во мне себя порою,
и мы смеемся, это осознав,
и ты, как я, растрепана со сна,
и вход в твой дом всегда не запаролен,

и я вхожу к тебе, к себе домой,
я взрослая уже давным-давно,
и я дитя, пока ты здесь со мною,
и нас беда обходит стороной,
мы родом все из детства, все равно,
из той любви в бессмертие длиною.

* * *

И полниться звуком, как легкий гобой,
и слепнуть, как море,
и пробовать воздух пробитой губой,
от боли не морщась,

и трогать ладонями детские лбы,
душ детских касаться,
и быть на ладони, а может, не быть,
а просто казаться,

а просто стиха раздувать уголек
до искры смертельной,
и с лески срываться, и биться об лед
серебряным телом,

и жизнь плавниками по кругу вращать,
и вспенивать воду,
и прежде себя научиться прощать,
а после кого-то.

* * *

Все кажется, вот юность, только я
уже в такую пору мамой стала,
вот зрелость, Боже, как же я устала,
ту юность ушивая и кроя,

ту юную бессонность пережив,
ту юную бессовестность и муку.
О, юность, перешедшая к кому-то,
изношенная мною до души,

как ты мала в груди и по плечам,
растянута и шита нитью белой,
я так устала, будто бы успела,
устала на руках тебя качать.

О, как же я устала, Боже мой,
от кротости твоей с печатью девства,
О, юность, с пухлым профилем младенца,
оставь меня, верни меня домой,

в ту комнату, где шаг был до стола,
шаг до двери и два до пианино,
где для тебя себя я не хранила,
где я тебя и вовсе не ждала,

но, зрелость, ты поближе подойди,
вот так, вот так, нет, стой уже довольно,
коснулась? Нет. Так отчего так больно?
То юность засыпает на груди.

* * *

Ночь безлунна и тиха,
вера точно,
бьется бабочка стиха
подвисочно,

перелетная едва ль,
небольшая,
бьется час и бьется два,
спать мешает.

Отмахнуться бы, но как?
Руки сонны,
бьется бабочка: легка,
иллюзорна,

бьется бабочка (и пусть)
на ріано,
бьется бабочка, как пульс
капиллярный,

бьется в гулкой голове
человечьей,
бьется миг и бьется век,
бьется вечность.

КОЩУНСТВО

Повесть

— А взрослые соображают? Бабушка надела на свою голову шапочку-одуванчик, нащупала среди фуфаяк свое зимнее пальто, и я встревожился, ведь мне она одеваться так и не велела. Неужели все-таки решила оставить меня в эту ночь в доме с прадедушкой? «Дорога темна и опасна, — аргументировала она. — Вдруг пьяница пристанет или бандит? В полях слева и справа непролазные сугробы — бежать некуда...» Ну а мне-то плевать на пьяниц, на вероятных бандитов! Ни под каким предлогом не желал бы оставаться на ночь, когда в соседней комнате... лежит прадедушка Боря, злой и страшный. Я воскликнул в отчаянии, чувствуя, что меня сталкивают во что-то темное и вязкое. Я взмолился, но тщетно — бабушка ушла, оставив меня с прадедом и прабабушкой Марусей.

Баб Маруся, чтобы немного успокоить меня, пошла на кухню готовить чай. Из гостиной в прихожую вползала чернота, чьим источником казался прадед, и, ужаленный страхом, я помчался за прабабушкой. Та, повернув вертушок золотого самовара, заботливо налила горячий чай. На кухне за котлом шумел домовый, словно шептал наговор. Его таинственный шепот не прибавлял покоя, и я поделился тревогой с прабабушкой, что из-за прадеда домовый сильно расшумелся. Она же, накладывая на блюдечко смородинового варения и угощая печеньем «Молоко», призналась, что шумит не домовый, а некий газ.

Я осторожно заглянул за котел и, к своему облегчению, никого не обнаружил. Рука прабабушки с тонкой кожей и синими венами, уходящими под гипс, указала на пляшущее пламя за стеклянным кругом. Домовый был выдуман, чтобы я, маленький, к опасному газу не приближался. Но разве прадед Боря не опасен?! А ведь меня оставляют с ним! Вспомнив об этом, я сжался и даже краешком глаза боялся смотреть в прихожую, где из щели проема в прадедово обиталище сочилась чернота. И заметил, что прабабушка сама изредка поглядывала на эту щель — то печально, то радостно.

Когда она попыталась утешить меня, что прадедушка больше не обозлится, не будет ругаться и кричать, я спросил: ее он тоже не заругает, не заставит плакать? в больницу она больше не поедет? и Муськиных котят перестанет стучать об дверь? и не заставит смотреть, как курочку на пеньке?.. Баб Маруся, охая и прижимая пальцы к губам, с ужасом отвечала: «Да... да...» Только после этого немного приободрился и принял к блюдечку с чаем.

Теплый напиток помог отогнать холод, нагнетаемый страхом, к кончикам пальцев. За окошком сквозь сферу фонаря сочился снег, в теплой кухоньке создалось ощущение уюта, безопасности. Однако не мог же всю ночь просидеть на кухне, верно? Баб Маруся разрушает иллюзию покоя страшным «Пора спать!» Безжалостно отводит меня

в гостиную, где на столе возле ее кровати лежит прадед Боря. Я отвернул голову и еле плелся вдоль стены. Увидев меня перепуганного, идущего ухом вперед, баб Маруся подбодрила словом и открыла белые двери с узорчатым, чуть прозрачным стеклом. В нос ударил горький запах лекарств. Щелкнул выключатель. Желтоватым вспыхнула застеленная кровать с продавленной панцирной сеткой, книжка со сказками обнаружилась под сеткой. Возле кровати стояла табуретка, заваленная лекарствами вокруг оранжевого радиоприемника. У противоположной стены стоял темный полированный шифоньер, возле него сервант, в углу пылесос, похожий на большой бирюзовый снаряд, низенькие окна дремали под тюлями.

Сердце сжалось, когда было велено спать в ЕГО комнате. В ЕГО кровати! Он ведь тут недавно спал! Наверное, баб Маруся с ума сошла! Наверное, что-то перепутала? Но нет. Я взмолился, чтобы не укладывала меня в эту кровать, я был готов спать где угодно, даже на чердаке. Видя бессмысленность своего сопротивления, сдавленно предрек, что до утра не доживу. На что она хладнокровно предложила спать в ее комнате возле гроба.

Выбора не было. Отчего моя бабушка взяла меня с собой, почему пошла на такую жестокость? Подумаешь, «пьяницы»! «И ладно, — сказал я горько. — Завтра увидите внука своего неживого — тогда поймете ошибку! Да поздно будет. Поздно...»

Я погрузился в прадедову кровать. Сетка со скрежетом прогнулась ниже к полу, края кровати словно приподнялись над моим худеньким телом, отчего я чувствовал себя в яме. Холоднющая простыня мерзко прилипла к рукам и ногам, одеяло показалось железным, оно давило и сковывало не хуже объявшего меня ужаса. Постель провоняла лекарствами, перья подушки чудились шприцами, скрип сетки от любого движения — недовольством прадеда. Самое кошмарное случилось, когда выключатель украл свет: я ощутил, будто прадед еще спит в ней. Дух его, призрак или фантом — не знаю — я лежал будто в его неподвижной оболочке.

Донесли скрип петель и стук стеклянных панелей закрываемых дверей, затем стихли шаги бабы Маруси. Чтобы не нарушать покоя прадеда, я боялся даже дышать, не то что пошевелиться, и делал полувдохи, сердце же стучало, как колеса об рельсы. Хоть бы оно стучало тише! Казалось, что призрачные прадедовы уши находятся возле моих и слышат мысли. Я не смел шевелиться и только глотал комки в горле от каждого шороха, будь это мышь, скрип половой доски, звон алюминиевых колец занавесок в соседней комнате или напряжение сетки подо мной.

Заныла спина — перевернуться бы на бок, но как не задеть призрачный горбатый нос, что будто бы выступает над моим и дышит? Если повернусь, призрак возмутится и взглянет на меня. И как посмотрит! Я смел спать в ЕГО кровати! Если он узнает, станет грозен и уродлив лицом и что-нибудь плохое сделает со мной. Лучше я просто закрою глаза и потерплю пока...

Не тут-то было: сеть кровати начала прогибаться, будто кто-то ухватился за нее и тянет вниз, я замер, затаив дыхание. Лишь чуть приоткрыл глаза, чтобы понять, что происходит. Края кровати росли вверх и скрывали очертания комнаты. Я иглой напрягся, отчего мышцы заболели, однако не мог выскочить и убежать, но и лежать было уже невыносимо страшно: вот-вот нечто утягивающее вниз схватит меня. Страшно и не пошевелиться, как в кошмаре, когда хочется убежать, но тело неопослушно, будто не твоё.

Пытка продолжалась недолго, и паралич слетел, но лучше не стало, ведь неожиданно спина потеряла опору, сердце чуть не лопнуло в груди, ведь я едва не рухнул куда-то. Удержался первые секунды только потому, что мои цепкие руки ухватились за загнутую на ребрах кровати сетку (спасибо моему умению лазать по деревьям),

локти машинально уперлись в сползающий вниз матрас, ноги беспомощно повисли в непроглядной прямоугольной дыре. Почти сразу локти соскользнули, и я чуть не сорвался, но пальцы крепко вжались в сетку. Меня мотнуло маятником, я чуть не отлетел куда-то за пределы дыры в глубину непроглядной темноты. И та поглотила разорванный матрас и постельное белье. Мои руки сильно исцарапались о разорванную чем-то или кем-то сеть, проступила кровь, но ощущение боли притуплено.

Я окрикнул прабабушку, но сквозь сомкнутые губы вырвался лишь слабый стон, будто моему рту запрещено было раскрываться, будто пытаюсь кричать в жутком сне, а рот мой на самом деле спит. Руки устали, я едва держался и потерял надежду на спасение, ведь отверстие, через которую была видна сумеречная комната, сужалось, сеть скрипела, сжимались ее ромбовидные ячейки и больно натирали пальцы. Подо мной разверзалась бездна, непреодолимая для человеческого взора. Даже будь у меня зрение беркута, замечающего полевую мышь за несколько километров, не думаю, что разглядел бы дно.

Из глубины донесся ужасный скорбный звон массивного колокола, перебивший мои жалкие попытки докричаться до прабабушки, да и сил кричать не оставалось. Пальцы с болью выскальзывали из ромбовидных дырочек сети, я пыхтел и едва перебирал ими другие ячейки. Сквозь слезы вдруг что-то заметил в сумеречном колодце комнаты: за дверью возник черный силуэт, дробленный рисунком стеклянных панелей.

«Баб...» — промычал я. Нет, пришла не прабабушка, понявшая шестым чувством, что нужна помощь, — тот силуэт был крупнее. Двери перед ним бесшумно, словно в вакууме, открылись, в комнату вошел ее хозяин. Мои глаза по привычке к кромешной тьме, и нетрудно было разглядеть полутона на его лице, натянутую морщинившимся носом верхнюю губу и частокол зубов. Во мраке это лицо напоминало одну из тех страшных азиатских масок.

Прадед увидел меня в дыре, его всего передернуло от гнева, он бешено подскочил к кровати и сунул свою клешню к мне. Схватив за горло, он, от природы сильный, выдернул меня из бездонной тьмы и швырнул, как куклу, куда придется, но главное, прочь от кровати. Он дыхнул возмущенно, ненавистно что-то вроде: «Что о себе возомнил, мелкая гадина?!»

Я ударился о полированные двери шифоньера, и те раскрылись. Тупая боль в спине и правом боку дала о себе знать, я зарыдал и сбивчиво попросил его остановиться, пытался объяснить в своей невинности.

Чтобы «восстановить справедливость», он угрожающе шагнул ко мне, но остановился, как только была упомянута его собственная смерть. Более того, он как-то сильно загоревал, что ли, осунулся. Стал что-то бормотать, оправдываться — только частокол зубов поблескивал в полумраке, когда он улыбками пытался сгладить свою вину, что ли. Нос его не морщился, его лицо словно сползло с черепа. Прадед трусливо оборачивался назад, украдкой посматривал на меня. В это трудно поверить, но стал покорно ждать, что я предприму дальше. Я же едва соображал от перенесенного и хотел одного, чтобы все скорее кончилось. И тут проснулся.

Сон ли, или наяву ужас творился, или где-то между сном и явью — не знал, но облегченно выдохнул, когда ощутил тепло тяжелого одеяла и увидел утренний свет. Желанный утренний свет! О я бы обнял его! Счастьем избавления обязан был светлему утру, пусть и пасмурному, и сердце мое теперь мирно постукивало, будто знало, что можно блюсти ритм без опаски. Царапин от кроватной сетки не было, сама кровать цела, а двери шифоньера плотно закрыты, как и двери в комнату. Только из гостиной слышалось, как прабабушка громко охнула. И было на что.

Край прабабушкиного постельного белья распался на подгнившие нитки, цветы на подоконниках рядом с гробом завяли, горшки потрескались. На полу рядом со столом лежала истлевшая многострадальная Муська, вокруг нее облупилась коричневая краска половых досок, многочисленные трещины порезали ножки стола (удивительно, как тот еще выдерживал свою ношу), слои полированной столешницы отлипли друг от друга и выгнулись волнами. Гроб разошелся в местах стыков, обивка превратилась в труху, как и смокинг покойного прадеда. Сам покойник лежал на своем месте, но голова повернулась на правый бок и опустилась подбородком к плечу, застывшие глаза смотрели по направлению к злосчастной кровати-провалу. Позже от случайного прикосновения прабабушки стол обвалился...

...Вух! Честно говоря, был рад выговориться, — утонул в шипении электрочайника ровный приятный голос молодого человека лет двадцати шести. Встреча с этим человеком была настолько внезапна и невероятна, насколько фантастичен приведенный фрагмент его детства, Она попросту невозможна! Однако вот она, состоялась, а значит, его рассказ... правдив. Собраться бы с мыслями... Но что он делает?! Совершенно обыденно достает из холодильника в клееночной упаковке копченый окорок и любезно предлагает его мне. А когда я отказываюсь, настаивает на чае и не колеблясь бросает пакетик в приготовленную для меня белую кружку.

Я и впрямь чувствую голод, но кавардак в голове от произошедшего и резкий запах какого-то лекарства, от которого в носу все чешется, заставляют повременить с едой. Запах проник даже сюда, в небольшую столовую, куда я был приглашен. Только теперь замечаю, где нахожусь. Под своими одноразовыми тапочками обнаруживаю новенький линолеум в розовую крапинку, стены же столовой выкрашены в лимонный лишь до половины высоты, а затем — в белый, новенький холодильник стоит у деревянного окна, перед окном накрыт скатертью-клеенкой стол, под него задвинуты стулья с охристыми спинками из кожзама, кроме, естественно, тех, на которых мы расположились.

Зовут этого внимательного человека, кажется, Аркадий. Когда он представился, было, мягко говоря, не до его имени. Только теперь обращаю внимание на то, как он выглядит. Прилично, даже очень. Начес назад и волевой подбородок очерчены чуть ли не по спирали Фибоначчи. Взгляд мягкий, даже дружеский, направленный в глаза собеседнику. Только нос, прямо падающий от горбинки к верхней губе, выглядит неуместным, словно природа была пьяна и перепутала это лицо с чьей-то угловатой рожей. Чистенький хирургический темно-серый костюм был ему впору, из-под широких штанов синели резиновые сабо.

— До вас никто не интересовался моей историей. Благодарю за ваше время, — он сел спиной к окну, через которое заглядывала ночь, и беззвучно отпил из кружки. — Вам действительно интересна моя жизнь?

— В противном случае я бы оборвал вас, — я поспешно отпиваю чайку. О боже! Каким вкусным может быть обычный черный чай, и в несколько глотков осушаю чашку. Затем все-таки соблазняюсь и с жадностью набрасываюсь на окорок, уже не обращая внимания на запах неизвестного мне лекарства. Терпения не хватает, и с набитым ртом я шепелявлю: — Так с той кошмарной ночи началась ваша тайна?

— С той. Возможно, моя особенность возникла от пережитого ужаса, однако на свете немало людей переживает и больший кошмар. Возможно, нужно поспать в кровати только что в ней умершего, провалиться в нее и затем выбраться уже... другим. А возможно, покойник должен быть таким же жестоким, как мой прадед Боря.

— Ох, е!.. — не сдерживаюсь я из-за жутких картин, что рисовало воображение на каждое слово Аркадия. — Говорят, жестокость родителей делает детей агрессивными или, наоборот, замкнутыми, но чтобы те оживляли мертвое... вы ведь на это намекаете?

— Я не замкнут, не агрессивен, напротив, мне противно насилие. Уродливая печать жестокости отразилась на мне более гротескным рисунком.

— И когда вы разглядели этот рисунок? — под впечатлением от прошлого моего жутковатого, но единственно возможного собеседника я решаюсь начать новую тему.

— Охотно поделюсь. Если коротко, тот полусон пережил на удивление безболезненно: беззаботность, отходчивость и счастье детства высветлили его тени. Но вот через четыре года я вновь встретился с мертвецом.

Рано утром, когда шел в школу, увидел, под колесом «девятки» в луже крови лежал мужчина. Колесо было в его паху, будто бы машина наехала. Я сначала струхнул, а потом пожалел несчастного и приблизился к нему: мало ли, жив еще. Нет, он был неподвижен, как восковая фигура. Знаете, что человек неживой, чувствуется сразу, что-то внутри вас отторгает мертвое, советует держаться подальше.

Люди у котельной редко ходили, поэтому я очень громко закричал, что горло чуть не разодрал. И тут колесо «девятки» спустило, потрескалось, малиновая краска облупилась, проступила ржавчина, молодая травка пожухла, даже красная кровь потемнела, затем вовсе стала неотличима от грязи. Послышалось горловое бульканье, мужчина выплюнул здоровой алой крови целую ложку и повернул ко мне голову. Он первые секунды совершенно не понимал, где находится и что происходит. Придя в себя, сдавленно произнес несколько имен, затем стих навсегда.

Тогда я не понимал, что он ожил из-за меня. Его время смерти было обновлено — это только сейчас ясно, но тогда следователь от меня не отставал и все носился с этим странным временем. Да ведь и я мало чего понимал, но с хлюпающим звуком все четыре имени отпечатались в моем мозгу. Очень пугали допросы, но мои слова помогли в поимке убийц. Я невольно сотворил благо. Сейчас думаю, и хорошо, что не знал своих сил, а то такого бы нагородил!

Только в следующий раз, когда я столкнулся со смертью, стал подозревать в себе неестественное. Это произошло лет через десять после происшествия у котельной.

Мы хоронили прабабушку Марусю на Северном кладбище. На прощание я прикоснулся рукой к ее холодному плечу и склонился над ней. Я не плакал, но горевал и не хотел, чтобы она уходила. Вдруг ее черная блуза и белый платок стали разлагаться, за ними — саван, обивка и сам гроб. Трава вокруг пожухла, а здоровая ольха близ могилы скрючилась, сбросив сгнившие листья, и растрескалась, оголив тут же заалевшую древесину. Ствол едва держался и своей неустойчивостью напугал родственников и друзей прабабушки. Все ошеломленные попятились прочь — и правильно — ствол не выдержал и упал между мной с прабабушкой и остальными. От удара ольха развалилась на потемневшие гнилые куски. Сама гниль по траве дошла до следующего дерева, но у его подножия остановилась. Видимо, достаточно употребила жизни, чтобы оживить... бабу Марусю. Конечно, тогда я всего этого не понимал и даже не задумывался, в тот жуткий момент окаменел, так и склонившись над прабабушкой. Та неохотно открыла веки, будто после глубокого сна, улыбнулась и приподняла ко мне голову. Она сипло произнесла мое имя и, плохо соображая, спросила: «Мы, что ли, вышли погулять?» Тут я попятился от гроба, споткнулся об ольховую труху и упал.

Из-за падения дерева похороны чуть не обернулись новой трагедией. Некоторые невесело посмеялись, чуть страх гибели миновал, другие задумались, отчего все вокруг так быстро сгнило, третьи просто недоумевали. Особо впечатлительные позже до-

казывали, что всему виной разгневанный прадед, якобы прабабушку ни к нему подхоранивали, и поэтому старый черт проклятие наслал. Суеверию, к моему удивлению, поддалось большинство, несмотря на популярную сейчас склонность к скептицизму. Н-да... в чем-то суеверные оказались правы.

К счастью, я был неопытен, и сил не хватало, чтобы долго поддерживать жизнь, прабабушка тут же уснула вечным сном, и в суматохе никто не заметил этого кошунственного зрелища. Похороны были отложены, но я отказался присутствовать на следующей церемонии, чем огорчил бабушку и некоторых родных. А как я мог? Да и до похорон ли было?! Что творилось в моей голове, я уж умолчу. Достаточно сказать, что в тот день прошел весь Питер от Северного кладбища до самого Купчина, не заметив того.

Не меньше семи часов петлял с севера на юг и даже боли в ногах не чувствовал. Было страшно, я дрожал, хотя июльское солнце припекало, но тепло его казалось неестественным, неприятным. Под трель трамвая на Балканской площади я наконец пришел в себя и заметил, что уже стемнело и я на юге города. К этому времени на две более-менее успокаивающие мысли согласился мой разум: нужно еще одно доказательство, чтобы точно убедиться в закономерности произошедшего, и пока его ищу, я попривыкну ко всей этой чертовщине.

Доказательство обнаружил на похоронной церемонии несколько дней спустя на том же Северном кладбище. Я стоял поодаль от мрачного действа, опасаясь вновь устроить суматоху и кому-нибудь навредить. Когда близкие усопшего разошлись, я подошел последним к свеженасыпанной могиле. Старался придать выражению лица хоть какое-то подобие скорби, отчаянно подавляя волнение перед изменениями в моей жизни, перед открытием неведомого. От внутреннего напряжения я почувствовал слабость в ногах и упал на колени, чтобы было легче, ну и давал понять тем, кто вдруг вернется и увидит меня, что сильно скорблю. Однако главным мотивом было послушать, не стучит ли кто под землей. Мне и неловко, и стыдно, но сильнее прочего чувствовал безумное отчаяние, грань потери рассудка.

Лбом коснулся песчаной насыпи, произнес имя, которое услышал на церемонии, и прошептал пожелание вернуть к жизни новопреставленного подо мной. Тут насыпь резко просела сантиметров на десять-пятнадцать, на примятой траве проступили пятна разложения, а молодые сосенки вокруг развалились. На важнейший вопрос ответ получен.

Лишь дома осознал, что насыпь просела, потому что гробовая крышка сгнила и не выдержала давления грунта, а человек в гробу ожил! Немного успокаивала мысль, что три тонны песка его тут же раздавили и он недолго мучился. Однако чувство вины росло, моя суть противилась этому кошунственному поступку. Через несколько дней я вернулся, чтобы просить прощения. Я вновь склонился над той могилой, дотронулся рукой до подсохшего песка, всеми силами души стараясь передать мертвому свои запоздалые сожаление и скорбь. Мои предположения, кстати, подтвердились, что я имею власть лишь над новопреставленными, ведь на траве оставалось то же жухлое пятно и разложение не расплзлось. Однако возник новый вопрос: в какое русло направить мою особенность? И сразу полуответ: точно не во вред людям, живым или мертвым.

Поначалу я побаивался своей пагубной силы, но потом все больше увлекался ею, пока не подчинил ей жизнь. Но это в будущем, а тогда я выкопал несколько совсем свежих могил. Со стороны это звучит безумно, но побудьте на месте того, вокруг кого встают мертвецы!

Истории первых покойников показались захватывающими, наверное, потому что рассказчики пережили их и их конец. Представьте себе, некоторые рады пожить

еще чуть-чуть и рассказать о пережитом, а другие воспринимают прошедшее очень эмоционально, особенно если смерть была внезапной. Часто истории мертвецов печальны, полны сожалений, но обладают шармом мрачной тайны, и ее хотелось разгадать. Однако уже через шесть-семь бессонных, изнурительных ночей выкапывания тонн земли и закапывания обратно я понял, что нужен другой подход, более деловой...

Кстати, о старении и увядании вокруг воскрешаемого. Мертвец будто бы впитывает в себя жизнь из ближайших источников. Чем сложнее поглощаемые организмы, тем меньше их требуется для оживления. Это к слову о крысах, что были возле вас в секционной. Их всегда беру с запасом, — напомнил Аркадий о единственной выжившей. Я же морщусь от этих воспоминаний и скорее их отгоняю прочь, но мой собеседник не сразу дает это сделать. — Жаль жизни тварей, но они отлично поглощают разложение, дают над ним хоть какой-то контроль. Семи жирных на взрослого человека среднего веса достаточно, во всяком случае, на сутки. А дольше — сил не хватает уже мне. Неорганика также разрушается, но гораздо труднее и жизненных ресурсов почти не дает. Любопытно, что при наличии органики «энтропийный столб» игнорирует неорганику, а при отсутствии или нехватке он начинает разрушать вообще все, расширяясь в диаметре, пока не поглотит достаточно ресурсов. Меня «столб» полностью игнорирует, разве что одежду может состарить, если опять же поблизости не хватает органического вещества. Обо всем этом я узнал из экспериментов над подвальными крысами. Я далек от науки, хоть моя особенность с ней сблизилась, и выводы мои наверняка неточны, но, как вы могли заметить, от крыс остался лишь прах, а клетки и плитка секционной вполне цела.

— Мне было не до плитки, и вы меня понимаете. Что до дальнейшей вашей жизни, она не менее захватывающая и столь же неприятна, чем сон в постели мертвеца, — морщусь я. — А ваш прадед не мог также... воскрешать?

— Вряд ли. Он обязательно устроил бы жуткую демонстрацию. Мне хотелось бы узнать суть моей власти над мертвыми и природу энтропийного столба, однако больше сил на поиски этих знаний я тратить не намерен, по крайней мере пока. Пусть тайна моей особенности будет скрыта. Если учесть, с чем я имею дело, ее обнаружение вряд ли может быть полезным для здоровья.

— И то верно. Тогда что вы будете делать дальше?

— И вы согласны дальше тратить свое время на меня? — недоуменно спросил Аркадий и откинулся на спинку стула. — Считаю это кощунством.

— Это мой выбор. Ваше прошлое наверняка уготовило вам невероятное будущее! И уходя, вдвойне интереснее узнать, что может быть после... М-м, понимаете?

В минутной задумчивости мой собеседник подпер щеку двумя пальцами:

— Только представляю. Что ж, — обрадовался он одними глазами, — приглашаю немного проветриться, мне есть что рассказать.

И вот мы пересекаем коридор и оказываемся в раздевалке. Новенькие, пока еще без сколов, шкафчики с лаймовыми дверцами окружают старую скамью, над ней под потолком четыре люминесцентные трубки ярко светят холодным.

— Халат, который я дал, для прогулки не подойдет, — Аркадий достал из приоткрытого шкафчика несвежую одежду с помятой парой обуви. — Ваша не успеет выстираться и высушиться, к тому же вы наверняка ею побрезгуете.

После переодевания Аркадий ведет меня по отремонтированному коридору со светло-серой плиткой на полу и бледно-желтой штукатуркой на стенах. На серебристых табличках дверей, крашенных белой масляной краской, я читаю: «Гистологическая лаборатория», «Архив», «Биопсийная». Напротив биопсийной стоит советский лакированный стол с расставленными на нем ящичками, в них же картотекой сложе-

ны «стекляшки» — как их назвал мой проводник — это стеклянные прямоугольнички с кирпичного цвета пятнами известной жидкости. По хорошо освещенной лестнице мы спускаемся на первый этаж, проходим мимо «Гримерной», «Секционной» и «Холодильной камеры № 1». Аркадий наказывает мне представиться собственным близнецом, если кто-то спросит.

— Очень впечатлительным близнецом. Все же лучше не попадайтесь никому на глаза, у меня могут быть проблемы.

Мы проходим через длинный тамбур, Аркадий открывает железную дверь в... Рай? Утро в золоте восходящего, чуть припекающего солнца, клен машет своими перепончатыми листьями, под ними ласково щебечет зяблик. Позади клена ровная лужайка с регулярно посаженными тополями, она простирается между кованым забором и подъездной дорогой почти до самой будки охранника. А небо! Небо голубее прежнего! Аркадий просит подождать — и хорошо, всласть хочется насмотреться на невиданное великолепие жизни! Да и химической вони здесь меньше, точнее, она, кажется, сохранилась только у меня в носу.

Аркадий вышел в выглаженной кремовой рубашке, в темно-синих брюках со стрелками и темно-синих кроссовках с белоснежными подошвами, и скоро мы уже шли по тенистой аллее, где под ногами приятно хрустела гранитная крошка. Переходим на людную улицу, кажется... Ленсовета. Она самая. Какая гладкая табличка, и буквы с цифрами лаконичного шрифта! О, вон люди на остановке! Кто скушает, кто думает о заботах, кто-то листает книгу в телефоне, или решается на покупку, или, быть может, наслаждается игрой, а кто-то через фронталку обнаруживает новую морщину. Вот на переходе нам не уступил зелененький «матиз» с открытым лючком бензобака. Куда торопишься, водила?! Твой лючок наверняка распахнут от самой заправки! И я восхищаюсь любой деталью жизни, что раньше казалась сущей безделицей, но все больше и больше внимания перетягивает на себя мой потусторонний спутник.

— Вы уже знаете, четыре года я даю людям возможность выговориться перед, вероятно, вечным молчанием. Зачем мне это? Я бы мог их секреты обращать в свою пользу, но лишь выслушиваю каждого, кто желает поделиться чем-либо, облегчить душу или даже покаяться. Я для них вроде загробного священника, что слушает и не берет взамен, но, наоборот, дает бесценное время. Нет, не могу иначе: в моих силах помочь, и мир от этого чуточку радостнее. Знаете, как некоторые из них благодарят? — посмотрел на меня многозначительно. — Я не сентиментален, но, признаюсь, порой едва сдерживаю слезы радости.

Есть еще причина, — решительно разогнул он указательный палец перед своим лицом, затем задумчиво прислонил его к подбородку. — Вся моя суть противится тому, что за смертью ничего не следует: воспоминания, стремления, большая часть опыта, часть знаний бесследно, безвозвратно исчезают, словно их никогда не было. Мы уходим, и в памяти поколений от нашей бушующих морей остаются капли, и те со временем высыхают. Даже о великих людях память неумолимо мельчает. В то же время слепо верить в Тот свет я не готов.

От речей Аркадия не по себе и мрачным кажется будущее. Я отвечаю с надеждой на светлое, обязательно ждущее впереди:

— Вера дает вечность — с верой полегче. Вы можете себе позволить так рассуждать, а мне страшно.

— Понимаю, но это, к моему горю, не все неприятное. Первые месяцы я оживлял из любопытства, потом же стало тяжело. Судьбы изуродованы несчастьями; некоторые мои собеседники не имели даже передышки — так и легли под... под... — Аркадий проглотил неуместную рифму и продолжил: — Хорошие люди достойны лучшего,

но в мире творится величайшая несправедливость, тогда это сильно загрузило меня. В тот тяжелый год хотелось бросить беседы с этими всеми, кому природой или божественным провидением приказано навсегда замолчать. Тот кризис, к счастью, я преодолел, но не сломался и остался при своих идеалах: для меня неприемлемо уродство человеческого мира, — тут он поднял вновь кулак и разогнул теперь уже два пальца. — Нет, мне не нужен мир без теней, но их бы подсветить.

— Не думали ли вы, что ваша особенность свет окрасит в черный? — предостерегаю я своего спутника.

— Это единственное, чего я боюсь, — признался Аркадий откровенно. — Я собираю истории, которые не должны были быть рассказаны, собираю, если можно так выразиться, Фонотеку судеб. И кое-что любопытное для себя обнаружил, прослушивая запись беседы с одним из недавних покойников. Любопытное — мягко сказано. Мой разум оживил вопрос, ответ на который только укрепил меня в моих стремлениях. Этот вопрос живых... вгонит в грусть и грозит разложить смысл стремлений и достижений, жизни в конце концов на гнилые лоскуты. Прежде чем я задам вам этот вопрос, расскажу об этой беседе и нескольких других.

Аркадий еще больше заинтриговал, но я соглашаюсь не без осторожности. Тем временем мы огибаем дворовой парк, в центре которого расположилось овальное в плане двухэтажное здание с желтыми стенами и белыми круглыми пилястрами.

— Юрий Сучков, пробуждайтесь, — произнес я тихо.

Этот новопреставленный, доживший до тридцати восьми лет, не сразу поднял бледные веки, и я было подумал, что власть моя над мертвыми кончилась. Он не приподнялся, не шевельнулся, только глупо посмотрел на меня, затем апатично уставился в потолок. Белки сверкнули над синяками, но землистое подсушенное лицо оставалось неподвижным, будто удалось оживить лишь глаза. Пряди грязных слипшихся волос распластались темными водорослями, водолазка выпачкана, в пятнах, а джинсы изгажены так, что задубели и, вероятно, приросли к ногам. К запаху нечистот я привык, а вот Юрий... Я предложил ему сходить в душ, а взамен его мерзких тряпок — чистый халат. Он не отреагировал. Был не рад и не расстроен. На мои слова, что он умер и мною оживлен, чтобы иметь возможность рассказать свою историю, чем-либо поделиться, в чем-то раскаться, ответил безразличным «плевать».

— Надеюсь, — Юрий заговорил, но через стиснутые зубы, словно ему жаль каждого произнесенного слова, — скоро отпустишь назад.

— Вам совершенно не хочется рассказывать о прошлом? Странно, обычно люди вашего положения сожалеют о чем-либо либо норовят убедить меня, что «все не так на самом деле было», или послать меня за какой-нибудь вещью, или сопроводить к родным. И уж точно все задают вопросы, где мы и что происходит, однако вам вообще все равно. Почему же?

— Кажется, — отрешенно произнес Юрий, — я сдох. Че париться?

— Почти все на вашем месте волнуются. Возможно, — на мгновение призадумался я, — прочие сильнее цеплялись за жизнь, чем вы. Простите за грубость, вы самоубийца?

— Да что ты понимаешь?! — похоже, была задета нужная струна. — Я... ты знаешь Светлану? Нет, конечно... Я ее встретил!.. А до этой встречи не жизнь была, а так... и говорить про это нечего, — безапелляционно заявил он и тут же изменил себе. — Ну, ужасного я не совершал, но сделки с совестью были, если тебе, дух, нужно, чтобы я покаялся. А так... по жизни искал свое место, где возвел бы дом, необязательно большой, но крепкий. В его уюте и тепле жили бы дорогие мне люди. А приди беда, я бы окопался, защищая его и всех, кто в нем.

А может быть, и нет. Хрен знает, способен ли кого-то защитить... Ну и к черту, теперь уж не... Ничего нет, и света нет, — Юрий запутался в собственных мыслях, но вот нашел ту, которая его еще волновала. — Да, Светлана — имя ей так подходило! Она, понимаешь, мой маленький светильничек в темном лесу. Да ничего ты не понимаешь, но скоро поймешь.

Милое, — это слово и последующие зазвучали неожиданно нежно и жизнелюбиво, — лето четырнадцатого запомнил на всю жизнь и, похоже, на более долгий срок, — его расширенные зрачки уставились на меня. — Тогда курьером подрабатывал. Закрыл заказ на Конюшенной и заметил «газельку» с пирожками рядом со Спасом. Ну и в ожидании нового клиента перекусил у кирпичного ферзя Михайловского парка. Дожевываю пирог с мясом и вижу, как спешит мамаша с телефоном у уха, свободной рукой она подтягивала рассеянную дочку. Дочь некрепко держала пакетик, чем-то туго набитый, и только подумал, что уронит, как девчушка спотыкается о выступающую брусчатку, и по всей мостовой разлетается бисерный град. На мать, видимо, многое свалилось, она взвыла от бессилия, едва не заорав на дочь. А мелкая покраснела и вот-вот заревет. Бисер же проскакал от ограды до храма и ненадолго обездвижил прохожих, боявшихся на нем поскользнуться.

Всех обездвижил, кроме той, что была в белом провинциальном платье с пестрыми цветками. Забыв про свои дела, она достала пакет из рюкзака и склонилась к бусинам. В щелях брусчатки их были сотни, если не тысячи, но ее это не смутило. Она тут же показала мелкой первую горсть, и малая приободрилась и перестала плакать.

И так сосредоточенно девушка собирала бусины и заботливо, будто нет важнее дел. Подумаешь, бисер разлетелся — мать наверняка новую пачку купит, но все меньше людей на мостовой думало так. Народ расслабился и даже воспринял это за игру: один солидный чел пожал плечами и с улыбкой поспешил на помощь, затем какая-то дамочка последовала доброму примеру, затем двое-трое... Забавно и глупо, и вот мне тоже захотелось ради прикола.

У ограды сидела бабка, торговала никому не нужными картинками. Одна из бусин закатилась за нижнюю, стоявшую прямо на брусчатке. Картина странная, но сейчас кажется пророческой: там девушка падала с белой... башни вроде бы, и тень птицы на траве... — Юрий вздохнул с грустью и сделал паузу. — Не верю в предзнаменования и прочий бред, но что это было, если не оно?

Тогда же мне было не до дурных знаков судьбы, тогда я был окрылен собственным поступком. С разрешения бабки я достал из-под картины бусину и опустил в бережно протянутый доброй девушкой пакет. И потом она едва успевала к нам, «сборщикам», и с благодарностью принимала наши горсти.

Несколько бусин закатилось под «газель» с пирожками. До последних девушка не подтягивалась, и я с удивлением заметил на ее миловидном личике твердую, бронированную решимость таки достать оставшиеся. Тогда я попросил торговку откатить ларек на пару метров, та сморщилась, но у собирательницы бус оказалась нестигаемая воля и какая-то нежная мягкость при этом. Короче, пока «газель» отъезжала, я искренне удивился ее упорству. Пока то да се, мы разговорились, выяснилось, что она опаздывает на консультацию перед экзаменом, на которую всем пришедшим препод поставит автомат. И вместо того, чтобы скинуть пакет девчонке и исчезнуть в направлении метро, она говорит той несколько ласковых слов и обнимает пришедшую в себя мать!

«Немыслимая!» — подумал я. С ходу предлагаю ей помощь, и вот мы мчимся к моей тачке. Почти без пробок доезжаем до Красноармейской, она выскакивает из машины, благодаря на бегу, я бросаю ей вслед пожелание успехов. Ее цветочки скрываются за массивной дверью университета, а мне прилетает заказ.

Я не тороплюсь его брать, сижу, жду, блин. Уезжать — колет в груди.

Добросердечная, заботливая, глаза простые, прозрачные, голубенькие, складочки у уголков губ, прижатый подбородочек, носик арабский, а в этом платье с пестрыми цветами она отдаленно напоминала молоденькую цыганочку. Прикинь, как исчезла за дверью, так и свет за ней! Понравилась она мне, — впервые улыбнулся Юрий. — И я остался ждать ее.

Она очень скоро вышла, грустная вся. Я чувствовал, ей не до меня с моими свиданиями, но такую чуткую, добрую, простую раз в жизни встретишь. Это если очень повезет. Подождать месяц, пока не закончится сессия, — ну пустяк! Я ей это все сказал и добавил: «Буду болеть за тебя, Света, — сдала ли». Она шутливо ответила: «Ого! У меня есть болельщик! Теперь все закрыто».

Какой же Светочка чудесной оказалась! — отряхнулся от апатии Юрий и приподнялся, упершись руками в стальное ложе каталки.

— Все больше восхищаясь ее простотой и самоотверженностью, я понимал, какое сокровище нашел, и говорил, и говорил ей об этом. Я высоко ценил эти ее качества, и она меня полюбила. Легко прощал, когда она добродушно извинялась, что, например, не смогла встретиться, так как объясняла однокурснице тему по... по теореме или помогала шпаклевать дыры в стенах комнаты подружки. Света говорила, что иначе какая-то Полина провалит зачет или что через те самые дыры продолжают лазать клопы и кушать ее подружку. Помню, как заметил крохотное пятнышко шпаклевки под ухом. Ох растопило меня оно! Торопилась ведь ко мне! О пятнышке, конечно же, молчал в тот вечер, понимаешь, оно по-особому красило ее.

Моя Светочка была обходительной и участливой. Придет к ней подружка в слезах из-за парня, она принималась утешать, а у самой курсовая висит. И ни слова грубого, ни взгляда холодного, а уж тем более не прогонит. Не показывала виду, что человек ей мешает, и не могла отказать в помощи. Да она тогда еще не понимала, что ей мешают. Она как бы свое «я» отбрасывала, если кто нуждался в ее поддержке.

Однажды, тогда мы уже съехались, Света припозднилась. В руках ее были полные пакеты продуктов и еще какой-то бытовой ерунды вроде порошка и, представь, контейнера для зубных протезов! Выяснилось, перед ней дед ковылял, груженный четырьмя пакетами. По замеченной тропинке парка хрустел он по десятку шагов и опускал пакеты для передышки. Старикашка уж в мыле, говорила она, и согласился на помощь. Нес же он вещи и продукты в психиатрическую, куда днем раньше забрали его бабу. Когда Света взяла пару пакетов, дед пошел быстрее. Говорила, что довела до отделения, а там санитарки забраковали большую часть ноши, выдали список, что можно приносить пациентам, и оставили его наедине с багажом и обратной дорогой в снегопад. Света и помогла. До остановки дошли, еще минут сорок ждали автобус. Дед предложил ей все, что несла.

Света всегда охотно откликлась на мои просьбы, и совместные дела мы делали без ссор. Ну почти... ну ты сам понимаешь. У нас как-то тихо, мирно все было. Я те годы вспоминаю — самые лучшие это годы, понимаешь. О них я не буду распинаться, скажу просто: жили в кайф.

Света не могла ни солгать, ни схитрить, даже когда принято, когда врут все. На одной из сессий провалила экзамен лишь потому, что, как обычно, пыталась зазубрить предмет, а не списать со шпор или хотя бы взять их в качестве «подушки безопасности». Для нее как для прилежной студентки провал экзамена стал горькой неожиданностью. Зато та Полина, на помощь которой она отвлекалась в сессию, тупо списала на пятерку! — хмыкнул Юрий неодобрительно и продолжил: — Конечно, Светочка старалась и закрыла долг в следующую сессию, но из-за него появились еще два. Тре-

тий курс был самым тяжелым, инженерные предметы стали просто жуткими. Помню, одна из ее подружек после сессии слегла в больницу с нервным срывом. А она раздарила себя и свое время, и наконец незаметно что-то надломилось в ней. Таяла ее прилежность, гас мой Светлячок. Гас...

И я понял, как хрупка она на самом деле, и я знал, как неуклюжи люди. Ее нужно было очень-очень беречь. В разговоре о ее «хрупкости» она тут же призналась, что понимает, что слишком правильная, слишком много думает о других, а о себе — в последнюю очередь. Я искренне был рад, что она осознает это. Помню, сказал: «Ты без изъянов, а здесь без них нельзя». Она едва улыбнулась, но ее «спасибо» прозвучало совсем безрадостно. По моему совету она решилась на академ, чтобы прийти в себя, отдохнуть от трудностей.

Все-таки она мыслила мрачнее и к следующему году не только не подкопила сил, но, наоборот, морально ослабела. И даже тогда не переставала помогать всем, кто попросит и не попросит. Я же ей говорил: «...оставь себя для себя. Много не надо — чуть-чуть хоть. Чтобы не испариться...» Она вроде бы прислушалась, заново потянула третий курс и сумела закрыть сессию почти без долгов. Хоть оставался один, все же она приободрилась, ведь ей препод разрешил пересдать сразу после зимних каникул. А в середине шестого семестра внезапно позвонила... как ее... короче, сожительница ее отца и сказала, что у того повторный инсульт и он хотел бы заранее попрощаться. Вспомнил, блин, папаша про дочку спустя четырнадцать лет! Я отговаривал, но Света решила отложить учебу и дернулась к нему. Нет, не любовь к отцу ее звала, к нему она остыла, — Света, как обычно, не могла отказать в помощи. Она провела с лежащим отцом в самый кризис болезни, выходила его, не побоюсь сказать, вытащила на этот свет. Заставляла двигаться, делать гимнастику. По-моему, у него только левая рука плохо слушалась после ее лечения. Да, он встал и снова мог ходить. И что? Как только мужик перестал быть мешком с картошкой и хлопот над собой больше не требовал, его сожительница попросила Свету вернуться домой, добавив, что должна быть благодарной, что отец не подает на алименты! Папаша за дочь не заступился — булькнул, что теперь ожил, но не может работать и «был бы рад финансовой поддержке». Зудит чирей! финансовой! от студентки!!! — Юрий с приглушенной яростью выругался и потерял опору, он спиной обрушился на ложе каталки.

На мой вопрос, не нужна ли помощь, ответа не последовало, только левая рука неловко схватила за грудь. Он продолжил:

— «Я научусь черствости, только так выживу. И мне нужно будет судиться с отцом, если он решится...» — заявила Света, когда вернулась. Ее слова звучали наивно, но тем сильнее кольнули меня. Я уверял ее, что ломать себя не стоит, но она только качала головой. Она не понимала серого образа жизни людей, от своего светлого отказывалась, и ей оставался лишь черный. Только сломав себя, отбросив всю эту невыгодную чушь про добро и самоотверженность, можно добиться собственного благополучия, а значит, хоть какого-то внутреннего покоя — так считала она. И очень горько было от этих слов тогда и... сейчас, — Юрий растерял остатки нежности в голосе и продолжил, но уже равнодушно: — Гас мой Светлячок, гас... Ту, что я полюбил, больше не узнавал. Она заживо себя хоронила. Тоскуя о чем-то, о чем со мною больше не делилась, она зарывалась в пески черствости, там иссушала себя и выползала безразличная ко всему. Ко мне. Чертовски больно чувствовать, как гаснет ее свет и исчезает тепло. В конце концов непонимание, отчужденность и холод выросли между нами Эверестом. Ссоры... ах, ссоры! Одна за одной, — повторил он два раза. — Настал момент нашего расставания.

Я надеялся, что Светлана заберет с собой весь негатив и хоть мне станет легче, но она забрала и веру во все хорошее. Если такие светлые существа в этом мире не выдерживают и гибнут, то знать я не хочу это место! Я понял, что не сберег свое сокровище, не защитил свой «дом». Мне было так жаль ее, что все бы отдал, только она снова стала такой, как раньше. Но что я мог уже изменить? Ни чер-та.

Она ушла — мне хуже, хотелось лезть на стену от пустоты внутри меня, от тупого нового дня. Я забухал, но от алкашки толку было мало, и тогда я нашел выход в ином.

Одним вечером вышел из магазина, скрутил пробку с горлышка и тут же влил в себя крепкое зелье. Оно, конечно, не уняло боль. Зато пока я решал, где буду выть в эту ночь, на глаза мне вновь попала надпись на стене. Та самая, которыми весь Питер исписан, которая обещает забытье взамен на собственное «я». А себе я был не нужен. Раньше только головой крутил, глядя на эти ссылки радости, а теперь показало: почему бы и нет?

И я попробовал. И было кайфово. Все сливал на это забытье. А потом захотелось подольше не возвращаться оттуда, и вот я перед тобой. На холодной железной каталке.

Когда Юрий закончил, я только тяжело выдохнул. Чувствовал себя отвратительно и подавленно.

— А что она? — надеялся я на более-менее благополучный исход.

— Ходит сейчас... призраком, — произнес он снова сквозь зубы.

— Хотелось бы вам помочь... — искренне произнес я, скорее обращаясь к легионам страдающих, чем к самому Юрию, но тот перебил.

— Тогда положи скорее под крышку, — он вытянулся на каталке и сложил руки на груди, как положено покойнику, и терпеливо ждал моих действий. Отчужденный взгляд Юрия выражал: «Плевать».

Мы вышли на островок красноватой квадратной брусчатки в зеленом море газона, несколько скамеек располагалось по его берегам. Аркадий предложил присесть на ту скамью, что в теничке. С площадки детского сада, что за высокими прутьями забора, долетели радостные голоса. О, как приятно бы было здесь сидеть, если бы не мрачная история наркомана! Она будто сделала тени чугунными, а окружение, купающееся в солнечных лучах, неприветливым.

— Как вы выносите подобное? — хмуро удивляюсь стойкости моего спутника.

— Не рехнуться помогает вопрос: «Что делать, чтобы избежать подобного?», и еще обычно меня бодрит мысль, что теперь у них есть возможность выговориться перед концом. К сожалению, но не в тот раз.

— Да, он совсем не цеплялся за суетное, — все волнуюсь о Юрии и его Светлане. — Ушел без мира и покоя, без злости, без ненависти, совершенно опустошенный, ни то ни се. А был счастлив со своей подругой. Сердце кровоточит от этой истории!

— Мы лишь можем надеяться, что Светлана получила искомое благополучие. Хотя в каком-то роде ее суть умерла... Ладно. Для нас с вами главное другое: заметили, каким путем они оба пошли для достижения этого благополучия?

— Еще бы! Юрий убил себя, а его подруга решила стать тем, кем не являлась, — недоумеваю, отвечаю я на странный вопрос.

— Оба изломали свою суть, душу, если угодно. А вот, например, Галина, скажем, Жданова ничего подобного не делала, — Аркадий сменил вдруг тему, к моей радости, оставив мрачную позадю. — Она избрала другой путь...

— Ох, который час? — едва пробудившись, спросила женщина пятидесяти шести лет. О прожитых годах красноречиво свидетельствовали глубокие морщины на тяго-

теющем к земле лице, седина в коротких волнистых волосах и блеклые глаза. Перед этими глазами не раз рушился мир, и пыль от обрушений плотными слоями скрывала их блеск. Бабушка была одета в сиреневую кофту и в строгую черную юбку, капроновые носки и старомодные туфли со шнурками.

— Полпервого ночи, Галина.

— Быть не может... Вы кто такой? Где Тоня? Где моя внучка?! Тонюшка была возле меня! — каждая ее фраза затухала, словно огонь, которому не хватало кислорода. — Я должна была с ней ехать на занятия!

— Где вы виделись в последний раз?

— На остановке, на улице... голова закружилась, я присела на скамейку, а потом все потемнело, и вот я здесь.

— Галина, ваша внучка дома — тут я вас успокою. И мне не следовало бы вас нервировать, но я скажу правду, чтобы вы мне доверяли: с ней не все в порядке...

— Что?! Что с ней??? — перебила взволновавшаяся бабушка.

— Она скорбит по вам, Галина. Пожалуйста, оглядитесь вокруг.

— Некогда мне в гляделки играть... Чем тут так воняет? Господи! Крысы! — она заметила в клетках моих маленьких полуистлевших бедняжек и брезгливо сморщила и без того морщинистое лицо. Судорожно похлопала себя по пустым карманам и тревожно спросила: — Нет ли у вас телефона? Хотелось бы знать, в порядке ли моя внучка. Никак свой не могу найти...

— Его забрал я. Сожалею, не могу позволить вам связаться с родными. Для их же блага. Через пару дней они сами приедут к вам, чтобы проститься. Галина, ваш жизненный путь окончен, — новость шокирующая, но мой спокойный голос особенно умиротворителен и убедителен для новопреставленных. Поэтому, пробуждаясь, никто не бесится и не крушит все вокруг. Кстати, они также не могут мне солгать. Об этом я узнал при беседе с одним вралем: того от правды скривило, язык его ломался, а сам он все поражался, что не врет.

Галина какое-то время тупо смотрела на меня, хотела что-то возразить или спросить, но тотчас передумывала. Она теперь внимательно осмотрела секционную, стальные столы с раковинами и свою каталку, с которой свесила ноги, взглянула на свою юбку, запачканную собственными выделениями, и поморщилась от запаха. Мое почтительное молчание лишь доказывало мрачный факт, по крайней мере, мне так показалось.

— Что за цирк? Я жива и говорю! Это розыгрыш? Где-то скрытая камера?

— Нет. Я призываю вас, Галина, поверить мне, ибо у вас времени — до конца моей смены, до утра.

Вкратце я объяснил, как пробудил ее от вечного сна, насколько и зачем.

— Утром вы уснете навсегда, воспользуйтесь отведенным временем с толком. Наступил час подумать, поговорить, о чем не успели, посмотреть на свою жизнь со стороны, быть может.

— С вами, что ли, мою жизнь обсуждать?

— К несчастью, только со мной.

— А с какой стати?

— Ни с какой, — спокойно отвечаю ей. — Вы можете молчать до самого рассвета, я буду неподалеку, если вдруг передумаете.

— Зачем же вам моя жизнь?

— Простите меня, если оскорблю, я не верю в рай после смерти. Хотелось бы, но не могу. Есть вероятность, что за смертью ничего не следует. Если так, то моя практика бесценна. Если же что-то следует, то мое вмешательство вряд ли приносит какой-

либо вред. Жизнь слишком ценна, и обрывать ее на полуслове, как в вашем случае, — это грубость и несправедливость.

— А-а, вы маньяк!

— Не хотите — не говорите, — не обращаю внимания на оскорбление, она имела на это слово право. — Меня же ужасает мысль, что через несколько часов вы замолчите навсегда, не сказав того, чего бы хотели.

— Вы убьете меня?

— Ни в коем случае, и пытаться, издеваться тоже. Послушайте внимательно, что я вам говорю. У вас впереди, возможно, вечная эпоха молчания, так не желаете ли наговориться вдоволь?

Галина, осознав наконец свое положение, неслышно заплакала. Только сморщенный подбородок ходил вверх-вниз и заслезилась покрасневшие глаза. Я не торопил ее и терпеливо ждал.

Когда она немного пришла в себя, предложил душ, чистый халат и горячий чай. После первого глотка она безостановочно стала спрашивать про Вику, и Лену, и «проспиртованный воротничок». Первые две — ее дочери, а воротничок...

— Муженек мой — словоплой, и не более, — продолжала Галина, немного успокоенная горячим душем и чаем. — Он казался заботливым когда-то, когда был моложе. Я надеялась прожить с ним счастливо, но его рожа скоро поплыла от водки, а мои надежды... Тьфу! Что тут говорить, — горечь оборвала ее на полуслове. — Хотя я думала, он вперед меня отправится на тот свет, а оно вон как вышло. Я... я не помню ничего. Как присела на лавочку остановки, так и встала тут... Ничего будто бы не было.

— Да, как у остальных. Это наводит на грустные мысли, но будем надеяться, что это лишь некая неведомая «пауза».

— Что ж, меня попросту может не быть?

— Увы, не знаю, — я развел руками и заглянул прямо в заплаканные глаза Галины. — Чувствуете теперь ценность этих дополнительных часов?

— Господи, я же всего не успела! — вдруг осознала она, что жизнь сжалась до пары часов и вот-вот будет совсем раздавлена, а все желания уничтожены.

— Что именно? — полюбопытствовал я, чтобы разговорить собеседницу.

— Ну как же? Тонюшку отдать в балетную школу — моя инициатива. Только мы поехали — и на тебе! А Леночка, доченька моя! На кого ж я тебя, неокрепшую, оставила?.. — запричитала расстроенная Галина. — А муженек мой старый... А я сама...

— А вы сами?..

— А я надеялась, что вот начнет Тоня на балет ходить, Лена совсем поправится, да мой жрец одеколонный закодируется, и будет наконец у нас хорошо, как у Вики. Хоть у нее все замечательно: и мужик приличный, заботливый, и детки радуют, Коленька с Наташей хорошенькие.

— На балет наверняка вашу Тонюшку будет водить мать.

— Лена как раз в больнице. Да я ж сама хотела видеть, как внучка впервые встает на пуанты, как когда-то вставала я. А это ведь будто вчера было... Ах, горько вспоминать! Я ж была как пушинка. Мария Григорьевна, моя преподавательница, восхищалась моим талантом, — у Галины глаза заслезилась от воспоминаний о далеком, ласковом, до боли родном прошлом. В нем она пребывала сознанием, и я не возвращал ее к действительности.

Вдруг мягкая улыбка омолодила ее лицо:

— Помню, мне двенадцать было, когда впервые влюбилась. Беда только, что чувство невзаимным оказалось. Долго сохла по... по... вспомнила! Андрюшей его звали! У него еще походка была смешная: руками размахивал, когда ходил. Он смел и спра-

ведлив был, маленьких в обиду не давал. Меня-то не замечал, вроде бы сам ухлестывал за какой-то постарше.

Настрадалась, но все равно с теплотой вспоминаю. Мама советовала больше думать о балете, я так и поступила. Вскоре мое будущее закружилось прекрасной балериной передо мной, и уже себя я представляла на сцене Мариинского театра и позабыла свои чувства. Боль притупилась, когда мечта воплотилась. Да... — Галина улыбнулась сладко и в то же время немного горько. — Адский труд, скажу я вам, и бесконечные превозмогания себя, но первый выход на сцену стоил всех усилий.

На втором курсе на репетицию «Щелкунчика» задуло к нам москвича Славу. Танцор он был неплохой, и какой обаятельный! Его сногшибательная улыбка сбивала всех нас, фарфоровых куколок, как мячик кегли. Вздохов по нему было, ой! — Галина махнула рукой. — Вскоре закапали девичьи слезы, ведь он вдрызг влюбился в одну из нас. Сам красный ходил, какой-то пришибленный, пока не решился-таки пролепетать что-то невнятное объекту обожания. А та, дура, взяла и улыбнулась в ответ! Нет чтобы хвостом вильнуть, для вида хоть! Он же осторожно, неназойливо ухаживал за ней, бывало неуклюже, но оттого смешнее и милее. И дура-голубка поддалась, — с тихой досадой произнесла Галина.

Я занималась любимым делом, чувствовала радость любви, и все вокруг будто блесело золотом, а впереди только светлые, лучшие времена. Все было прекрасно, лишь одноклассницы зуб заточили на меня и чуть не изжили, но Слава круто повернул свою судьбу, и они стихли. Против воли матери он бросил балет и захотел стать юристом. Изменилась и моя судьба. Через где-то год после свадьбы родилась Вика; я стала мамой, балет пришлось оставить и мне. Об этом всю жизнь жалела и жалею, — дрогнул ее голос. — Не поймите меня неправильно, я была рада дочери и между балетом и ею выбрала ее, но разрушилась моя мечта, и весь многолетний труд оказался насмарку. Ну ничего, мы зажили в комнатенке коммуналки, в ней я окружила уютом и любовью Вику и Славу и отдавала семье всю себя.

Только отпустила прежнюю мечту и прониклась к новой, как пришлось отложить и эту. Забрали моего Славу на два года в армию, да далеко отсюда, под Хабаровск. Чтобы прокормить себя и Вику, я устроилась в театр буфетчицей. Ну и ничего, потихоньку мы вдвоем дождались папу.

Помню перрон, мерцавший на солнце, и топот маленьких сандаликов моей Вики, радость родственников и пробиравшее до дрожи в руках неумное волнение перед долгожданной встречей. Когда увидела Славу, не выдержав, расплакалась; он первой обнял прослезившуюся мать, затем меня, но... — печаль повисла на лице Галины. — Ох, тоска зеленая! Я тогда впервые почувствовала в нем что-то чужое. Мы вновь вместе, я старалась, чтобы все было по-старому, но Слава изменился. Он стал более...крепощенным и при этом легкомысленным ко мне. Постепенно он отдалялся от меня, часто задерживался в ЛГУ (куда он так поступил не без помощи дядьки), или у друзей, или на партсобраниях, или еще где-нибудь, где повод найдет. Я чувствовала, что теряла его, и сильно мучилась от этого.

Когда поняла, что снова беременна — это случилось двумя годами позже, — Слава психанул и убежал и два дня где-то пропадал. Тетка мне говорила: «Вот родится ребеночек, муж обомлеет и будет любить тебя пуще прежнего». Я верила и терпеливо ждала рождения второго чада. С чего тетка взяла, что так будет? Разве можно вернуть любовь мужчины с помощью ребенка? Да глупости все это! — Галина протяжно вздохнула, вспоминая о времени, потраченном в ожидании перемен. — Когда родилась Лена, Слава — в этом он молодец — похлопотал, чтобы нам дали отдельное жилье вне очереди. И очень скоро мы переехали в двухкомнатную квартиру в новом доме на

Варшавской. Все вещи были перевезены, но свои Слава не спешил разбирать. В один из первых дней он заявил, что распробовал вкус жизни и пока не нагулялся, что хочет пожить отдельно, оставляет мне с дочками квартиру и свою просьбу не жаловаться в партию на него; а если я захочу развестись, он все подпишет. Я чуть с ума не сошла от этой его «инициативы». Наплевав на мои чувства и слезную мольбу остаться хотя бы ради дочерей, он молча собрался и ушел.

Я не подавала на развод, ведь надеялась, что, нагулявшись, он однажды вернется. Может, унизительно прозвучит, но я продолжала любить его всем сердцем и почти полгода ждала, что вот-вот вернется наше семейное счастье, и дождалась.

Он появился на пороге, чтобы сказать, что хочет свободы и подает на развод. «Пропади ты пропадом, Слава!» — тогда впервые выругалась, мне полегчало, ненадолго. Конечно, я постепенно смирилась, да и не все, что пыталась построить, развалилось, у меня оставались мои дочки.

Глазом не успела моргнуть, как мои девочки подросли и докружилась моя молодость. «И ладно, — подумала, — у них все сложится так, как они захотят, а мне от этого на душе радостно будет». Зажила одной этой мыслью.

Я давала дочерям все, что могла на зарплату буфетчицы, государство тоже помогало, ну и бывший муж что-то присылал. Детские кружки в Союзе были бесплатны, мои дочки ходили на всякие разные: на лепку из глины, на рисование, на кружок рукоделия. Шить особенно нравилось Лене, сейчас у нее свой швейный магазинчик с мастерской. А вот Вика любила больше спортивную гимнастику. Жалко, ни у одной не оказалось тяги хотя бы к танцам, не то что к балету. Ну и ладно, лишь бы им в удовольствие были их занятия.

А все же, скажу я вам, тоска меня съедала, ведь дочки растут, взрослеют и вот-вот вылетят из-под моего крыла, оставят совсем одну. Тут подвернулся этот винный дух, Сенька или, как он просил себя называть, Семен Захарович, — изобразила Галина надутый тон своего второго мужа. — Тогда же он мне казался очень порядочным человеком, с нелегким прошлым и бременем, но и у меня позади не молочная речка с кисельными бережками. И впустила надежду, загорелась, обрадовалась хорошему мужичку, — усмехнулась она горько. — Сколько всего он мне наобещал! Получит участок, поперек построит здоровый дом, у каждого по комнате будет, пристроит веранду и посадит кусты сирени перед ней, а меж кустов будет играть наш сынишка. Да, он хотел ребенка, ведь у самого ни одного не было, хоть ему тогда под сорок стукнуло!

Участок не скоро нам дали, но хорошо хоть успели дать: чуть позже Союз развалился. Сеня стал возить в коляске «Ижа», мотоцикла своего друга Миши, с каких-то складов белых кирпичей на дома. Это было в девяносто третьем, когда зарплату месяцами не платили. Они с Мишей и продавали потом излишки, только Миша исчез однажды, а мой Сеня совсем запил. Постоянной работы у него уже не было, дом все не строился, время хоть тяжелое, но весь материал, как я поняла, он заготовил. К стройке не приступал, а выручку с подработок тратил на водку. Что не выходные, то он ни жив ни мертв в яблочной рвоте — нажрался опять водкой и яблоками из компота. Какой уж тут дом?

Вскоре я узнала, что кирпич давно пропит. Про третьего ребенка вообще речь не шла, от водки у него, я извиняюсь, «штаны вялые». Потом стал страх наводить пьяными выходками на всех нас, но больше всего на дочек. Тут и свет не мил показался, хорошо, Вика порадовала: отличного мужика выбрала.

Вика уж обзавелась семьей, детки пошли, пока я моталась с этим пьянчугой от вытрезвителей к психдиспансерам да на кодировки. А ведь не бросишь это тело несмысленное — жалко, как родное. Сенька как-то по-детски до сих пор мечтает о доме и о ве-

ранде, но по мне, все это вздор. Лена же вышла за Вадима, он дальнбойщик, у них родилась Тонюшка. Жаль, моя Леночка сердцем оказалась слаба, но вроде бы ее должны скоро выписать из больницы. Слава богу, на поправку пошла. Семен Захарыч тоже удивил, подумать только, сам захотел закодироваться. Верить ему? Бог знает, ребячится наверняка.

— Поверили бы при жизни? — спросил я, внимательно глядя на Галину.

— Понадеялась бы на лучшее, — поразмышляв, сжала она губы и уступчиво кивнула. — Вдруг изменится. А вот Тонюшка — согрела душу — увлеклась балетом так страстно, что в ней я увидела себя юную! Обрадовалась я переменам: вот солнышко наконец на моей улице вышло. Только с опаской обрадовалась, как бы снова за тучи не зашло. И вот те раз! Жизнь прошла моя. Прошла... — утихла Галина и вдруг с едва заметной надеждой спросила: — А нельзя остаться еще?

— Увы, — мягко отвечаю я. — По-моему, ваш финал обнадеживает: дочь поправляется, внучка идет по вашим стопам, и муж берется за голову.

— Так-то так. Да только не успела почувствовать радости от всего этого. Посмотришь назад и видишь, что немало радостей было, да только каждый раз непременно возникало плохое. Казалось, вот-вот переживу беду и задышу полной грудью, а за этой бедой маячила уже новая — так жизнь прошла. А я жизнь-то эту всю будто прождала. Эх! Тоска зеленая, — Галина вновь протяжно вздохнула, шепотом она повторила с горечью: — Тоска зеленая.

— Можно хоть записку дочерям оставить? — спросила она после долгого молчания.

Я отрицательно покачал головой.

— Можно внучке? — взглянула она уже умоляюще.

— Прошу простить меня, ни в коем случае. Ваше возвращение только увеличит их страдания, сначала раззадорит, затем сильнее растерзает чувства, ведь очень скоро вы в любом случае отойдете в иной мир. Письма с того света или задним числом радости им не принесут, лишь смутят умы. Пойдут неверные толки. Родным сейчас нужно как можно скорее привыкнуть к тому, что вас, извините, с ними больше нет.

Галина опустила голову и произнесла тихо и бесцветно:

— Можете оставить меня одну? Хоть... хоть помолюсь о них напоследок.

— Конечно, Галина, конечно! Пойдемте в зал для прощаний, там есть распятие, иконы Божьей Матери и святых. У меня для подобных случаев есть молитвослов, я вам сейчас его принесу.

Галина, вероятно, впервые молилась, но молилась до утренних сумерек. Когда я ей сказал «пора», она, в слезах от воодушевления молитвами, укрепленная верой, получившая новую надежду, ответила:

— Спасибо вам! Теперь я готова. Я дождусь моих любимых... дождусь!..

Аркадий замолчал и посмотрел на меня учтиво.

— Едва дождалась лучших времен, но лишь дождалась! — моя мысль вырывается наружу.

— Иногда, правда, они не дожидаются, но, главное, сам факт ожидания «светлого будущего» — это причина, по которой я рассказал вам о Галине, — ответил Аркадий.

— Вроде бы спокойно на душе за Галину, но, если подумать, история ужасно безысходная. Всю жизнь ждать?!

— Есть доля положительного в этом: она прожила, не зная, что дождется лучших времен лишь под конец, и умерла, не зная, что они, быть может, и не наступили вовсе, — произносит страшное Аркадий.

— Вот здорово! — язвительно отвечаю я.

— Хотя что-то, но вы правы, этого мало. Чтобы вас немного успокоить, скажу, некоторые рады одной лишь надежде. Кстати, вам не близка эта история? — Аркадий улыбнулся одними уголками губ.

— Мне?..

— О! Если не хотите пока об этом, простите меня. Тогда, с вашего позволения, я приступлю к последней.

— Есть у меня история мебельщика, который всю жизнь грезил о мебельной компании и добился цели, не брезгуя ходить по головам конкурентов и даже собственных сотрудников. Есть история фанатика-сектанта, чья идея построить рай на земле, лишь начав реализовываться, тут же оперлась на головы последователей. Едва он поднял голову над сектой, как ту съела политическая элита. Конечно, есть история чиновника, жившего по принципу «счастлив тот, кто грабит». Однако этих-то прохиндеев столько изобличали, что тошно думать, не то что говорить о них. Поскольку же мы вспомнили про моего «славного» прадедушку, я бы хотел донести до вас всю его историю от детства до гроба. Он, находившийся на грани разумного, а кто-то скажет — за ней, послужит красноречивым примером головоуходо.

Жизнью моего самого первого «собеседника» я интересовался в первый год моей практики, желая понять природу моей особенности. И вот что я знаю о нем на данный момент.

«Батя матуху избил вчера, у нее кровь аж ссыкала!» — смакуя каждое слово, он, безграмотный, хвалился перед ребятами. Это прямая цитата, и она раскрывает весь ужас, которому подвергся и который затем впитал неокрепший умишко прадеда. «Батя» показал маленькому Боре, как добывать счастье. И когда детство прошло, потребность в том резко возросла, он знал, как поступать.

И вот четырнадцатилетний мальчишка вскинул отцовское охотничье ружье, направив двустольное дуло марки «Крупп» на соседского пса, надоевшего громким лаем. Сосед-старичок лишается единственного друга, якоря земного, можно сказать, в тоске и одиночестве умирает. Умирает и не знает о блеске глаз от садистского удовольствия, о разуме, опьяненном мучениями пса, о собственной смерти как о выпавшем бонусе для соседского мальчишки.

Занятно, что когда юный Боря хвастался перед друзьями, те не поверили в его жестокость. Он рассказал подробности, и, к своему удивлению, обнаружил, что друзья не испытали его восторга, и испугался, что они побегут его сдавать, и сказал, что лишь пошутил и все выдумал.

Вообще, прадед был тем еще тихим омутом с чертями: шелковый перед людьми и безжалостный с беспомощными, тайно смаковавший любое зверство, он при этом умудрялся нравиться женщинам.

Прадед был высок, крепок и ловок. Он обожал кататься на коньках, летал на них, говорили, ласточкой и ловко подрезал планирующих однопалочников на одном из прудов во Владимирке. На том катке молодой Боря встретил Веру, первую красавицу на селе. Честно говоря, я удивился, узнав о том, что этот черствый черт способен на любовь.

Как Вера ужилась с его жестокостью, мне неизвестно, но предположу, что она ничего не узнала за короткую совместную жизнь. Он, вероятно, охваченный чувствами, любимую и пальцем тронуть не смел. Через год красавица Вера ушла от него, инвалида. Прадед сломал ногу на катке и небрежно отнесся к ее лечению, кость срослась так, что левая нога оказалась меньше правой, он остался хромым на всю жизнь. Трость

же стала для него мрачным напоминанием о собственной слабости и тайным оружием, спрятанным на виду.

Каждый раз, глядя на нее, беря в руку или опираясь, он чувствовал себя уязвленным. В нем просыпалось желание выместить обиду на ком-нибудь, кто окажется в пределах досягаемости этой алюминиевой палки с набалдашником в виде молотка. Разумеется, при уверенности, что он останется безнаказанным.

Жизнь казалась сломанной, и он получал еще большее наслаждение от чужих страданий. Садист-кровосос сгубил не один десяток животных и, возможно, двух человек из соседних сел. Хотя случаи были признаны несчастными, а слухи о них пошли гораздо позже самих событий, под конец жизни прадеда.

Перевернем мутно-багровые страницы и откроем несколько чистых и светлых. Были и такие в его жизни. Через несколько лет во Владимировку приехала худенькая чернобровая красавица с Дальнего Востока — моя будущая прабабушка Маруся. Бессердечный, бесчувственный садист влюбился в обаятельную девушку и превратился в обходительного мужчину, который достойно несет бремя уже с юных лет. Она пожалела его, жалость — вот на чем строилась ее любовь к нему. Первые годы они жили счастливо, в эти годы родилась моя бабушка. Прадед будто бы забыл про свое «хобби» или просто держал его в тайне от жены, по крайней мере, прабабушка говорила, что он долго не показывал истинной натуры.

Когда самые очаровывающие годы супружеской жизни прошли и унесли с собой детский восторг любви, а удовольствие и радость померкли, появилась потребность вновь хвататься за «кирку счастья».

Прадед нагружал маленькую дочку трудной работой, и чем старше становилась та, тем работы более походили на каторжные. Ему нравилось видеть, как она после, например, изнурительной прополки в огороде возвращалась в поте лица, едва волоча ножки. Если задача дурно выполнена, стегал дочку ремнем, в скверном настроении — бляшкой, а был он весьма строгий контролер. Наказанием могла стать еще более непосильная работа. Например, когда бабушке было восемь лет, она провинилась в том, что не доследила за цыплятами — одного съел голодающий кот. Отец рассвирепел и заставил срезать кору с бревен, заготовленных для бани. Это делалось скобелем, движениями на себя. Маленькой девочке пришлось приложить немало усилий, чтобы соскрести первый кусок коры. Работа пошла, когда она наловчилась, однако по неопытности чересчур сильно дернула скобель к себе. Нога была разрезана до кости, перепуганная мать принялась залечивать рану, а отец сидел на диване, раскинувшись, и причмокивал.

Почему мать ничего не сделала, чтобы защитить дочь? Она боялась мужа, ведь тот уже вовсю ее бил, она боялась сказать кому-либо, ведь тот достанет ее раньше, чем ей помогут. Помимо всего этого, ей, как и любой другой женщине, хотелось крепкой семьи, опоры и защиты, а мысль об одиночестве ужасала. Да, и еще одно: прабабушка боялась осуждений. В те времена женщину всячески порицали, если она покидает мужа, а общество имело гораздо большее влияние на свои «единички», чем сейчас. Хотя был адский период, когда она вынашивала мысль о побеге, прадед, чувствуя тайну, произнес угрозу: «Уйдешь — убью!»

Однажды за то, что дочь осмелилась ответить, прадед схватил ее за голову и ударил об стену. Дочь с кровоточащим лбом вывернулась и убежала из дома, а позже вернулась уже с перебинтованной головой и в сопровождении участкового и перепуганной соседки. Тюрьма нависла над садистом отцом, однако мать пожалела супруга и подтвердила его слова, что «доченька ударилась о пол, запнувшись о порог».

Будто всего этого было мало его отвратительной сущности. Когда девочка стала девушкой, он проявил к ней свой нездоровый интерес. Дочь красотой пошла в мать, если последняя уже растеряла свежесть и надоела, то первая только ее приобрела. Пят-

надцатилетняя дочь выглядела как жена, но зацветающая, переродившаяся. Он же власть имел над той и над другой и понимал, что своим влечением причинит страдания обеим, потому предвкушал дополнительное удовольствие.

Теперь он нагружал дочь такой работой, чтобы та оказывалась в провокационных позах, например, мытьем полов через день-два. Сам при этом садился на кресло и наблюдал, как дочь на коленях вымывает пыль из-под шкафа. Однажды ночью он осмелился к спящей дочери, приоткрыл одеяло и начал развязывать веревочки на трусиках. Дочь сперва перепугалась, но быстро опомнилась, выхватила из-под подушки припасенный молоточек для штапиков и взмахнула им — рука, как рассказывала бабушка, немного дрогнула — боек прошелся перед самым носом алчущего отца. Он не ожидал отпора, ему и в голову не могло прийти, что страдания и невзгоды, как пневмомолоты заготовку, сформировали характер дочери. Он трусливо сполз и вернулся к себе. В эту же ночь дочь сбежала из дома, оставив записку матери, в которой призналась, что ее очень любит, но больше не может выносить отца.

Вот и представьте, в какой ярости пребывал отец, когда его любимая игрушка не только больно царапнула, но и тут же исчезла, не дав себя разорвать. Мать и беспокоилась, и радовалась втайне, и побаивалась садиста мужа, ведь на ком тот еще выместит гнев? И точно, скоро он обвинил ее в сговоре с дочерью. Он тростью избил жену так, что сломал ей берцовую кость. Тогда впервые прабабушка попала в больницу из-за его буйств.

Тоска одиночества, по-видимому, сильно сушила его. Вернувшись из больницы, прабабушка увидела опустевшие курятник и козлятник, обнаружила исчезновение кота Васьки. Прадед высосал все жизненные силы у скотины, словно воздвиг «энтропийный столб» во дворе. Он потерял основные источники удовольствия, оттого стал нелюднее и еще злее. Его отчужденность и безразличие к жене просочились через дощатый забор к соседям: в больницу не ездил, белый «запорожец» дремал в гаражике. А время уже другое, молодой семье, поселившейся по соседству, даже то немногое, что они примечали в поступках Бориса, казалось диким.

Прадед стал осторожнее в обращении с женой, теперь он понимал, что далеко зашел. Бить можно, но не так сильно, иначе опять на месяцы лишится пусть и высыхающего, но все еще источника. Иногда все же срывался и вновь оставался один, но «на охоту» не выходил, разве что мысленно. Он был человек неглупый, «башковитый», как говорила прабабушка, понимал, что привлечет к себе много внимания и в конце концов окажется в тюрьме. Тюремь очень боялся, как и встречи с теми, кто сильнее его. Поэтому про прочие несчастные случаи, думается мне, — все это байки. Однако если бы ему дали волю...

Так и прошли десятки лет террора над всепрощающей женой да над вновь разведенной домашней живностью. Время, думаю, становилось мучительным для него, ведь он старился, слабел, хотя от природы был сильный, и дряхлым стариком его нельзя было назвать даже перед смертью, ему все же приходилось отказываться от некоторых своих зверств. Прабабушка же была рада его слабости. Однако — рассказал он мне на одном из «уроков жизни» — осознав, что теряет хватку, решил доказать себе, что способен еще на многое. Как-то случайно узнал о соседке, которая неудачно упала на руку, что ей наложили гипс и быстро вернули домой. Прадед приобрел анатомическую книжку и смекнул, что, повредив лишь лучевую кость, жена не так долго пробудет в больнице, как в прошлый раз при повреждении берцовой. Сам при этом насытится.

Задуманное сделано.

Чуть позже я впервые приехал к ним, это были зимние каникулы в начале нулевых. Прадед пугал меня своей высотой, страшноватым лицом, которое никогда не от-

ражало мягкость, доброту или тепло. Его трость напоминала молоток с длинной рукоятью, которая, казалось, хищно удлинялась, когда нужно было кого-нибудь ею поддеть или ударить. Нет, он злился, угрожал, но никогда не бил меня, он заинтересовался мной, даже, можно сказать, обрадовался, хоть и не показывал виду. Он хотел передать мне свое воззрение, как надо жить. Тут и начались уроки по жестокости и бесщелечности. С практикой. Вроде той, о которой я говорил ранее: как отрубить курице голову, чтобы та долше мучилась, или наказать котенка, дверью прищелмив брюхо, и прочее. Из теории мне запомнилась фраза: «Все страдают, обрати это в свою пользу!» К счастью, эти уроки быстро и резко прервались его смертью.

Прадед умер от ненасытности: после удаления желчного пузыря сорвался и съел круг жирного сыра. Утром прабабушка нашла его тело у холодильника.

— Бессовестный тип, изверг! — нетерпеливо выкрикиваю я, поняв, что мой собеседник закончил.

— О мертвых не говорят плохого, да?.. Но что хорошего сказать про него? — пожал плечами Аркадий. — Пусть правда о нем будет этим единственным хорошим.

— Приятных собеседников у вас мало, я погляжу. Был хоть один, проживший благополучно?

— О, бывают! Правда большинство — древние старики, которые едва помнят о своих стремлениях, терзаниях и проблемах, чья память истончилась и позволяет им в самозабвении уйти с миром. Они разве что хотят наконец «отдохнуть от болезней», — произнес он с утасующий безнадежностью.

Этот же тип не прочь переелать человека-другого на пути к собственному благополучию и удовольствию. От навязывающих свою волю до садистов, — Аркадий поморщился, будто под нос поднесли нечто дурнопахнущее, — сколько таких «шахтеров» на свете добывают чужое и ведь по-другому не могут, не мыслят! Над остальными насмехаются, называют слабыми. Все это страшит, но что-нибудь наверняка можно сделать... Сейчас для нас с вами важен лишь факт существования этих «шахтеров»...

— Пожалуйста, прекратите! — не выношу я больше тяжести историй Аркадия. — Во всем этом нет ни грамма положительного! Вы, должно быть, человек сильной воли, раз выдерживаете весь ужас, царящий вокруг вашей деятельности! Увы, мне не хватает сил выслушивать о подобных людях и судьбах.

— Прекращаю, — повиновался Аркадий и добавил: — На самом интересном.

— Да... ваш вопрос... так же болезнен, как мучительны ваши истории?

— О-о, очень надеюсь, наоборот, и вы поднимите меня на смех, — этот непредсказуемый ответ совершенно сбил меня с толку, а искренность, с которой он глядел на меня, заставила содрогнуться.

— Хорошо, — неуверенно соглашаюсь я.

— Итак, пожалуйста, взгляните за забор, — Аркадий указал на детскую площадку, где играли дети. — Посмотрите, эти маленькие люди только начали жить и уже довольны всем или, во всяком случае, многим. Они довольны просто потому, что они есть. Не зная большинства проявлений жизни, они влюблены в нее до беспамятства. Доля горя в их жизнях минимальна, и для этого им не нужно переламывать себя, ждать до гроба или ломать других. А теперь, прошу, вновь вспомните тех, о ком я подробно и мимоходом рассказывал, тех, кто, как и вы, прорвались к финалу. И вот интригующий меня вопрос: с чем начинали и с чем пришли к концу — не растеряли ли чего по пути?

Поспешите с ответом. У вас мало времени, вам еще рассказывать свою...¹

¹ История написана на основе аудиозаписи, любезно предоставленной Аркадием из Фонотеки судеб.

ТАМ, ЗА ОЙКУМЕНОЙ, НИКТО НЕ ПРОБОВАЛ МЕНЯ НА ВКУС

Рассказ

Среди великого множества раковин, что усыпают глубоко изрезанные берега Эллады от Пелопоннеса до Халкидики, невозможно отыскать две совершенно одинаковые.

Но у залива Сароникос близ Пирея чаще встречаются те, что в час рассвета рдеют красками заката — а в час заката румянеют свежестью рассвета. Как же описать земную тварь, если в течение дня свет, проводимый вездесущим эфиром, меняет ее облик? И есть ли число тем преходящим явлениям, что определяют и путают наше восприятие?

Всех, кто имеет раковину — извилистую, двустворчатую или одностворчатую, — я определяю в черепокожие. Это первые животные, которые привлекли мое внимание в ту пору, когда рос на побережье залива Орфанос. Как все мальчишки, я играл с раковинами — и уже тогда размышлял, почему одна отличается от другой, но главное — как дышат и питаются те, кто рождается в них.

Наблюдаю за тем, что в природе знакомо — но каждый раз мечтаю увидеть незнакомое прежде. Надежда призрачна, шаги упорны. Нет большего счастья, чем обнаружить, исследовать... дать имя.

Кратил, вдохновленный безмерно учением Гераклита, считал бытие настолько изменчивым, что ничему невозможно дать имя (оттого и решение Платона в одном из диалогов выставить Кратила человеком противоположных убеждений — шутка весьма едкая). Я же полагаю, что умение обдуманно выявить категории, свойственные изучаемому предмету, предшествует по весу именованию. Имя — не более чем звукосочетание с уловленным значением. Неважно, зову я дельфина дельфином или как-то иначе. Важно, что ему присущи наличие крови, живорождение и вскармливание детенышей молоком. Значит, нельзя считать дельфина рыбой, как это делают по вековому обычаю рыбаки. Определить его к иным существам, которые от рождения обладают подобными признаками, и есть основная задача философа.

Но все-таки... присвоение имени — последняя черта в рисунке познания — по-детски отчаянная радость — улада распахнутых глаз и распахнутого разума.

И я подбираю раковину, которую не опознали с первого взгляда мои распахнутые глаза, мой распахнутый разум.

В этот миг меня окликают.

Дарья Александровна Лионтарис окончила филфак МГУ. Публиковалась в журналах «Darker» и «Горизонт». Живет в Москве.

Оборачиваюсь: дряхлый старик в лохмотьях. Его голос и образ преисполнены великого нахальства, знаменитого с первых дней, когда он устроился в пифосе на площади, облаял всякого проходящего мимо — и будто мало было смущения в народе — прославил одной рукой крылатого Эроса.

Передо мной — Диоген.

Вспоминаю, как впервые повстречал Диогена.

Юношей я прибыл в Афины. К тому времени я знал точно, что не последую примеру покойного отца и не посвящу себя врачебному искусству. Как бы ни похвально было оно, овладеть практическими навыками не означает понять суть и причины вещей; но понять суть и причины вещей означает обрести доступ к любому практическому знанию.

Поэтому я оказался в Афинской академии.

Поэтому я пришел учиться у Платона.

Рассказывали, что он вернулся из Сиракуз, где попробовал воплотить мечту, любезную сердцу всех эллинских философов: воспитать совершенного правителя. Тиран Дионисий, пригласив ко двору Платона, поначалу слушал охотно речи о мудрости и добродетели. Даже соглашался, что тирания бывает источником великого зла. Спустя немалый срок, однако же, Дионисия охватили подозрения. «Не потому ли, — вскричал он, — этот наглец хулит тиранию, что желает ослабить мою власть?!» И вместо того, чтобы усвоить урок о вреде вспыльчивости, сам преподнес Платону непрошенный урок об опасности надежд на исправление тиранов.

Ученики академии в шутку разыгрывали это событие. Гераклид, кутаясь в занавес, используемый обыкновенно для театральных представлений, а теперь призванный обозначить роскошное одеяние, — Гераклид изображал тирана, в страшной умственной муке осознающего связь между общими рассуждениями о политике и собственным примером. Раздувая щеки, он топал ногами и выкрикивал непристойности, сулящие изобретательную расправу. Занавес тряся, испуская сердитый шорох. А Платон в исполнении Амикла бледнел и чуть заметными шагами отползал в сторону, чтобы залезть в одну из расположенных у стены ваз.

Ксенократ, единственный из учеников сопровождавший на Сицилию Платона, осудил нашу выходку.

— Легко же вам веселиться! Сами разве не побоялись бы даже заговорить с гневливыми владыками?

Однако мы были молоды — и решили, что не побоялись бы нисколько. Более того, меня увлекла эта мысль: движимый поистине детским тщеславием, я воображал, как вразумил бы парой слов самого скорого на расправу царя.

Между тем уныние Платона мигом усовестило наше резвомыслие. Он не ответил на расспросы о злключениях (правда ли, что его продали в рабство? а пираты? повстречались же пираты на обратном пути?). Вспомнил вдруг о любимом заклятом враге — Демокрите.

— Не сжечь ли все труды нечестивца, пока не взбаламутил умы бесповоротно?

Клиний заверил его, что это бесполезно: труды Демокрита известны повсюду, истреблять их — дело обреченное.

Платон помолчал. На его лице будто читалось размышление: как выместить накопленный в избытке гнев, против чего обратить — что испепелить, что разрушить — или ждать, пока само подвернется?..

И тут же овладел собой.

С улыбкой повернулся ко мне.

— Что же ты — новый ученик?

Я представился. Добавил, что родом из Стагиры, но риторике учился уже в Афинах... и от волнения шепелявил я сильнее обычного.

Платон усмехнулся.

— Даже в такой глуши, как Македония, должным образом ценят мудрость?

Я не нашелся что ответить.

Он продолжил:

— Если думаешь остаться в Афинах — обзаведись такой добродетелью, как умеренность. Начиная с внешнего облика. Твои перстни, по местным представлениям, — дурной вкус.

Я опустил взгляд на руки.

Первый перстень — змейка с афроселеновыми вставками — завещан отцом.

Второй перстень — с бликующим халцедоном, чистым и ясным, как небо летом — подарен опекуном в честь моего отъезда из Стагиры.

Третий перстень — печатка из граната — вручена тогда же матерью. «Тебе пригодится! Будешь важный человек». Далекая от моих умственных устремлений, мать все же предавалась мечте о том, как они меня возвысят.

Я согласился: если, по местным представлениям, эти перстни дурновкусны — от них стоит избавиться.

Платон остался доволен моим ответом.

Через внутренний двор все проследовали на урок в зале гимнасия.

Гадали, с чего Платон заведет речь. Он славился тем, как непредсказуемо вел обсуждения — и я мечтал вызваться первым, чтобы ответить — тоже непредсказуемо — в лучшем смысле этого слова. Пусть первое впечатление о нашем знакомстве не составило мне чести; что с того? У меня еще будет возможность проявить себя — и возможность скорая. Нетерпение, уймись!

И я велел себе вникать и внимать, как никогда прежде.

Платон же начал так:

— В Сиракузах я повстречал одного мальчика, который, к позору своих родителей — вероятно, сознаваемому в недостаточной мере, — обладал скромными познаниями в математике. Я начертил перед ним треугольник, пояснил, что это за фигура и какие числа именуются квадратами. Задав не один вопрос, я подтолкнул юношу к тому, чтобы самостоятельно прийти к неожиданному выводу: квадрат, построенный на самой длинной стороне, равен сумме квадратов, построенных на остальных двух. А между тем этот юноша, осчастливленный движением собственного ума, никогда не слышал ни о Пифагоре, ни о геометрических изысканиях академии. Как это можно объяснить?

Я понял: вот она — та самая возможность. Вопрос казался и простым, и с подвохом. Что хочет услышать Платон? Что хочу я — угадать его мнение или все-таки определить собственное? Добиться расположения учителя — не то, что добиться истины, расположенной лишь к одной себе.

Пока я спешно рылся в окрестностях предполагаемой истины, вызвался ответить племянник Платона — Спевсипп.

— Учитель! Нельзя исключать объяснение, что юноша изначально солгал, притворившись человеком необразованным. Может, он жаждал показать себя одаренным и способным к учению сверх меры? Твоя слава велика, многие мечтают заслужить одобрение величайшего из мудрецов.

— Твое объяснение целью преследует любезность, — ответил Платон, — но я, конечно же, не позволил бы какому-то юнцу себя провести.

И все же чувствовалось: такого рода любезность была весьма нужна его гордости после печального исхода из Сиракуз.

(Не сам ли я — юнец, который жаждет показать себя одаренным и способным к учению сверх меры — удобная мишень для насмешки?)

Затем Платон сказал:

— Похоже, новый ученик готов присоединиться к обсуждению.

Как только от него не укрылась моя тайная решимость?

Я выпалил:

— Есть только одно объяснение! Человеческая природа такова, что мы созданы для познания. Тем и отличаемся от животных, что мыслим — более того! — жаждем мыслить вопреки любым испытаниям, на которые щедр неумолимый рок.

Скука на лице Платона умерила мой пыл.

— Эти слова похвальны, поскольку выдают прекраснодушие. Однако они лишь скользят по сути вещей вместо того, чтобы ухватить ее.

Я оцепенел... вдруг мне стало очевидно, до какой степени я рассчитывал на одобрение Платона, как я завишу от тех надежд, что возлагаю на восприятие себя как мыслителя.

Есть ли способ найти равновесие, в котором верным образом соотносятся потребность учиться и воспринимать — с привычкой к самостоятельности в мышлении?

Возможно, такое равновесие и отличает истинного мудреца от болтунов и демагогов.

Между тем Платон продолжил задавать вопросы.

— Известно ли тебе, новоприбывший ученик, что такое душа?

Я не разрешил себе задуматься... его воззрения по этому вопросу были мне хорошо известны. И я не посмел упустить случай показать, что знаком с ними.

— Душа — первопричина жизни!

— Верно. Значит, чем бы душа ни владела, она всегда привносит в эту жизнь?

Первым желанием было придраться к выбору слов: что для значит для души «владеть»? Всякое ли привнесение неотчуждаемо и постоянно?

Однако я ограничился тем, что признал суждение Платона правдивым.

Он продолжил:

— У всего есть противоположность. Какова противоположность жизни?

— Очевидно, что смерть.

— Ты уже согласился, что душа привносит жизнь, а смерть противоположна жизни. Следовательно, душа противоположна смерти — а как называется то, что противоположно смерти?

— Бессмертие. Или... или неумирание, которое сопутствует небытию? Или во все это...

Платон прервал меня:

— Именно так — бессмертие. Есть душа есть жизнь, а жизнь — противоположна смерти — и душа не приемлет смерть. Тогда душа бессмертна.

В складных речах Платона было что-то от софистов, которых он презирал немногим меньше, чем нечестивца Демокрита. Но я не мог понять, что именно... Отчего не придумано искусство членить развитие мысли на мельчайшие частицы, чтобы сразу выявить противоречия и выстроить безупречное суждение?

Платон продолжил:

— А если душа бессмертна — значит, старше брэнного тела. Чем тогда оказывается ее восприимчивость к теореме Пифагора?

Так вот его прославленный обычай вести обучение: по завету Сократа — служить повивальной бабкой истине. Ну а если истина не рождается вопреки увещаниям и вспомоганиям... как хотелось ему, должно быть, надавить изо всех сил на чрево роженицы, которой была — без всяких сомнений — наша беседа.

И я пожал плечами. Надежда во что бы то ни стало впечатлеть Платона вдруг оставила меня.

Он обратился к моим товарищам:

— Никто не хочет принять вызов вместо нового ученика?

Но и дальнейшие опросы ни к чему не привели.

Платон оглядел всех с немалой досадой.

— Вы мало упражнялись мыслью в мое отсутствие. Иначе сразу бы поняли, к чему веду... Если душа бессмертна и старше брэнного тела — значит, она рождается знающей. Ибо в мире теней, где пребывала она до телесного воплощения, открылись ей все истинные предвечные знания. Только потом она забыла — поскольку рождение есть сон и забвение от подлинного бытия. Поэтому наша задача — вспомнить. А помогут в том верно поставленные вопросы и терпение к тому, чтобы задавать их. Оттого несведущий в математике юноша так быстро доказал теорему Пифагора: ведь он знал ее до прихода на этот свет.

И обвел нас взглядом, лишенным торжества.

Насколько убедительнее получилось бы, сумей он расспросами эту мысль выбить из нас — вышло бы так, что мы «вспомнили» само то обстоятельство, что всякое знание есть итог «вспоминания».

Но безупречно ли суждение Платона... при всей красоте построения — нет ли противоречия с тем, что явствует из нашего опыта?

И я пошел в наступление:

— Допустим, так возможно «вспомнить» теорему Пифагора. А если это будет знание другого типа? Не математики, а природы, например. Сумеет ли тот, кто никогда не был в море, описать его обитателей со всеми повадками? «Вспомнит» ли он рыбу из глубоких вод, если никогда ее не видел и не слышал о ней?

Платон ответил с неожиданной улыбкой:

— Зачем?

— То есть... что — зачем?

— Зачем знать какую-то рыбу? Пусть даже преогромную. Во-о-от такую, — и он показал руками.

Все засмеялись.

— Твоя ошибка, — сказал Платон, — состоит в том, что ты спешишь спорить до того, как усвоил основы. Неужели ты думаешь, что всякое знание одинаково ценно? Превыше всего — математика, вечная и неизменная, постигаемая разумом, а не обманчивым чувственным восприятием. Только она — путь к мудрости. А исследовать природу... с какой целью? Безусловно, из этого можно извлечь некую пользу: например, по движению небесных тел судить о геометрии. Но — рыба?.. Ты бы еще предложил изучать камни! — он повторил с особым нажимом, — камни!

Снова — всеобщий смех.

Я опустил взгляд на перстни... дурновкусный блеск камней был родным и греющим.

Я не придумал, что ответить Платону. Не придумал, как объяснить, отчего даже камни казались мне достойными самого взыскательного изучения. Я жил с этим чувством. Может, оно родилось прежде меня?

Платон заявил:

— Поэтому и следует упражняться в философии: чтобы к старости вспомнить совершенно все — и последние минуты встретить просветленным. Как мой возлюбленный учитель Сократ, не утративший мужества ни на один миг. Сколько величия в нем явилось, сколько простоты, когда поднял чашу с ядом...

Все знали, что Платон, оправдываясь болезнью, не был на казни Сократа — и мне, раздосадованному, хотелось предъявить это обвинение.

Однако не мне суждено было осквернить одухотворенный настрой Платона.

Вбежал растерянный раб и крикнул:

— Пес пачкает ковер! В библиотеке.

Зазвучали смешки. Между тем лицо Платона омрачила недобрая догадка — и он двинулся быстрым, но все-таки приличествующим его достоинству шагом. Мы пошли следом.

Среди молчаливых папирусных свитков, столь тщательно отобранных для библиотеки, гремела бранная речь: неизвестный топтал ковер — и при виде Платона закивал одобрительно, утроив усердие.

— Так вот ты где! Я слышал, тебя вышнырнули из Сиракуз, прославленных гостеприимством. Это должно было знатно приумалить твою гордыню. Да вот — достаточно ли? Какое там достаточно! Не верю! Твоей гордыне требуется дополнительный пинок! — он опустил грязную ногу на ковер, уже утеравший немало в красоте, — и еще! и еще один!.. Уф!.. Дотяну ли я, немощный доходяга, до обретения тобой истинной скромности! Посмотреть бы на нее — хоть одним глазком. Или ты забыл, что Сократ ходил босым в лютую стужу и даже платка не имел, не то что ковра! И еще, еще... Что-то притомился. Но это же было не зря? Удалось тебе отыскать путь к добродетели? Во тьме многомудрых теорий-то?

Остолбевший Платон не проронил ни слова.

Наконец те ученики, что покрепче (я в их число не входил), додумались вывести Диогена из стен академии — а то был, разумеется, Диоген. Исполнив постыдную эту шутку, он сделался тих, погружен в довольство собой и ничуть не противился.

Я не знал даже, что испытываю...

С одной стороны, я был возмущен поступком Диогена.

С другой — внутри я смеялся, оглушая самого себя.

Вдруг я ощутил с невыразимой ясностью, что молод, счастлив и приступаю к великим свершениям в мире, о котором одно знаю наверняка: он сложнее, чем кажется нам всем. Отсюда все противоречия, отсюда все странности: недалекий тиран изгоняет прославленного философа; последний произносит речи, которые я при всем пыле не могу оспорить, и тут же становится жертвой нелепейшей выходки; как страстно хочу оспорить его речи! — но еще не представляю как — лишь бьется моя воля о препятствия, не желает сдаться — а смешное сопрягается с печальным, чередуются невероятным образом.

И я благодарил мир за то, что он так сложен. Я обрел чувство — оно тогда родилось, в тот суматошный день, то серьезный, то беспечный — что космос, гармоническое порождение хаоса, цикличное во времени и конечное в пространстве, — космос ждет, чтобы я разгадал его.

И — разгадываю.

Перебираю песок, а он просачивается между пальцев.

Распределяю понятия по признакам, раскладываю на составные части, вывожу умозаключения.

Неизведанное — убывает.

И я — убываю.

Как мало остается сил.

Время — зреющее внутри каждого число движения к предыдущему и последующему. Я не успеваю вести подсчет и постоянно сбиваюсь.

И когда понимаю, что из всех, кто присутствовал в тот день моего счастливого озарения — из всех, кто был тогда в стенах академии, — живы только мы с Диогеном — разве это возможно? И более — никто.

Платон, Ксенофонт, Амикл, Гераклид, Спевсипп выскользнули песчинками из равнодушной хватки Хроноса, который всех просеивает, никого не бережет.

Как только Диоген уцелел? Ведь он старше меня лет на двадцать, не меньше. Неужели так закаляет помойная жизнь?

Он скалится на меня беззубой улыбкой.

И говорит:

— Македошка! Брешут, ты вознесся выше прочих, как вырастил себе ахиллоподобного царька. Вот это достижение!

Не имею ни малейшего желания беседовать с ним. И уж тем более — служить мισηню тому, что он, верно, полагает остроумием.

— Поди прочь, пес!

Глубоко запавшие глаза Диогена сверкают переливами желчи.

— Я-то пойду, но ты скажи наперед: какое зверье, столь тобой любимое, снести на могилу тебе?

— ...Могилу?

— Ты же скоро помрешь. Это заметно: скверно выглядишь, кожа да кости. Совсем плох стал — Аид по тебе скучает. Так тебе кого на могилу снести? Может, раков? Раки знают, что делать с трупами! Я видел одного рыбака, его раки пообкусили до костей. Или морских ежей? Если покойников принято омыwać и украшать — отчего бы не украсить морскими ежами? Раз уж если покойному были по нраву морские ежи...

Как он смеет говорить так, будто меня уже готовят к погребению?

— Ты... заткнись, пес!

Он отвечает:

— А Платон получше собой владел. Тому ли ты у него учился? Македошка, ты себя не жалея. Я вот себя не жалею. Мы с тобой — древние развалины. Куда нам быть отжившим сором в подлунном мире?

— Неправда. Я — не отживший сор! Мне еще... многое предстоит изучить...

— ...Неужели? Есть ли хоть какой-то ничтожный вопрос, по которому ты не подготовил объемного сочинения на сотню-другую глав?

Хочу возразить, но не могу. Потому как нет предмета, о котором я не составил бы трудов. Более того: не помню, когда в последний раз воочию видел животное, прежде незнакомое...

— А вот я куда меньше пачкал папирус, — говорит Диоген, — может, зря? Напишу-ка на склоне лет сочинение «О богатстве»! Если бесчестные рассуждают о добродетели, а бездушные — о душе, то я, значит, красноречив буду в разговоре о богатстве. Почему нет?

Он покидает меня, кашляя смехом и опираясь на клюку.

А я вспоминаю о подобранной раковине... Присматриваюсь: это багрянка. Просто крупнее обычного — вот и не признал. Или это зрение подводит меня?

Древняя развалина.

Отживший сор.

А если меня ждет лишь угасание?

Нет, погодите! Не все я увидел и познал. Мой воспитанник Александр — самопровозглашенный царь Азии с тех пор, как македонская армия победила при Гавгамелах, — Александр прислал письмо, в котором обещает послать из далекой Индии настоящего слона. Письмо написано по всем правилам риторики, как я и учил Александра. Мое счастье было бы беспримерно, если бы не прознал, что ранее он велел казнить моего племянника Каллисфена за то, что посмел тот осудить его разгул... Об этом в письме, разумеется, ни слова. А ведь я учил Александра не одной риторике, но и умению властвовать собой, отказу от поспешных решений, умеренности. Мало плодов принесло мое наставничество. Выражу ли негодование в ответном письме? Едва ли. По молодости и глупости мы смеялись над Платоном, который жизнью чуть не заплатил за желание перевоспитать гневливого владыку. А теперь — понимаю, насколько лишен подлинной смелости, как малодушен и труслив... или все-таки — похвально осторожен?

По крайней мере — мне пришлют слона.

В тот же день я приглашен на симпосий к Теофрасту, лучшему из моих учеников. Он завершил работу над «Историей растений», где определил роды, виды и признаки всему, что живо, но не движется в воде и на суше.

Я иду по Афинам, придавленным жарой, что всегда сопутствует последним числам таргелиона. Пахнет горячей плотью: в Эрехтейоне пылают жертвенные звериные туши. Олимпийцы, которых население привыкло чтить, тщеславны и охочи до крови. Кто бы мог предположить, что Александр превзойдет их даже в пороках? Он провозгласил себя богом и требует, чтобы подданные падали ниц перед ним — а самым преданным позволяет облобызать царственную ногу. Боюсь думать, как невыносимо гордости Афин было покориться такому завоевателю.

По моей привычке к неспешной и вдумчивой ходьбе — опаздываю.

Гости уже заняли места на обеденных ложах, однако столы еще не выдвинуты. Передаю Теофрасту медовые пироги, приготовленные моей женой Гербелидой; благодарю за любезное ожидание, но стоило начинать и без меня.

Деметрий, который уже год как посещает мои занятия по риторике в Ликее, не упускает случая сострить:

— Рассказывали, что как-то собрались на пир в городе Акраганте: все в сборе, только хозяин медлит, не разрешает никому налить вина — ждет кого-то больше, чем остальных. Что ж, и такое случается — рассудили бы вы. Но не таков был мудрец Эмпедокл. Он прозрел в том дурной умысел: отчего же так выделяют этого гостя? Не потому ли, что это будущий тиран, чей приход к власти еще только готовится?.. Так Эмпедокл призвал к суду и хозяина, и гостя: обоим был вынесен смертный приговор. Вот уровень политической борьбы, утраченный в наше время! Некому теперь застучать за страждущих.

— Полно! Будь я истинным тираном, заставил бы ждать до рассвета.

Забираюсь на ложе. Выдвинутые столы стремительно заселяются фигами, жареными орехами, виноградом и козьим сыром. На кратере, полном вина, пляшут менады вокруг пузатого сатира, не знающего, какую же схватить и нести прочь.

Деметрий продолжает:

— Признаюсь, меня завораживает учение Эмпедокла о природе. Мыслить мир как царство случайности, которая собирает из подвернувшихся частей все живое и нежи-

вое — а потом разбирает — и снова собирает уже в ином порядке, — какое поэтическое воображение надо иметь!

Поскольку Деметрий еще не отличается большими познаниями о природе, отвечаю со всем терпением:

— Что проку в поэтическом воображении, если оно, перегревая сердце, ведет к сомнительным выводам? Эмпедокл верил, что независимые друг от друга части — рога, плечи, ноги, плавники — прихотливым образом однажды соединились и образовали всех животных, что нам известны. Но это немыслимо. Если части, не имея души, могут срастись в одно животное, то почему животные не срастаются в одно целое? Хотел бы я повидать такое чудовище!

Теофраст подхватывает:

— У Эмпедокла немало было странных представлений. Например, якобы мы видим оттого, что в наших глазах сосредоточен огонь, который и освещает предметы.

— Какая жалость, что это не так, — говорит Деметрий, — тогда бы мы видели в темноте.

Остальные гости смеются в знак согласия.

Отпиваю из килика и хвалю Теофраста за выбор вина: это мое любимое — хиосское, к тому же удачно разбавленное.

Поблагодарив меня, он добавляет:

— А сейчас, если позволите, я покажу вам кое-что необычное.

Он удаляется, и мы строим догадки: какое развлечение сегодня? какие придут шуты или музыканты? — так что же?

Теофраст возвращается с кем-то низеньким об руку... он ведет обезьяну, которая крутится и водит ноздрями, чую запах еды.

Это безобразнейшая тварь с вытянутой мордой пса, описанная мной под именем кинокефала и обитающая по всему Египту.

Обезьяна сама усаживается за стол, рассматривает угощения — и поднимает на Теофраста вопросительный взгляд.

— Видите, как воспитана моя Аспасия? Сейчас проверим, заслужит ли награду.

Теофраст раскладывает перед ней две кучки: в одной — виноградины, во второй — фиги. Выжидает — и перемешивает.

— Давай! Покажи, что умеешь.

Мигом Аспасия протягивает лапы, чтобы шустро отделить виноградины от фиг, — и вот уже снова две кучки, как прежде, покоятся на столе.

Теофраст гладит Аспасию по серой голове.

— Умница! Это все твое. Ешь.

Виноградины и фиги летят в распахнутую зубастую пасть.

— Я приобрел Аспасию у одного ливийского купца, — рассказывает Теофраст, — он хвастался, что обучил ее разнообразным проделкам и прыжкам. Меня посетила неожиданная мысль... что если подвергнуть испытанию умственные возможности обезьяны, а не только телесные? Я приобрел ее за цену, которую вы найдете чрезмерной, однако не пожалел нисколько. Я решил отыскать предел обезьяньих возможностей. По силам ли Аспасии разобраться в философских категориях? Осознать хотя бы на примитивном уровне такие понятия, как сущность, качество, количество и прочие?

Аспасия сверкает глазами, будто готова поспорить: да что тут не понимать?

Теофраст продолжает:

— Как видите, я научил ее отделять один вид предметов от другого. Разумеется, в водах не спешу: класть фигу к фигах не означает действительно понимать, какая со-

вокупность признаков их объединяет. Но это лишь начало. Еще нужно проверить, сумеет ли Аспасия расположить предметы от наименьшего к наибольшему. Потом еще что-то придумаю... Что скажешь, учитель? Как тебе моя философская потеха?

Откуда-то во мне рождается брюзгливое желание пригасить этот плохо скрываемый восторг.

— Как философская потеха — может, и недурно. Но что толку? Научишь ты обезьяну раскладывать предметы от наименьшего к наибольшего. Это будет значить лишь то, что она готова за награду выполнить что угодно — в том числе запомнить определенный порядок действий. Но это не будет значить, что она способна осознать такие категории, как отношение между предметами, и такое качество, как размер. Тебя вводит в заблуждение та ловкость, с которой обезьяна проворачивает эти действия, и ты расцениваешь их как работу отвлеченного мышления с закономерностями.

Я всматриваюсь в грубую и словно бы вечно сердитую морду Аспасии. А и в самом деле... что подвластно этому существу для понимания? Что там — в маленьком разуме?

Если бы только Аспасия могла понять, что происходит вокруг нее. Увидеть мир таким, каким его видим мы. Хотя бы на мгновение — пусть это невозможно — приблизиться к нашей мудрости... уяснить теорему Пифагора, в конце концов. Что было бы тогда? Ее существо разломилось бы на части от великого напряжения? Яд познания отравил бы ее кровь, обесмыслил бы прежнее существование?

Одно несомненно: если повстречаю новый вид обезьяны, превосходящий прочих в сообразительности — назову в честь себя.

Продолжаю:

— Еще вот о чем желаю высказаться. В последнее время, Теофраст, ты увлекался чрезмерно подобными проверками. Я знаю, что намеренно сеял фракийскую пшеницу в разной местности, чтобы проверить, как взойдет. Разумеется, ты не виноват, что настолько деятелен в своем любопытстве. Но следует помнить: из всех способов изучить природу наилучшим является наблюдение без каких бы то ни было намеренных вмешательств, ибо они оскорбительны для той гармонии, что окружает нас и требует лишь почтительного к ней внимания.

Опечаленный Теофраст кивает.

Не в его привычке спорить со мной.

И это всегда было приятно моему самолюбию... может, и зря.

Ведь я-то спорил с Платоном все двадцать лет, что проучился у него, — и как ожесточенно, бывало, спорил! Однажды, например, он доказывал мне, что прав был Гиппократ, полагая мозг вместилищем разума; а я не соглашался и отстаивал мнение, что таковым быть может одно лишь сердце: это же оно трепещет в миг познания.

...Вынес бы я сам такого несговорчивого и упрямого ученика? Сомневаюсь.

Деметрий прерывает молчание:

— А давайте проверим, доступны ли обезьяне подлинно философские развлечения! Научим ее играть в коттаб.

И мы показываем обезьяне, как играть в коттаб. Деметрий прицеливается так, чтобы остатками своего вина попасть в коттабий. Его бросок безупречен: струя изгибается в полете — ни капли не пролито — попаданию в цель сопутствует звонкий плеск. Затем пробует Теофраст — с меньшим успехом, но тоже достойно. Я поднимаю свой килик, но удача отказывает мне: все вино — мимо.

Поворачиваемся к Аспасии. Обезьяны славятся необузданной любовью к подражанию, так что должна бы уже освоить правила в достаточной мере, чтобы присоединиться к игре.

— Ну же, — говорит Теофраст, — вот тебе килик!

Однако Аспасия не смотрит на килик.

Иным поглощено ее внимание: взгляд крошечных черных глаз прикован к моим перстням. Прикован, кажется, с того самого мгновения, как я совершил бросок, а камни — афроселен, халцедон и гранат — блеснули прирученными солнцами.

Да что с ней?

Аспасия тянет лапу к моей руке.

То ли спрашивает, то ли умоляет.

Как выразительна мимика этого существа — сколько передает она пламенного вождения! Человеческого, совершенно человеческого. И это вселяет неизъяснимую тревогу.

Аспасия пробует снять один из перстней.

Я отталкиваю ее.

Она верещит и снова тянется ко мне.

Теофраст вынужден оттащить ее.

— Глупое животное! Зачем тебе блестяшки?

Она вырывается и замирает передо мной, не сводя с перстней взгляда... их блеск отражается в ее глазах — таких влажных, будто полны слез. Мне кажется, она жаждет заговорить со мной и объяснить всю бездну, что разверзлась в маленьком разуме — но для того нужен язык, которого нет и никогда не будет у обезьян.

— А хорошо все-таки, — говорит Деметрий, — что мы не стали предлагать ей вина.

Смеемся через силу — но вернуть доброе расположение духа не успеваем.

К Теофрасту заходит сосед и без лишних вступлений сообщает, что царь Александр мертв, лихорадка сожрала его в Вавилоне после тяжелого похода — или на самом деле отравили якобы преданные соратники, кто знает!

Все принимаются говорить без остановки: что же дальше? законный сын Александра слишком мал, чтобы править — кто будет править от его имени? — Антипатр или Антигон? но удастся ли удержать власть над Афинами? что предпримет Леосфен? и как скоро гнев афинян, понукаемых давним унижением, падет на всех, кто связан с ненавистным правителем...

Теофраст поворачивается ко мне.

— Учитель, ты понимаешь, что это значит для тебя?

Его голос кажется далеким и глухим, точно я ушел под воду — все глубже, глубже.

Выкрикиваю Теофрасту в лицо:

— Конечно, понимаю! Это значит, что я не увижу слона!

И направляюсь к выходу.

Аспасия увязывается за мной, хватая за руки. Будто просит взять с собой: только бы подарил ей возможность и впредь любоваться блестяшками, пока вынашивает мечту овладеть ими.

Тогда я срываю все перстни и швыряю их оземь.

Пусть достанутся бестолковому зверю, который знать не знает всех испытаний, что выпадают на долю человека!

Аспасия притихает, зачарованная добытыми сокровищами, вертит их и разглядывает на просвет.

Я говорю Теофрасту, что он остается за главного в Ликее и свободен руководить им по собственному разумению.

На закате отправляюсь в изгнание вместе с домашними.

По пути в Пирейский порт вижу бездыханное тело на побережье.

Диоген.

И раковина лежит в его пальцах так, точно действительно избрал ее, чтобы отнести на мою могилу.

Так мы оказываемся на Эвбее, где живет моя родня по матери.

Увы, горек хлеб изгнанника — и никакое вино, на которое не скупятся радушные хозяева, не перебивает вкус праха в моем рту. Тот мир, которому принадлежали мы с Диогеном, исчезает вместе со мной. Или — пропускает первым?

Мое самочувствие ухудшается. Усиливается давняя боль в желудке, но от посещения лекарей отказываясь: ни один из них никогда не мог мне объяснить, отчего действует то ли иное лекарство — оттого нет доверия к их ремеслу.

Составляю завещание. Да будет все к лучшему, но если что-то случится... Назначая распорядителя по завещанию, оговариваю судьбу сына, распоряжаюсь установить статуи в честь покойных родителей.

Как бы ни оставался спокоен внешне, в житейской суете думаю об одном и том же. О том, как умирал Платон.

То был последний год, что я провел в академии.

Платону уже минуло восемьдесят лет. Он сделался раздражителен и замкнут, так что мы нечасто видели его, погруженные в собственные исследования и помощь новым ученикам. Я и вовсе заканчивал диалог «О философии» — первую работу, в которой себе позволил порицать взгляды Платона — его числовое понимание идей, в частности. С нетерпением предвкушал, как отзовется он на это сочинение.

Но моему тщеславию не было суждено победить.

Однажды меня подозвал раб: сообщил, что Платон уже слаб и, кажется, не оправится. А главное — зовет меня. Я чуть было не спросил: так он думает проститься?.. Но сдержался и молча пошел вслед за рабом.

Мы пришли в дом Платона.

Меня поразило, какая там стояла духота. Раб пояснил, что получил распоряжение плотно закрыть все окна: вчера Платона во время прогулки искушали комары, и потому он боится, что с болот прилетят полчища, среди которых уже разнеслась молва о столь вкусной крови.

Я рассердился и, отругав раба за неуместную шутку, велел распахнуть окна. Давно известно, что внутреннему огню человека для дыхания потребен свежий воздух.

Я зашел к Платону.

Тощий и бледный, он лежал на подушках при свете свечи.

Я хотел и его комнату проветрить — но Платон из последних сил приподнялся на руках и выкрикнул, чтобы не смел.

Я встал перед ним, охваченный неясным дурным предчувствием.

— Как ты, учитель?

— Сам будто не видишь...

— Ты звал меня?

— Да! Я звал тебя. Я... Я хотел тебе сказать, что... это важно... что я... да! это важно!..

Он упал на подушки и забылся.

Я опустил голову. Значит, надо готовиться к худшему. Я успел было надеяться, что Платон намеревается завещать мне академию; да, маловероятно, и тем не менее я один из лучших из учеников — единственный, кто смел открыто не соглашаться с ним — и тем завоевал его уважение. Но не в присутствии же полутрупа

всерьез предаваться этой мечте... Я поправил одеяло. К сочувствию примешивалось чувство стыда.

Затем он очнулся и устремил на меня пустующий взгляд.

— Ты...

— Я слушаю!

— Ты... ты вообще кто?

Мой стыд сменился страхом: я понял, что сидящий передо мной старик мало напоминает прежнего Платона.

— Учитель, ты не узнаешь меня?

— Да я тебя знать не знаю! проваливай!

— Но ты сам позвал меня.

Он задумался.

— Верно. Я звал... и тот, кого я звал... это не ты. А другой. Ступай позови его! Я должен ему сказать, что... что... да не пялся на меня! Ты мешаешь думать. Вы все ужасно мешаете!

Он нахмурился.

— Так, погоди. Кажется, я вспомнил. Это ты на той неделе стриг мой сад?... Знай! Я тобой недоволен!

Я перечислял все, что связывало нас, все обсуждения и споры. Хотел добавить, как мечтал превзойти его — и до сих пор мечтаю, — но счел кощунственным восхвалять мудрость человека с пустующим взглядом.

— Разве ты забыл, как посмеялся над тем, что кто-то надумает изучать камни?

— Что? Не было такого. Чтобы я смеялся над камнями? Да ты — превеликий глупец. Камни — это не смешно! И вообще... зачем окно закрыто? Ты уморить меня хочешь? Чтобы я задохнулся?..

— Значит, комары больше тебя не тревожат?

— Комары?... Комары — это не смешно!

Я распахнул окно.

Платон продолжил:

— Вы все меня извести решили... Мало того, что Сократа... его... его же извели...

Что-то живое, знакомое проступило в его чертах.

Так он помнит Сократа. Значит, не все потеряно.

— Слушай меня внимательно, Платон. Ты умираешь. Твой долг — принять с достоинством судьбу. Сократ хотел бы этого. Телесная смерть — воскрешение к высшей жизни. Разве не к этому готовили тебя годы философствований? Страдание в оковах плоти подобно страданию живого человека, которого этрусские пираты привязали к мертвецу...

Тут я понял, что нравственный долг предписывает помочь Платону быстро и безболезненно уйти из жизни. Но разве я — без привычки обращаться с оружием — справлюсь? Исключено. Даже при должном умении моя рука дрогнула бы. Послать раба за цикутой? Пожалуй, так правильно... Или нет? Тогда ученики не успеют проститься с Платоном и будут вправе затаить на меня обиду. Однако не могу же я позволить, чтобы величайшего из мудрецов увидели — таким! чтобы, на радость завистникам и недоброжелателям, прошел слух о том, как он выжил из ума? Ни за что.

— Да что ты несешь, — сказал Платон, — я вовсе не собираюсь помирать. Помирать — это для дураков. Тебе надо — ты и помирай.

— Прошу тебя, думай о Сократе! Он...

— ...Каком еще Сократе?

Я не выдержал:

— Хватит! Ты только что понимал суть разговора! Ты... ты же не мог совсем... Ты бы никогда не забыл Сократа!

Он снова нахмурился.

— А я и не забыл.

— Ну?

— ...Что?

— Кто такой Сократ?

— Этот... который мне сад на той неделе стриг. Так ужасно, что я выйти туда боюсь. А еще там комары, их персы подослали, чтобы отомстить за Каллиев мир. Столько лет прошло, а они до сих пор успокоиться не могут. Такой злобный нрав у этих персов.

Я хотел выйти, чтобы позвать раба и поручить ему раздобыть цикуту, но Платон с неожиданной резкостью ухватил меня за локоть.

— Нет! Не покидай меня... я... не вынесу один... нет.

Не без труда я уверил его, что не собираюсь никуда.

Платон отозвался хнычущим голосом:

— Это хорошо. А то мне страшно. Страшно!

— Ты не должен бояться. То, что кажется телесной смертью, на самом деле... на самом деле... ты сам говорил... это следует из всей твоей философии...

Я осекся, потому что на его глазах выступили слезы.

— Зачем ты говоришь такие мерзкие вещи? Я не хочу умирать. Не надо! Я хочу домой. Да! Отведи меня домой!

— Но ты уже дома!

— Это не мой дом. Это... их дом.

— Чей — их?

Прикрывая мокрое лицо ладонями и путаясь в словах, он пытался объяснить, что в помещении кто-то есть — они смотрят — приближаются и смотрят — их все больше — хотят, чтобы он тоже смотрел — но это невыносимо — он отказывается смотреть — пусть чудовища уйдут!

Я хотел спросить, какие чудовища.

Но Платон уже не дышал.

А потом, когда собрались все его друзья и ученики, когда потребовали поведать, как он держался перед смертью и что говорил, да, когда от меня потребовали...

Я знал, что они рассчитывали услышать, какого рода ответ удовлетворил бы их веру в философию и то нравственное величие, что сопутствует ей.

Однако риторические навыки оставили меня. Я промолчал.

С тех пор упрекают меня, что не сохранил в точности последних слов и прозрений великого человека для будущих поколений.

И с этим обвинением я никогда не спорю.

Расправляю осиротевшие пальцы. Зачем отдал все перстни? Без них пустая легкость давит на кожу.

Дома жена то лаской, то угрозами перевоспитывает хорька, который не желает ловить мышей, тогда как Никомах, мой сын, избивает палкой заросли папоротника во дворе.

А я, никого не предупредив, ступаю в одиночестве по лесу, что раскинулся к северу от Халкиды, и время тянется медленнее, чем когда-либо, и ноет желудок до горечи во рту.

Размышляю обо всем, что успел совершить в жизни.

Разве не удивительно, что я написал о стольких явлениях и понятиях:

о причинах и первоначалах всего сущего,
 о пяти архэ: земле, воде, воздухе, огне и эфире,
 о хрустальных сферах, к которым крепятся небесные тела,
 о внутренней целеполагающей силе всякого зародыша, которой дал имя «энтелехия»,
 о разнообразных тварях — от мельчайших до великих, от осьминога до льва и от пчелы до рыбы, которой дал имя кипринус,
 о животном и общественном начале всякого человека,
 о чувственном восприятии,
 о памяти и представлениях,
 о политике и государственном управлении,
 об искусстве добродетельной жизни, которому дал имя «этика»,
 о речах совещательных, судебных и эпидейктических,
 о толковании сновидений,
 о приемах аналитики, позволяющей выявлять закономерности,
 о трех силлогизмах, отражающих связь между следствием, причиной и тем, кто несет в себе эту причину,
 о законах исключенного третьего, тождества и противоречия,
 о синонимах, омонимах, паронимах,
 о топах, вносящих путаницу в умозаключения,
 об опровержении софистических доказательств,
 о мимесисе, гамартии, анагноризисе, катастрофе, хюбрисе и катарсисе

— и даже о камнях, да-да, и о них тоже.

Помни, Платон, что камни — это смешно.

Диоген был прав. Нет ни одного ничтожного вопроса, по которому я не подготовил бы объемного сочинения на сотню-другую глав. Я — отживший сор в подлунном мире. Оказался непомерно труслив, чтобы присоединиться к военному походу Александра до края Ойкумены, а теперь — слишком болен и стар, чтобы устремиться к неведомому.

Но угасать среди житейской суеты — не по мне.

Пусть моя прогулка и затянулась — нахожу наконец то, ради чего пришел в эти места, удаленные от полиса.

На поляне в стороне от тропы белеют пышные соцветия цикуты.

Остается их сорвать — и, вернувшись домой, разжевать листья ночью, чтобы утром нашли мое тело и решили, что я тихо умер во сне.

Медлю, потому что не перестаю перебирать в мыслях: вдруг чего-то не успел? что-то упустил?

И сумерки настигают меня, нерешительного труса, посреди леса, который вовсе не так безмятежен, как думают, забывшись, иные путники.

Окруженный темнотой, поднимаю взгляд выше: туда, где зажигаются звезды. Только они — подлинное совершенство. Если подумать, насколько ничтожны мои метания перед их незыблемым расположением и...

...незыблемым и...

...почему та звезда стремительно движется?

Стремительно — и всё ближе ко мне.

Но это невозможно. Небесные тела движутся лишь по кругу — и равномерно — испокон веков. Единственная суета, что возможна в надлунном измерении, — искри-

стое воспламенение воздуха, именуемое кометой и ошибочно признаваемое пифагорейцами за свободно летящий камень.

Я напрягаю зрение. А если оно обманывает меня?

Но звезда становится ближе ко мне.

Намного ближе.

Настолько, что вижу ее очертания в лунном свете — более сложные, чем должны быть у шарообразных звезд.

Охваченный внезапным страхом, отбегаю на край поляны и прячусь за деревом.

Но взгляда не отвожу — нет сил отвести.

Что бы это ни было, звезда или нет — приближается, распространяя чуть заметное гудение — похожее на шум внутри раковины.

На поляну опускается не звезда, но вытянутый по бокам и тускло отсвечивающий предмет не выше двухэтажного дома.

Гудение прекращается.

В непроницаемом, казалось бы, предмете образуется отверстие.

Оттуда спускается...

(прищуриваю глаза)

...это — живое существо?

Оно движется, значит — живое. Парит над землей, точно медуза в толще воды. И те части, из которых оно состоит...

— А их невероятное множество, этих разнородных частей, отличных между собой по облику и размерам —

...среди всех созданий, мной описанных, никогда и ничего, что сравнилось бы с... с...

Я не знаю, как называть его.

Я не видел прежде, чтобы у живого существа все части шевелились, видоизменяясь — от больших до малых — точно повинаясь музыке, слышной ему одному. И в этой переменчивости — своя гармония.

Утратив осторожность, выхожу из-за дерева.

Еще до того, как удастся разглядеть облик существа, что-то происходит.

Чем ближе я подбираюсь, тем...

... тем больше преобразуется пространство — теперь вместе с воздухом его заполняет что-то другое —

— невесомое, текучее —

— туман, который не препятствует, а, напротив, способствует восприятию — как если бы что-то осязаемое расправило мое мышление, подтолкнуло к иному, более удобному виду общения.

И меня озаряет, что же туман представляет из себя: мыслительное поле, которым существо окружено, как окружены раковиной обитающие в Эгейском море черепокожие.

С той разницей, что раковина — защищает и оберегает от опасности, а мыслительное поле — распахивает разум навстречу кому угодно.

И мне впервые по-настоящему открыт не просто чей-то разум — это разум, во всем отличный от моего.

Если человек держит мысли внутри себя, но избирательно облакает в устную или письменную речь — так существа этого вида их разворачивают поверх телесной оболочки.

И чужой разум, воедино слитый с чувствами, ощущениями, сознательными и бессознательными порывами, льется на меня волнами, которые беспокойны и мутны, потому что...

... оно тоже — не думало никого повстречать.
 Наконец различаю, из каких частей, неизменно изменчивых, составлен его облик.
 Так вот из каких:
 из геометрических задач, начертанных на песке,
 из песка, в который зарываются мягкоскорлупные твари,
 из мягкоскорлупных тварей, бросаемых в чан с кипящей водой на кухне в доме архистратига,
 из архистратига, чья воля направляет войско гоплитов,
 из гоплитов, которые в разгар битвы под весом снаряжения и щитов истекают кровью,
 из крови, высыхающей на солнце до того, как ее слижут бродячие псы,
 из бродячих псов, окружающих бездыханное тело Диогена при свете далеких звезд
 —
 из всего, что есть в пределах Ойкумены, из всего, что видел я и не видел, составлено это существо.

Как я сразу не догадался? Оно — исследователь. Эта неизменно изменчивая телесная оболочка отражает, какие недавно приобретенные познания о мире наиболее впечатлили его — и над чем оно продолжает размышлять. Оттого и кажется, будто воображение Эмпедокла породило это существо.

(А если бы и мой телесный облик определялся совокупностью изучаемых вопросов?..)

И — еще одно доказательство моей правоты. В череде полупрозрачных образов, перетекающих из одного в другой, есть и старый эллин с выцветшими глазами. Значит, оно осмысляет меня точно так же, как осмысляло бесчисленные множества предметов и явлений. Потому как для истинного исследователя все — достойно изучения; я всегда знал это, я знал!

Пробую подойти ближе. Возникает соблазн дотянуться до собственного лица, которое плавится из-за тревоги, которое существо испытывает...

...А почему оно ее испытывает?

Существо шагает назад, и вслед за ним отодвигаются мыслительные волны.

До меня доносится его одна-единственная, но высоким изгибом бурлящая мысль:

НЕ НАДО

Я спрашиваю:

— Почему?

Мой голос чуть слышен — его размывает ответной волной:

ТВОЙ МОЗГ НЕ ВЫДЕРЖИТ

Что оно имеет в виду? При чем тут мозг, чье назначение — беречь тело от перегрева, отводя лишнее тепло?

Я не могу удержаться.

Я пробираюсь через мыслительный туман.

Чтобы различить не только недавние впечатления существа, но и мировоззренческие установки, составляющие ядро личности. Чтобы разведать все, ничего не упустить.

Там уже нет моего лица: его затянуло мутной пеленой.

А по волнам — стремительно идет рябь.

Я протягиваю руку и прикасаюсь к плоти существа.

В тот же миг на меня обрушивается толща его мореподобного разума.

Сквозь грохот внутренних течений на меня падает картина мира, которую я никогда не сумел бы даже отдаленно вообразить и она и она как больно и она невыносима что это значит нет невозможно это все невозможно

невозможно что все членимо на мельчайшие частицы и те тоже членимы и не так
как представлял нечестивец Демокрит
и для наимельчайших действуют иные законы
и до бесконечности распластан космос
ничто не движется и движется все
нет ни середины ни окраины
ничто не вверху ничто не внизу
и состоит из цветов радуги солнечный цвет
и воздух имеет великую тяжесть
невозможно что мир настолько стар и непрерывно меняется
и меняются живые существа становясь другими
потому как меняются внутри тел записи об их качествах
где-то стомерные пространства бесчисленномерные
небывалых чисел пространства
и разве это возможно
чтобы я в стольком ошибался
мой разум не сумеет вместить
ничего из того что настолько невыносимо
зачем же я пытаюсь
если это невозможно и невыносимо
невозможно и невыносимо
невозможно
невыносимо
все возможное чудовищно и все чудовищное возможно
невыносимо
чудовищно

Это длится миг, подобный вечности, которую мой разум пытается объять — и отступает сраженным.

Как страшно болит голова.

Как. Страшно. Болит. Везде.

Сколько у меня вопросов — я требую ответов на все — я посвятил жизнь тому, чтобы знать — и если надо пройти этот путь на ином уровне — я готов — пусть говорит со мной — оно тоже исследователь — оно должно понимать!!!

Существо отступает — ускользает?

Но почему — я спешу за ним — что ты делаешь? нет! мы только начали этот самый важный в истории человечества разговор!

Останавливается. Конечностью, позаимствованной у осьминога, протягивает что-то маленькое и круглое:

ЭТО ПОДАРОК

Я беру шар, всматриваюсь в переливы на его поверхности.

Невозможно оторваться: тону в разноголосице вспышек и мерцающих огней — тону в громокипании всех красок, что обжигают не прирученный к близости космоса взгляд. Да. Это космос. Шар передает его образы из определенной точки — и если двинуть пальцем вбок, точка поменяется. Только бы не уронить — если бы мог переместиться туда — еще ближе — запотевшие пальцы пачкают стекло — от нетерпения кости внутри меня трещат.

Но — что делает мой даритель?

Он поднимается на корабль — очевидно, что это корабль, приспособленный к полету — и поднимается торопливо.

Я бегу следом, ничего не понимая.

Корабль взлетает.

Я не успеваю ничего сказать — да и не остается сил на окрик.

На меня опускаются остатки мыслительного поля — прежде, чем раствориться в ночном воздухе.

Я успеваю разобрать мысли, с которым существо покинуло меня.

Оно думало, что соплеменники с того корабля, что остался выше, совершенно зря послали его за недостающим растением в их подборке земных образцов — в следующий раз пусть кого другого найдут для мелких поручений — еще и нарвался на малосмышленного, а это запрещено правилами.

Так вот какое имя они дали человечеству.

Малосмышленные.

В эту категорию вписан и я.

Раскаленный красотой космоса шар холодит мою руку.

Вот как меня провели. Отвлекли внимание, всучив блестяшку.

Что же — неужели — я обезьяна — чей разум ничтожен — если сравнивать с уровнем тех, кто странствует по космосу, точно прогуливается по саду?

Я же не обезьяна, которая хватается блестяшку и довольствуется ей — я никогда — нет — я же не обезьяна — я же — я должен объяснить ему — как успело оно сорвать цикуту — недостающее растение — это цикута — мне что — теперь — жить?

И с этой мыслью — как подтачивает она разум! — теряю сознание.

Прихожу в себя уже дома. Это моя постель. Мое окно, в которое светит нещадно солнце.

Звучат голоса домашних. Жена причитает. Искали меня всю ночь. Боялись, что во время обычной прогулки зашел далеко, потерялся. Или хуже того — дикие звери пожрали. Или вовсе... как это — целую ночь? Так долго? Ничего не помню. Пить хочу. Дайте пить!

Почему столько народу? Лекари эти. Всех окрестных, что ли, собрали? Я прекрасно себя чувствую. Лучше, чем когда бы то ни было. Я полон сил, разве не видите?

Разыщите самых опытных, самых дерзновенных умельцев, что сведущи в механике. Пусть приступают к строительству корабля, способного вознестись над Ойкуменой!

Чего перешептываются лекари? Говорят, плохо выгляжу? Да пусть на себя поглядят!

Когда мы вознесемся над Ойкуменой, прежде всего догоню то существо, схвачу за мыслительное поле и как встряхну — и всех соплеменников встряхну — пусть же ответят! — как смеют недооценивать нас?

Мне жарко. Это все летнее пекло. Мне холодно. Это северный ветер подступает. Убегите одеяло — задыхаюсь. Нет, принесите потеплее. Хватит причитать. Да не тошнит меня. Стошнило. В рвоте кровь.

Это потому что я видел бесконечность и себе присвоил — вот и разрывает бесконечностью изнутри. Почему никто не смеется, когда я смеюсь? Неужели не понимаете? Я видел бесконечность! Она — моя!

Подводят Никомаха. Чего ты боишься, милое дитя? Иди сюда — обниму. Не хочешь? А почему? Я дурно пахну? Принесите воды умыться хотя бы!

Слушай, Никомах! Ты слишком мал, чтобы понять, но должен запомнить истину, что я узнал сегодня... вчера... неважно! Она заключается в том, что... нет, ты слишком мал, ты не поймешь — как бы это передать — не хватает слов — у тебя случалось, что не хватает слов? Не плачь. Я вовсе не сержусь на тебя. Просто пытаюсь объяс-

нить — как же это все сразу объяснить, — что мир намного сложнее, чем нам кажется — то есть я знал это и раньше — но он еще сложнее — намного сложнее — пожалуйста, постарайся в это вникнуть!

Дайте шар! Я должен показать сыну шар. Куда подевали? Со мной же был! Помню, что был. Неужели украли? Ищите срочно! Там звезды! Я должен показать их сыну! Он не видел их истинный облик!

Нет, ничем я не травился. Почему вы так решили? Как тут отравиться, если цикуту умыкают из-под носа! Если только — ядом познания. Отправьте письмо Теофрасту! — чтобы приехал поскорее — он поймет, и тогда мы вместе найдем — сколько мы устроим проверок! — чтобы — не хочу проваливаться в забытие — не хочу —
— я один — или нет?

Меня окружают...

...что видит мой распахнутый разум, мои распахнутые глаза...

...тени?

Нет.

Чудовища?

Верно.

Чудовища.

...Надо присмотреться, изучить их, выявить свойственные им категории, понять их поведение...

А состоят чудовища из того, к чему не желает присматриваться никто.

Из постыдного бессилия перед вечностью.

Из всего, что хрупко и скоро на распад.

Из времени, изобретенного до жалости к его жертвам.

Ступайте ближе, чудовища.

Ближе.

Потому что я хочу дать вам имена.

Виктория БЕЛЯЕВА

ПРОСТИВ СОМНЕНИЯ

* * *

Фонарь снесли под вечер сентября.
Он тусклым светом нас хранил от мрака.
Он помнил поцелуи, слухи, драки
и помнил неушедшего тебя.

Он был вполне обычным фонарем —
таких полно в дворах любых панелек.
Прошло четыре года и неделя,
и в темноте какой-то мы живем.

Теперь другой стоит у входа в дом.
Он экономный, он рациональный,
и свет его включается случайно,
а впрочем, говорю я не о том.

Считали мы — фонарь наш личный Бог.
Оберегает юности границы,
склоненный над скамейкой старой птицей,
он понимает улицу, как Блок.

И ты по этой улице идешь,
шпане дворовой по-соседски машешь
и оставляешь черные, как сажа,
следы. И тухнет весь микрорайон.

Я знаю, наш фонарь в твоём раю
скрипит, когда я здесь шепчу о прошлом.
Коснись железной птицы осторожно —
почувствуй руку теплую мою.

Виктория Владимировна Беляева родилась в Ростове-на-Дону. Историк, пишет стихи и прозу. Печаталась в журналах «Сибирские огни», «Prosodia», «Звезда», «Дальний Восток», «Дон», «Этажи», «Нижний Новгород» и др. Лауреат 1-й степени III Международного литературного конкурса «Есть только музыка одна» памяти Дмитрия Симонова (2024). Лауреат 2-й степени в категории «Слово» конкурса «Север — страна без границ» (2024). Лауреат 1-й степени литературной премии им. Омара Хайяма «Зеркало мира» (2023) и др. Автор поэтической книги «Отпустите до темноты» (Стеклограф, 2024).

* * *

Асфальт замело листвою —
усталой и бесполезной,
еще кровавой, густой,
с простывшей октябрьской бездной.

В день изморози уснет
движение кленовой стаи,
но шепот опавший тот
асфальт для живых оставит.

* * *

Снег падал на пронзительный причал
так нежно, будто беды предвещал.
Поверхность досок обнимал и таял,
как я, касаясь твоего плеча,
не твердость обретала, а печаль.
Не мякишем, а ядрышком миндальным
как ты кормил озябшего грача,
деревья, леденя, наблюдали.

ТЕНИ ПАМЯТИ

Спокойной ночи, зимний, нежный сад.
Вот с неба звезды птицами летят
закутаться в пододеяльник снежный.
У летней сцены никого, конечно.
Лишь тени памяти. Две. Под тесьмой ветвей.
Спокойной ночи и ему, и ей.

* * *

На шнурок надевал, завязывал.
Говорил: береги всегда,
Бог живет у тебя за пазухой,
а на небе горит звезда

золотого его прощенья
из серебряного ручья.
Мотыльки прилетят вечерние,
будут крылышками ворчать.

Под окошко станут Те самые,
от которых болит в груди.
Бог за пазухой даже за полночь,
Он от демонов защитит.

Но не ночью, а днем побеленным
подошел ты, коснулся рук.
И шнурок от прикосновения
оборвался на землю вдруг.

Ничего о таком не сказывал
мой усталый старик седой.
Загорелся пожар за пазухой,
и колодца мелькнуло дно.

Загорелась звезда, расплавилась,
серебром потекла, водой.
Бог на небо ушел. Оставил лазь
мне за пазухой — крест с землей.

* * *

Я твои яблоки райские ела — плакала.
Пахли они не яблоками, а причастием,
теплой землей, полем, ладаном на запиястях,
розовым утром и золотистыми злаками.

Я твои яблоки ела, касалась — истины.
Вкусом их белохрустным тянулись сочности.
Я принимала и крапинки, и неточности —
будто гостинец Господа неподписанный.

Слезы на корни падали, как прозрение.
Ветви впитали соли-надежды прежние,
вот потому эти яблоки были нежные.
И благодать нисходила, простив сомнения.

ОЖОГ

Пегим дымом накрывала
ночь мою тоску,
спички-звездочки скрывала
в облачный лоскут.

На весне луна гадала,
я гадала с ней.

Плакал черный снег устало,
будто человек.

Плыл туман над жилмассивом.
Дом из дыма плыл.
Человека уносило
в пегий-пегий дым.

В пегом-пегом растворился.
Звездочки поджег.
Черным сердцем проявился
на луне ожог.

* * *

1

Что мне несешь, тонконоябрьский снег?
В тебя я погружаюсь, как в ковчег,
и забираю прошлой жизни опыт
из пары неразменянных друзей,
тепла собаки, пустоты газет.
И пусть чернит подснеженная копоть.

2

Чего искать в усталом ноябре:
от страха возвращенья ли к тебе
или к себе, оставленной без тени?
В снегах метельных город-современник.
Снег крошится — мучнистый и густой.
Он детский воскрешает мой восторг.
И я в сугроб сажусь, как на колени.

Татьяна ТИКУНОВА

МУШКЕТЕРЫ ИЗ ВИШНЕВОГО САДА

Повесть

I

На учебном показе по теме «Предметы-животные» Таша решила показать мусорное ведро. Идея пришла случайно — выкидывала конфетную обертку, и озарило. До этого занятий пять ничего не приходило в голову. Однорूपники уже напридумывали этюдов: были и пауками, и медведями, и толстощеками хомяками, и зубными щетками, и фонарными столбами, а Таша все сидела в уголке, смотрела и думала, как же по сравнению со всеми бездарна. И вот — родилось!

В театр она тоже попала случайно. Вернее, не совсем в театр — в любительскую театральную студию. Шла как-то после работы к метро, сжавшись и срастаясь с наушниками, а на асфальте белой краской объявление: «Актерское мастерство для взрослых. Набор открыт...» Почему-то не прошла мимо, зацепилась взглядом.

Актрисой Таша быть никогда не мечтала, разве что в детстве представляла себя то русалочкой, то серым волком, то олененком Бемби — ну, этим никого не удивишь, все дети фантазеры. Истории еще какие-то волшебные выдумывала, бабушка за ней записывала. Пробовала и стихи. С возрастом, конечно, прошло. Появился «нормальный» институт, затем «нормальная» работа. Офис, пятидневка, дресс-код, корпоративный дух. И вот теперь это объявление... Захотелось вдруг попробовать, вспомнить те детские ощущения, когда придумываешь и самозабвенно веришь. И рабочие будни разнообразить не помешает — не все сводить дебет с кредитом да слушать сплетни коллег кто, как, с кем и когда. А что Тихон два вечера в неделю проведет без нее — не страшно. Найдет чем заняться, в крайнем случае будет спать — он все-таки кот, а больше по ней в ипотечной однушке никто не скучает.

Так и случился в Ташиной жизни театр. На первом занятии было страшновато, но интересно. Педагог — стриженная ежиком поджарая девушка с замашками авторитарного лидера — дала задание: придумать этюд «В поезде». Народ сначала мялся по стеночкам, а потом понеслось: кто безбилетный пассажир, кто злой контролер,

Татьяна Тикунова родилась в 1984 году в г. Рыбинске Ярославской области. В 2007 году окончила юридический факультет ЯрГУ им. П. Г. Демидова, в 2013 году — факультет журналистики СПбГУ. Публиковалась в журналах «Причал», «День и ночь», «Юность», «Веретено», сборниках «Паутина земли» издательства «Художественная литература» и «О бабушках и дедушках» проекта «Народная книга» издательства АСТ. Трижды лауреат Всероссийского молодежного фестиваля-конкурса им. А. Л. Чижевского в номинации «Малая проза» (2021, 2023, 2024). В 2021 году выпустила дебютный сборник эссе и зарисовок из жизни «О героях и людях». Живет в Санкт-Петербурге.

кто бабка с десятью авоськами, кто задерганная мамаша (дети тоже нашлись), кто проводник с безупречным стажем, которому завтра на пенсию... Таша играла горластую и наглуую провинциалку, ехавшую покорять Москву. Орала так, что тетенькам из бухгалтерии и не снилось. После этюда все как-то расслабились, лед растаял, и два часа пролетели удивительно быстро. Упражнения и правда чем-то напоминали детские игры: нужно было двигаться, представляя, что по льду, песку или на ходулях, произносить шепотом, а потом речитативом и нараспев скороговорки про лавирующие корабли, дрова на траве и идущую по шоссе Сашу с сушкой.

Потом пошли оргвопросы — про стоимость (дороговато, ну что ж...), про форму — заниматься обязательно в черном: так лучше видны лица. Невысокая тоненькая девушка с детской улыбкой и взрослыми глазами спросила: «А мы будем записывать теорию, тетрадь приносить?» Педагог, строго посмотрев, бросила: «Нет. Будем учиться на практике, — и добавила: — Вам это сейчас может показаться странным, но пройдет время, и вы не сможете жить без театра и друг без друга». Звучало несколько угрожающе, но Таша тогда не обратила внимания: заморочки творческих людей, бывает.

И началось. Понедельник и четверг были теперь театральными днями. Таша купила черные спортивные штаны с футболкой и после работы спешила на бывший завод, не переживший стабильность 2000-х и превращенный в модное творческое пространство. Каких теперь арендаторов там не было: студии живописи, керамики, мозаики, песен-танцев, ну и их — актерского мастерства. Про себя она называла ее «драмкружок».

Девушку-педагога звали по-булгаковски — Маргарита Николаевна, но ей больше нравилось без формальностей — Марго. Выпускница ГИТИСа, она играла в небольшом частном театре, куда всем регулярно и настойчиво предлагала билеты, зато главные роли (включая мужские) — и в ее исполнении они были действительно хороши. Как-то, уже много позже, Марго сказала, что лучше будет играть Раневскую там, чем «кушать подано» в БДТ, где таких же талантливых — вагон с тележкой, и Таша была в этом с ней солидарна. Театр Марго любила беззаветно — во всех его ипостасях, жила и дышала только им. Сполна реализовавшись как актриса, она давно мечтала попробовать себя как педагог и режиссер, и едва представился удобный случай, пришла на подработку в любительскую студию, благо в Питере их — пруд пруди.

Заветы Станиславского действительно познавали на практике. Учились расслабляться, избавляться от телесных зажимов (Таша их много в себе обнаружила), взаимодействовать с партнерами, работали над речью, пластикой. Конечно, до профессиональных актеров было далеко, но старались. Марго не терпела халтуру.

Как-то незаметно Таша втянулась. Не все, кто начинал, продолжили заниматься, и костяк группы в итоге составили пять человек. Ташины однокурсники оказались очень разными, но каждый был незауряден и по-своему интересен.

Нику, ту самую, что интересовалась теорией, прозвали «Девочка-вопрос» — она их любила задавать, а еще любила Тарковского, Феллини и плюшевых медвежат. Дизайнер и по совместительству свободный художник Юлия оказалась убежденной вегетарианкой и защитницей прав животных, при этом не очень жаловала людей. Рыжая, как огонь, Катерина, экскурсовод и мать четырех дочек, пришедшая «сбывать» мечту юности, была способна давать уроки Цезарю, который, по легенде, мог делать три дела одновременно, — она могла больше. Высокий сухопарый Борис, ведущий ютуб-канала про недвижимость, больше молчал и слушал других (видимо, здесь он отдыхал от работы), но когда выходил на сцену — его скромность тут же исчезала и все любовались тем, что он делал: парень был талантлив. Впрочем, все были не без способностей, даже Таша

с удивлением открывала в себе доселе не виданные грани, особенно после роли мусорки — в ней она была великолепна (если можно назвать великолепной мусорку).

Но самым талантливым оказался Серега. Он появился позже, когда набор уже закончился и занятия шли — в виде исключения. Марго не могла его упустить. Серега был деревенским самородком — их немало, но признания, увы, добиваются немногие. Как Шукшин, он приехал в город из алтайского села, а как Есенин, стихи которого обожал, гремуче сочетал в себе тонкую ранимую душу со склонностью к безбашенным хулиганствам и регулярным попойкам.

Серегин отец в начале 90-х был известным питерским бандитом — собственно, поэтому семья и оказалась на Алтае: скрывались от милиции. Впрочем, это не помогло: самым ярким впечатлением детства у Сереги осталось, как к ним приезжал ОМОН. После этого мальчик стал заикаться (со временем, к счастью, стараниями местной бабки-знахарки прошло), а отца в следующий раз увидел, уже когда сам стал взрослым — тот сидел у «Пятерочки», сжимая в исколотых синих руках пластиковый стакан с мелочью. Стараясь не смотреть ему в глаза, Серега быстро бросил мятую сотку, с которой шел за пивом, и поспешил уйти. Больше они никогда не встречались.

Серегина мама работала учительницей русского и литературы, поэтому их роман с отцом был классической историей про «хорошую девушку» и «плохого парня». Впрочем, в то лихое время это никого не удивляло — девчонки грезили о «крутых» женихах, которыми считались бизнесмены и бандиты (что часто равнялось друг другу). Серега в равной мере унаследовал черты обоих родителей — иногда это здорово осложняло ему жизнь и мешало окончательно определиться, на какой он стороне и куда двигаться.

Где-то до седьмого класса мальчик радовал мать: учился неплохо, помогал по хозяйству (дружки отца снабжали деньгами, но без мужских рук в селе трудно), много читал и еще успевал посещать все кружки в местном ДК: танцевал, пел в хоре, играл на гитаре и в шахматы. А потом как подменили. Вместо пешек и ферзей — тузы и валеты на задней парте, вместо репетиций — покурить за школой, а потом зажевывать еловыми иголками, но мать все равно чуяла. И уже ничего не могла сделать: детство заканчивалось, начиналась суровая юность.

Про все Серегины дальнейшие приключения если и рассказывать, то только с пометкой «Не повторять, опасно!». По пути отца не пошел чудом — видимо, ангел-хранитель старался. Кое-как окончил школу, потом забрали в армию. После службы стал поспокойнее, пора было задумываться о жизни и профессии. В алтайской глуши ловить было нечего, и Серега рванул на родину отца — в Питер. Там сослуживец помог устроиться на Балтийский завод, дали общагу, но Серега не был бы Серегой, если бы вновь не сделал крутой вираж в своей судьбе: прочитав случайно попавшуюся на глаза книжку Станиславского «Моя жизнь в искусстве», решил пойти в театр (вернее, в ту самую любительскую студию — в «настоящем» театре за двадцать пять лет своей жизни он не был ни разу, даже обитая в культурной столице).

Первое время на занятиях он, как сначала и Таша, стеснялся, сидел в сторонке, наблюдал. А потом вдруг так мастерски сделал этюд на ПФД (память физических действий), что все ахнули. Точно, уверенно, не спеша, Серега показывал, как готовит завтрак: моет руки, зажигает газ, достает сковородку, открывает холодильник, разбивает яйца, льет молоко, режет колбасу. Вроде бы ничего сложного, а попробуй сделать это просто по памяти, одними движениями, без реквизита — и сделать достоверно. Конечно, не все получилось безупречно, но было ясно: парень способный, и надо с ним работать.

II

Развлечение, которым Таша вначале считала театр, постепенно превращалось в труд: сложный, упорный, местами каторжный. Но иначе никак, если хочешь играть по-настоящему, а не просто выходить на сцену и говорить текст. Зато когда получалось — иногда даже случайно хоть проблеск, — это было счастье, ни с чем не сравнимое, как будто по чуть-чуть отрастали крылья.

После основной на «вторую работу» не всегда хотелось (особенно если день был тяжелый, с выкрутасами начальства и клиентов — у кого так не бывает?). Но — странное дело — придя на занятие усталой и опустошенной, после Таша уходила радостной, наполненной, даже если на репетиции (по-театральному — репе) не все удавалось. Неужели это и есть она, волшебная сила искусства?

Потихонечку Таше стали открываться вещи, незаметные раньше из ее будничной скорлупки. Какой удивительный лист клена попался сегодня по дороге: с двумя дырочками посередине, одна больше, другая меньше — будто смотрел на Ташу и подмигивал. А какая интересная попутчица в метро: женщина за сорок, черные длинные волосы, красный пуховик — как и все, но... Закрыла глаза, а вокруг — лучики морщинок. И Таша поняла, что не так — да соседка по вагону улыбается! Блаженно, умиротворенно, счастливо. Уже целую станцию так проехала. Интересно, что или кого вспоминала, представляла: родной дом, близкого человека, просто какой-то приятный момент? Таше подумалось сначала: эта женщина вообще нормальная — так вести себя в метро во вторник в семь сорок пять?.. А потом вдруг захотелось смотреть на нее не отрываясь, любоваться ею и впитывать, впитывать... Чтoб осталось в «актерской копилочке», как говорила Марго, и еще глубже — в самой душе.

Марго часто давала задания наблюдать, но и без заданий Таша уже не могла остановиться. Иногда приходила после работы домой и, покормив оголодавшего за день Тихона (оставленная с утра миска корма не принималась им в расчет), не ложилась, как раньше, на диван со сто двадцать пятым сезоном «Игры престолов», а перебирала детали дня и пыталась их описывать — стихами или прозой. Пока выходило плохо. В детстве и юности получалось само собой, а сейчас навык затерся, подзабылся, но Таша старалась. Борьба творчества с рутиной шла медленно, но верно.

После учебных показов по пластике, речи и характерности — этаких промежуточных экзаменов — выпускной работой должна была стать заготовка к спектаклю по рассказам Чехова. Юля с Никой взяли «Хористку», Катерина с Борей — «Драму».

Таша неожиданно осмелела и предложила Сереге рассказ «Верочка». Поступила почти как героиня — та тоже брала инициативу в свои руки, признаваясь в любви, но, увы, получала отказ от героя, испугавшегося серьезных отношений и ответственности (история неновая, но актуальная). Правда, ни в какой любви Таша Сереге, конечно, не признавалась. Во-первых, потому что и не было никакой любви, а во-вторых, даже если б была — первой Таша не призналась бы никогда из гордости: таких Таш у Сереги был миллион. Успехом у противоположного пола он пользовался бешеным, хоть и не красавчик — брал зашкаливающей харизмой. То одна, то другая девушка во время занятий периодически ловила пристальный взгляд его хитро прищуренных серо-голубых глаз. Не стала исключением и Таша, но значения не придавала: плавали, знаем. Тем более что в Сереге одновременно с жутко притягательным ей чувствовалось что-то такой же силы отталкивающее, а сердечных ран в жизни Таше уже хватило.

Сегодня Серега на репу опаздывал — на заводе доделывали какой-то срочный заказ, — но обещал быть. В ожидании Таша лениво листала соцсети. «Взрослый твор-

ческий человек — это ребенок, который выжил», — мелькнула лента интернет-мудростью какой-то Урсулы Ле Гуин. «Ну и гаррипоттерщина, — усмехнулась про себя Таша, — хотя что-то в этом есть...»

На сцене «выжившие дети» Борис и Катерина разыгрывали «Драму». Катерина в роли почтенной дамы-графоманки Мурашкиной пыталась всеми силами осчастливить своим творчеством известного писателя Павла Васильевича — Бориса. Сначала ласково улыбалась, уговаривала, потом умоляла, закатывала глаза... Но выходило как-то не очень.

Если б на занятии присутствовал Станиславский, то воскликнул бы: «Не верю!», Марго же просто сказала:

— Стоп. Катя, ты делаешь все безоценочно, не видишь партнера. Иди от него — партнер поменялся, ты тоже должна поменяться. Петелька-крючок. А то села на одно действие и едешь на нем, как в плохом театре. И не надо думать, что зритель ничего не поймет. Не поймет — да, но почувствует. Давайте заново. И если видишь, что он не реагирует, попробуй по-другому, меняй воздействие.

Идти от партнера — задача сложная. Для начала нужно его чувствовать. Таше вспомнились недавние тренинги: один вставал спиной к другому, закрывал глаза и падал назад, а второй подставлял руки и ловил. Довериться и расслабиться сначала было очень тяжело, разум и зажатое тело сопротивлялись. Но потом, чувствуя в крошечной темноте опору, возникала потихоньку уверенность — в себе и в другом: падай, тебя обязательно поймут, не сомневайся.

Может быть, оттого, что партнерство — особенная вещь, отношения между ребятами складывались тоже особенные. Таше трудно было их описать словами: не дружба и не любовь, но там была и дружба, и любовь. В чем-то получалось, что партнеры даже ближе, чем друзья и любимые. А еще Таша поняла, что в партнерских отношениях нужно быть предельно честным — фальшь чувствуется сразу и переносится потом на сцену.

В шутку они называли себя мушкетерами: Маргос, Катос, Никос, Юлес, Сергос, Борамис и Тартаньян — один за всех и все за одного! Но ведь в каждой шутке, как известно... После репетиций не расходились поодиночке — до метро только все вместе, а часто потом не по домам, а гулять по городу, в кино или в бар (куда ж без этого творческим людям?). Каждый день списывались в общем чате: обсуждали театральные и нетеатральные темы, делились новостями, смешными картинками и своими детскими фотографиями. Иногда встречались и в выходные — Юлия звала в приют выгуливать песиков, Ника на фестивали авторских фильмов, Катерина на экскурсии по Петербургу и пригородам, Марго на свои спектакли. И потихоньку ребята действительно становились для Таши второй семьей — может быть, потому, что первой у нее не было?.. Пусть так, но ведь главное в жизни — найти свое и своих, и Таша, кажется, нашла...

— Привет, Верунь! — Серега вынырнул из ноябрьского вечера и подошел к Таше — уверенный, улыбающийся, как всегда. Кроме мушкетерских имен, они еще иногда звали друг друга именами их персонажей.

— Здравствуйте, Иван Алексеевич. Ну как, собрали статистику? — Серегин герой как раз этим и занимался в Верочкином уезде, но по отношению к самому Сереге это звучало двусмысленно. Почему-то Таше доставляло особое удовольствие его поддевать.

— Естественно, — обаятельно оскалился Серега (из-за чуть заостренных передних зубов его улыбка напоминала волчий оскал).

Они обнялись (в коллективе это было традицией при встрече и прощании), и у Таши неожиданно вырвалось:

— У тебя уши холодные...

— Зато сердце горячее! — смутить Серегу было трудно.

— Иван Алексеевич, Верочка, на сцену! — Марго отпустила предыдущих «жертв» и готова была взяться за новых. Творческий процесс не останавливался ни на минуту.

После репетиции, когда ехали с Сергеем в метро (они с Ташей жили через две станции друг от друга), в вагон вошла женщина в пальто а-ля «пожар в джунглях» и старомодной шляпе с перьями. Пожелала всем доброго вечера, хорошей дороги и неожиданно стала с придыханием декламировать:

В этот вечер сказал
Ты — не будешь со мною,
Свет не мил белый стал,
Как представляю с другою!

— О, Мурашкина! — подмигнул Серега.

Познакомив пассажиров со своими поэтическими «шедеврами», дама начала предлагать самиздатовские сборники стихов — всего по сто рублей. И тут Таше почему-то стало ее жалко — пусть графоманка, но ведь стремится к чему-то высокому, пытается творить...

— Я куплю вашу книжку, — неожиданно выпалила Таша. «Мурашкина» подскочила пулей, присела напротив, торопливо вынимая из толстой пачки тоненький сборник — видимо, торговля шла не очень бойко:

— Спасибо вам, читайте, я так рада...

«Как мало надо человеку для счастья, особенно творческому — лишь бы заметили, откликнулись...» — подумала Таша.

На «Маяковской» дама выпорхнула из вагона. А на сиденье осталась сиротливая пачка книжиц под названием «Осколки души».

— Забыла на радостях, — констатировал Серега и взял книжицы себе.

— Надо как-то найти ее и вернуть... — расстроилась Таша.

— А вдруг это ее тактика? Подбрасывает везде свое творчество. Павел Васильевич-то не оценил.

— Вряд ли... Оставишь пока у себя? Будет что на ночь почитать, чтоб заснуть поскорее.

— Ладно, — согласился Серега и, прежде чем выйти, обнимая Ташу, шепнул: — Ты потрясающая девушка.

У Таши внутри побежали мурашки.

III

Отыскать растеряшу «Мурашкину» оказалось нетрудно: ее имя с фамилией были на обложке, а фото в той же шляпе — на личной странице в соцсети. Таша написала ей, мол, так и так. Она, конечно, откликнулась и поблагодарила. Договорились встретиться на «Маяковской». Таша сообщила Сереге: книги-то у него. Он обещал приехать, подвезти.

В обед что-то дернуло Ташу ему позвонить:

— Привет. Как дела? Все в силе сегодня?

— Что в силе? — Серега был как-то немногословен.

— Ну, встреча с «Мурашкиной», мы же договаривались, помнишь?..

— А-а-а, я забыл. Не смогу. Пока.

Таша была в растерянности, все пришлось отменить. От холодного тона Сереги стало не по себе, но главное, от того, что он забыл о встрече с ней... Хотя, может быть, у него что-то случилось, поэтому не смог, успокаивала себя Таша...

На следующей репе Серега был такой же, как всегда: шутил, балагурил. Привез книги, отдал Таше. С «Мурашкиной» она встретилась сама. Та все благодарила, благодарила...

Между тем выпускной показ подкрадывался все ближе. Дату назначили на конец декабря — как раз перед Новым годом. Катерина смогла договориться со знакомой из «настоящего» театра, чтобы им дали напрокат костюмы: девушкам длинные юбки и изящные шляпки, парням — котелки и жилеты. Остальной реквизит собирали «с миру по нитке» — на Удельном рынке и «Авито». Юля нарисовала афишу, Таша на работе распечатала программки — все по-взрослому.

Зрителей набрался полный зал — в основном, конечно, друзья и родственники. Волновались «мушкетеры» страшно, но виду не показывали, как и полагается мушкетерам. Напутствие Марго: «Получайте удовольствие!» — Таша сочла странным. Какое уж тут удовольствие, если ноги ватные и в горле пересохло... Но на сцене она вдруг все поняла. Когда зал замер, не дыша, вместе с ее Верочкой, когда вместе с ней ждал ответ Ивана Алексеевича — это длилось всего один миг, но было так прекрасно и ни на что не похоже, что Таша почувствовала: вот оно, ей верят, она смогла! Ради этого стоило и волноваться, и бесконечно репетировать... Однако счастье длилось недолго.

Перед «Драмой» Ника, Юля и Таша по очереди выбегали на сцену в образах восторженных поклонниц Павла Васильевича. И надо же было Таше так неловко, не рассчитав силы, бросить на круглый белый икеевский столик толстенную книгу, что тот, не выдержав, сложился и упал. Это была катастрофа!

Хорошо, что Таша не растерялась и все-таки доиграла роль, но за кулисы вбежала в диком ужасе. Что дальше делать, как быть? «Не переживай», — шепнул Борис и шагнул на сцену — был выход Павла Васильевича. Знаменитый писатель, увидев, что натворила в пылу чувств его поклонница, покачал головой и принялся собирать столик. Через пару минут все было сделано, а зрители решили, что так оно и задумано. Таша и остальные выдохнули.

Зато как потом смеялись в кафе, вспоминая этот эпизод! Хорошо, когда плохое позади, а впереди — Новый год, новые мечты и планы... Именно о них зашла речь: каждый делился сокровенным. Катерина мечтала о ролях, Борис о новых проектах, Юля о мире во всем мире, Ника о том, чтобы когда-нибудь они доросли до создания собственного театра... Когда очередь дошла до Таши, она, улыбаясь, сказала просто и коротко:

— Я в Новом году хочу быть счастливой.

Потом говорил Серега. Смущаясь и чуть запинаясь (последствия детского заикания немного проявились при волнении), он, вертя в руках пивной бокал, произнес:

— Марго, ребята, я хочу вам сказать большое спасибо за то, что тот мальчик, которым я когда-то был и который потом куда-то исчез, он вдруг во мне ожил... И это, правда, так здорово... Спасибо вам всем.

— Уррррррра! За оживших мальчиков и девочек! — закричали мушкетеры и подняли бокалы — кто с шампанским, кто с пивом, кто с соком.

— А про мечту-то не сказал! — напомнила Катерина.

— А мечта... Я хочу взять машину и объехать на ней весь мир. И чтоб рядом была девушка — такая же безбашенная, как я! — выдал Серега, а Таша подумала: «Вот оно как...»

— Урррррра! За событие мечт! — все вновь потянулись к бокалам.

В метро Таша спросила Серегу:

— А почему сегодня не было никого из твоих друзей?

— С моими друзьями можно только водку пить да куролесить. Театр — это не пацански, — ухмыльнулся Серега и неожиданно добавил: — Знаешь, у нас недалеко от села, на Чуйском тракте, есть заброшенная остановка. Как-то диджеил в клубе, и мне вдруг так надоело все — эта музыка, эти люди, что я просто поставил какой-то первый попавшийся диск и ушел. Пришел туда, сидел и смотрел на звезды. А потом подумал, что если вот сейчас появится автобус, то я тут же сяду в него и уеду — куда угодно, все равно. Но автобус не приехал, конечно... — и Серега рассмеялся.

А Таше стало грустно.

IV

С нового года начался новый набор в студию, а «старичкам» Марго дала задание: найти и выучить стихи поэтов Серебряного века. Серега, конечно, взял своего тезку Есенина, а Таше приглянулась Марина Цветаева. В школе эту поэтессу как-то особо не изучали, а тут в ее строках открылась вдруг родственная душа. Таше казалось, что Цветаева выражает словами то, что у нее в самом сердце. Впрочем, не в этом ли и есть мастерство истинного поэта?.. У самой Таши по-прежнему пока не получались ни стихи, ни проза.

Задание, оказалось, было дано не просто так: Марго задумала поставить спектакль по Серебряному веку. Настоящий, не учебный спектакль. Пока что у нее появилась просто задумка в общих чертах, все должно было рождаться в процессе. Работа предстояла сложная, но интересная. Мушкетеры взялись за дело. Приносили стихи, пробовали читать — не как в школе у доски, а по-актерски, проживая и переживая, действуя словом. Что-то получалось, что-то нет — впрочем, как всегда, но потихоньку-полегоньку контуры будущего спектакля начали вырисовываться.

Устав бороздить просторы Интернета в поисках цветаевских стихов, Таша как-то после работы заглянула в букинистический на Лиговском и купила там ее двухтомник. Теперь вечерами на диване под мурчание Тихона листала чуть пожелтевшие страницы, смаковала, выбирала: и то откликнулось, и это... Как-то позвонила Катерина:

— Таш, привет. Нашла потрясающий стих! Пишут в Интернете, что Цветаева. Глянь, пожалуйста, его в книжке, начало такое: «Сердце выше облаков, в пламени душа сгорает...»

— Привет. Ага, сейчас гляну... Кать, нет там такого...

— Как это нет? Может, у тебя собрание не полное?

— Не знаю, может...

— Ладно, попрошу старшую завтра в библиотеке мне Цветаеву взять. Проверим! Пока!

— Пока. Загадочная история... — Таша положила трубку и подумала, что двухтомник купила не зря: ох уж эти интернеты, много там всяких «Цветаевых»... Вот бы чеховская Мурашкина сейчас разошлась!

Между тем в «мушкетерском полку» прибыло. Настес, или попросту Настя, была из новеньких и самой младшей — заканчивала школу. Мечтала поступить в театральный, а пока для подготовки записалась в студию. Занятий с ее группой Насте показалось мало, и она попросила у Марго разрешения ходить к «старичкам» — конечно, не готовиться с ними к спектаклю, а просто сидеть, смотреть, выпитывать. Мушкетеры сначала посматривали на нее свысока, а потом приняли в свои ряды. У Насти

были бойкий характер, светлые кудри и огромные выразительные глаза, как у щенка сенбернара.

Сергеа, конечно, сразу заприметил новенькую. Пару раз подмигнул, пошутил — и юное девичье сердце растаяло. Теперь у Насти появился еще один повод не пропускать репетиции «старичков».

Таша все замечала и злилась. Хотя чего было злиться? Серега продолжал и с ней ни к чему не обязывающее общение, впрочем, как и с Юлей, и с Никой, хотя с ней все-таки больше... После занятий они, бывало, гуляли вдвоем по Невскому, созванивались, переписывались, но дальше дело не шло. Иногда на репах Серега не отходил от Таши, а иногда — в упор не замечал. Таша недоумевала: может, она что-то делает не так, но что? Неправильно шутит, говорит? Вдруг что-то его обижает, хотя Серега вроде не из обидчивых... В итоге Таша решила взять себя в руки и больше не думать о глупостях. Иногда даже получалось...

Стихи на спектакль наконец были отобраны, и Марго начала его застраивать. В каком порядке читать, с каким действием, какие будут переходы — все важно. Иногда что-то рождалось само, прямо здесь и сейчас, и это было прекрасно: настоящая магия сцены! Но сил и нервов тратилась уйма. Приходя в театр, зритель, конечно, этого не знает, да и не должен знать. Таша теперь понимала, какой титанический труд стоит за каждым выпущенным спектаклем.

— Опять многоударить! — выговаривала на репетиции Марго. — Не надо выделять каждое слово, выделяй главное. — И Таша пыталась найти в цветаевском «Реквиеме» главные слова, а главными были все...

Сергеа попадало тоже, хотя он читал строки о московском озорном гуляке лучше. Стихов у него было больше всех, но никто не завидовал. Понимали — талант. Серегу вообще в коллективе любили и уважали, как-то незаметно и естественно он стал неформальным лидером и тянул за собой всех. А театр тянул его — к большому, светлому и к самому себе.

Впрочем, и темное его покидать не спешило. Бывало, Серега приходил на репетиции со следами своей бурной нетеатральной жизни на лице. Но главное, все-таки приходил, не пропускал... Хотя однажды позвонил Таше и глухим, не своим голосом предупредил, что его сегодня не будет: в драке убили друга, пойдет на похороны. У Таши сжалось сердце, она тоже готова была пропустить занятие, чтобы быть рядом, поддержать, но Серега отказался — справится сам.

После одной из репетиций поехали к Нике на Петроградку — смотреть Феллини. Перебегая дорогу (нет бы, всем пойти по переходу!), Таша вдруг почувствовала, как что-то скользнуло по капюшону. Тронула мочку — нет сержки, расстегнулся замок. Жалко, любимая пара... Остановилась между двух встречных потоков, стала искать. Машины летели туда-сюда, но страшно почему-то не было. Рядом вдруг оказался Серега — увидев, что случилось, перебежал обратно к ней, тоже стал ходить между машинами, искать. Ребята ждали на тротуаре.

— Ну что? — спросила Катерина, когда Таша с Сергеем наконец снова присоединились к ним.

— Сержку не нашла... — Таша выглядела расстроенной.

— Нашла. Вот он, рядом, — Серега победно улыбался и был обаятелен, как всегда. «Да и ладно, подумаешь, побрякушка», — подумалось Таше и захотелось улыбнуться тоже.

Вечер с Феллини прошел особенно хорошо. Смотрели «Дорогу», расходились со щемящим послевкусием. Петроградские сумерки мягко ложились на плечи, обнимали, укутывали, будто в шерстяной плед.

В метро Таша спросила:

— Сереж, а ты влюблялся когда-нибудь?

— По-серьезному что ли? — Серега задумался. — Была у нас в селе одна девушка, я долго за ней ходил, а она ни в какую. В итоге сдалась все-таки, а я ее... В общем, даже потом домой не проводил. Стыдно, как вспомню. Еще одна была, к другу моему ушла, я сам их и познакомил... На свадьбе гулял потом. Люблю свадьбы, но чужие. — Серега подмигнул. — Таш, твоя станция.

— Ага. Пока... — они обнялись, и Таша вышла из вагона. Сердце странно и сладко ныло. До дома шла задумчивая, напевая про себя мелодию Нино Рота из фильма. Одинокую сережку по пути выбросила в урну.

V

Месяц до премьеры выдался самым нервным. Бесконечные репетиции, прогоны, поиски костюмов, реквизита. Кроме основных дней занятий, Марго выбила еще дополнительные, правда, всеобщий любимец Серега поначалу был против: мол, у него работа, друзья, девушки... Что ж, личной жизнью в этот месяц пришлось пожертвовать всем мушкетерам — ради искусства.

Жертва была не напрасной: спектакль, как говорят, случился. Не все прошло идеально (впрочем, достигим ли идеал?), но текст никто от волнения не забыл, не перепутал, так что, можно сказать, экзамен сдали. Самое страшное в поэтическом спектакле — ощущение «белого листа» на сцене: как тут выкрутишься, симпровизируешь, если ты не Цветаева, а просто актриса, читающая ее стихи, — не начнешь же сочинять на ходу?

Актриса... Таше было странно считать себя актрисой, хотя пошел третий год, как она занималась в студии. На сцене Таша пыталась быть не кем-то, а прежде всего — собой, разной собой. Дотянуться до себя, постичь себя вглубь, открыть что-то неизведанное внутри, а потом уже и донести это до зрителей, если получится. Впрочем, каждый из ее товарищей пришел в театр по разному зову и за чем-то своим, важным...

Будничное послепремьерное утро встретило Ташу у кулера разговором сонных менеджеров из отдела продаж:

— Не, посидели вчера по лайту, там пиво невкусное... Потом к Сане поехали... А Ленка-то вам хороша была... Ага, че еще в выходные-то делать? Саня, кстати, подработку нашел, слышал? Ну да, дополнительная работа — дополнительные бабосики... Хотя, с другой стороны, фигово, когда тебе на основной денег не хватает...

Подошел еще один, жаловался кому-то по телефону:

— Да у нас как всегда. Работы много, а работать некому. Поувольнялись все, на фиг. Правильно, нечего тут ловить. Я бы и сам сбежал, если б не ипотека долбаная...

Таша вернулась в кабинет. За окном нудно моросил бесконечный питерский дождь. Коллеги активно обсуждали очередную жертву: «Ей двадцать восемь уже, пора подводить какие-то итоги, а она все скачет — ни мужа, ни детей...» Почта мигала сообщением: «Доброе утро, Татьяна, возьмите в работу эти прайсы, их нужно сравнить и сделать отчет до 12.00».

Таша смотрела на цифры и не видела их. Для нее не смолк еще гул аплодисментов и слова Великих Поэтов, говоривших о добре и зле, любви и боли, счастье и страдании — их с ребятами голосами. Она вся была там — в пятне света, выравшем их из мрака сцены. Она еще стояла, держась с ними за руки на поклоне, дыша общим, усталым-счастливым дыханием, одним на всех, и не могла выдохнуть. А главное, не хотела.

Заниматься сейчас прайсами и отчетами Таше казалось преступлением. Что-то неясное, глубокое, смутно-прекрасное жгло ее сердце. Она открыла чистую вордовскую страницу, и пальцы сами собой застучали по клавиатуре:

Как рождается спектакль? О, это чудо из чудес, загадка из загадок, таинство из таинств. Магия, мистерия, волшебство. Сладкое мучение. Это не описать словами, не понять разумом — лишь чувствовать сердцем.

В освещенном пятне на сцене нас шестеро — двое мужчин, четыре женщины. Одеты в черное, белые лишь перчатки и шарфы. За грубым дубовым столом — то ли пьедесталом, то ли плахой. То ли на пиру, то ли на тризне. Кто же мы, где же мы? Нет ответа...

Сидим в свету и по очереди читаем стихи — так велит режиссер. Есенин, Маяковский, Ахматова, Цветаева, Блок — прекрасно-пронзительный Серебряный век. Как умеем, как чувствуем — пусть получается неловко, торопливо или, наоборот, слишком торжественно, пафосно. Нам пока простительно так. Но только пока. Пока...

От зрительного зала отделяет массив стола. Граница, водораздел, наш Рубикон. Постойте, но почему же вы там, а мы здесь? Мы говорим вам, мы уже кричим, мы больше не можем сдерживаться, слушайте же, слушайте нас! Услышите же нас, услышите же, услышите... Мы вскакиваем, мы выходим вперед, каждый по очереди. Жребий брошен. Наши сердца до краев переполнены стихами. Мы несем их вам. Мы стучимся стихами в ваши сердца. Откроете ли вы нам?..

Режиссер талантлив и терпелив, он знает, что делает. Он не загоняет нас в рамки, он творит вместе с нами. Почему получилось, что у каждого вдруг в руках оказалась невидимая скрипка? О, это он вложил ее нам, но вложил так тонко, так умело, так естественно... Он ли? И да, и нет. Струны натянулись, и мы заиграли — потому что не заиграть не могли.

А вот еще стихи — но ими уже нельзя докричаться до всех. Их можно только подарить, как редкое сокровище, — одному, с глазу на глаз. Отдирая с болью и надеждой от души после страстного танго. Да, вот почему не получалось, когда всем и каждому — не надо каждому, режиссер прав. И мы читаем их — за одним столом, но так далеко друг от друга, все пытаюсь поймать тот самый, единственный, ускользающий взгляд...

За другими строками слышится марш солдат — грозный, неотвратимый — и мы, чеканя шаг, чувствуем под ногами брусчатку. А вот здесь глухой бесстрастный звук метронома, удар за ударом, — и головы наши покрывают белые платки. А это ночной шабаш, жуткие демонические пляски темных сил — и загорается дьявольский огонь в глазах, и мы несемся, несемся по кругу, все быстрее и яростнее — куда, зачем, для чего?..

Осталось последнее стихотворение — выходим прочесть его все вместе. Плечо к плечу. Строка за строкой. Лицом к лицу со зрительным залом. Пытаюсь увидеть в свете ламп ваши глаза. Мы все сказали. Мы до смерти устали и до небес счастливы.

Спектакль рожден. Мы смогли. И, дай бог, сможем еще не раз.

После финальной точки Таша почувствовала радостное опустошение: то, что долго копилось и томило, наконец выплеснулось наружу, и стало легко-легко. Что ж, теперь можно возвращаться и к рабочим будням — их никто не отменял, увы. Творчество — это прекрасно, но вряд ли она когда-нибудь сможет превратить хобби в профессию, да еще и приносящую, кроме радости, хороший стабильный доход. Это удается редким счастливым, у которых, впрочем, тоже все небезоблачно...

Вспомнилась вдруг случайная встреча с уличным художником у Казанского:

— Девушка, а давайте рисуемся! Портрет сто рублей.

— Давайте. У меня как раз сто рублей есть.

- Садитесь вот сюда. Платим и рисуемся.
- А это хобби у вас или основное занятие?
- Сложно сказать... Как посмотреть, что в жизни основное, что неосновное...
- Да...Это да...

Таша невольно вздохнула, потом подмигнула сама себе, чтобы отвлечься от набравших хмурыми тучками мыслей, и открыла прайсы.

VI

Декабрьский Петербург сиял шарами в витринах Невского, зазывал горожан и туристов на Дворцовую главной городской елкой-красавицей. Новый Новый год мушкетеры встречали в любимом кафе неподалеку от студии. Устроили «тайного Санту»: каждый приготовил по подарку, а уж чей кому достанется, решали, вытягивая бумажки из Серегиной шапки. Таше досталась открытка — маленький шедевр от Юли из ваты, еловых иголок и шишечек, а ее презент — сборник поэзии Серебряного века (книга ведь — лучший подарок!) — получил Борис.

Серега без всякого «тайного Санты» подарил Таше сережки — бижутерию, не золото и не серебро, но для Таши — дороже золота и серебра. Ей стало неловко оттого, что для него она отдельного подарка не купила... Зато это сделала Настя — презентовала Сереге шоколадную статуэтку «Оскар», не забыв при вручении отметить, как он талантлив, и пожелать творческого и личного счастья. Виновник торжества был немного смущен, но доволен, а Ташино настроение поползло вниз...

Впрочем, к чести Сереги, похвала не кружила ему голову. К себе он относился очень критично и редко бывал собой доволен на сцене. Кроме реп, занимался и дома (к этому Марго призывала всех): ежедневно, зажав в зубах винную пробку, читал скороговорки — тренировал дикцию и артикуляцию. Любой талант без работы над ним, без «подпитки» — только полдела, и загубить его, не развивая, — проще простого. Актерское мастерство, несмотря на врожденные способности, не давалось Сереге легко, но со временем нравилось ему все сильнее и сильнее. А если что-то Сереге нравилось, то увлекался он яростно, страстно, погружаясь с головой — и в хорошее, и в плохое... По-другому не умел и не мог.

На новогодних мушкетерских посиделках Ника задала Марго вопрос, который волновал всех:

- А какой спектакль мы будем ставить дальше?
- Будем ставить Чехова. Только не рассказы, а «Вишневый сад». Приносите на следующее занятие пьесу, будет читка. И большая просьба: не смотрите в Интернете постановки, иначе будете копировать других актеров в своих ролях, а мне нужны вы — ваша игра и ваше понимание.
- Так точно, генерал Маргос! — Серега взял со стола зубочистку. — Один за всех! Ребята тоже схватили по «шпаге» и, скрестив зубочистки, прокричали:
- Все за одного!

С соседних столиков на них смотрели недоуменно, но лишнее внимание мушкетеров не смущало: как-никак, актеры и столько уже прошли вместе... Впереди — следующая ступень.

VII

Роли Марго распределила так: Серега — Лопахин (во многом из-за него она и выбрала «Вишневый сад»: Серега был просто создан, чтобы сыграть Лопахина), Катери-

на — Раневская, Таша — Варя, Борис — Гаев, Ника — Аня, Юлия — Шарлотта Ивановна. Достались роли и самым способным новичкам: Настю взяли играть Дуняшу, а ее незадачливыми кавалерами — Епиходовым и Яшей — должны были стать Ильес и Олегос, то есть Илья и Олег. Близнецы, но внешне непохожие (таких еще называют двойняшками) и абсолютно разные по характеру: Илья спокойный и рассудительный, Олег шепутной. «Братья Запашные», как их прозвали в коллективе (эти роли они играли в учебном этюде про цирк), пришли в студию, чтоб стать увереннее в себе, но в итоге так же самозабвенно полюбили театр, как прочие мушкетеры, за что были торжественно приняты в их ряды в одном из ближайших баров.

Самая сложная задача в новом спектакле досталась как раз «Запашным»: им предстояло готовить не одну, а две роли. Причина была банальна: большую часть студийцев и среди «старичков», и среди «новичков» составляли девушки. По этой же причине «Вишневому саду» пришлось лишиться некоторых второстепенных персонажей (простите, Антон Павлович!). Фирса же и Пети Трофимова пьеса лишиться не могла, поэтому ими стали Илья и Олег соответственно.

Взяв «Вишневый сад», Марго поставила для себя как режиссера и для ребят высокую планку. Во-первых, пьеса — не рассказы и не стихи, ставить ее сложнее и ответственнее. А во-вторых, Чехов — автор непростой, многоплановой (чего стоит один лишь факт, что «Вишневый сад» он считал комедией!). Мушкетерам предстояло основательно поработать — над материалом и над собой.

Катерина все-таки не смогла удержаться и пересмотрела в Интернете все «Вишневые сады», какие нашла. Впрочем, на ее Раневскую это не повлияло, Марго опасалась зря. Может быть, потому, что в самой Катерине было много от персонажа: ее деловитость и энергичность парадоксально сочетались с сентиментальностью, а иногда и с легкомыслием. Ничего удивительного: человек — существо сложное, многогранное, подчас противоречивое. Разбирая характеры и мотивы поступков героев, Таша больше и больше убеждалась в этом. А уж в жизни все еще сложнее, чем в книжках...

Что касалось ее роли — Вари, — Таша тоже пыталась найти в ней частичку себя и вкладывать в нее частичку себя, иначе как же тогда играть?

— Варя — какая она? — спрашивала Марго на разборе пьесы.

— Серьезная, трудолюбивая, гордая, ответственная, скромная, — перечисляла Таша, — любит Лопахина...

— А почему она говорит Раневской, что не может сидеть без дела? Что за этим стоит?

— Не знаю... Может быть, потому что ей так хочется быть нужной?.. Хочется, чтобы мать ее оценила, похвалила. Может быть, ей не хватает любви? И вместе с тем она злится на Раневскую, что та уехала, что бросается деньгами, не замечает, как ей тяжело, плохо, как все рушится...

У Чехова в пьесах за каждым героем — своя боль, порой прикрытая, казалось бы, ничего не значащими фразами. Таша думала: а как бы она вела себя на месте Вари? Что бы чувствовала, что делала? Добираться до глубин своей души, открывая чужие, — сверхинтересно, но и сверхсложно. Впрочем, все по Станиславскому: «я в предлагаемых обстоятельствах»... И почему считается, что театр учит надевать маски? Таше думалось наоборот: он учит от них избавляться, счищать слой за слоем налипшую шелуху с души, чтобы разглядеть наконец себя — живого, настоящего, без прикрас. Главное — не испугаться...

— А что у них с Лопахиним? — продолжала допытываться Марго.

— Какая-то лажа! — засмеялся Серега. — Да, Варвара Михайловна?

— А по-моему, Лопахин любит Варю, но боится признаться в этом даже самому себе. Боится показаться слабым, уязвимым... — Таша произнесла это с какой-то особой грустью. Серега сразу стал серьезным и ничего не ответил.

— А вот у Чехова написано, что Варя — приемная дочь Раневской. Кто тогда ее настоящие родители? Может, она внебрачная дочь Гаева? — Олег попытался разрядить обстановку шуткой.

— Еще скажи, что Фирса! — хихикнула Катерина.

— Так, давайте не будем превращать «Вишневый сад» в «Санта-Барбару». Посерьезнее, господа. — Марго была решительно настроена на работу.

— А что, представьте, если сделать «Вишневый сад» в стиле бразильского сериала?

— Или индийского кино с песнями и танцами?

— Ага, тогда Варя и ее настоящая мать узнают друг друга по родинке в форме вишни на левой ягодице!

— И потом об этом споют!

— Ужас, как не стыдно! Бедный Чехов! Он в гробу переворачивается от таких фантазий, имейте совесть!

Минут пять мушкетеров было не остановить. Что ж, посмеяться на репетиции тоже иногда полезно. Тем более «Вишневый сад» все-таки комедия...

VIII

Медленно, но верно пробивались к сути пьесы. Пробовали, ошибались и снова пробовали. Падали, вставали, набивали шишки. Репетиции шли тяжело, бывало, мушкетеры уходили измученные, опустошенные, но энтузиазма не теряли. Сил придавало, что заняты серьезным делом, ставят серьезный спектакль. К тому же никто не хотел подвести Марго — поставить Чехова ей хотелось во что бы то ни стало, а отступать она не привыкла. Это была проверка на прочность для нее и ее учеников: смогут ли, достойны ли?

Впрочем, их поэтический по Серебряному веку тоже не был забыт. Никто не желал сыграть премьеру и на этом закончить. Слишком много труда вложено, да и результат получился неплохой. Раз так — спектакль должен жить, а живет он, пока его играют. И играли — теперь не только для родных и друзей: по рекламе в Интернете их находили и приходили «посторонние» зрители. Некоторые становились постоянными, оставляли теплые отзывы, благодарили. Это особенно радовало — значит, все не зря... Мечта о собственном театре потихонечку сбывалась.

Таша не переставала удивляться: начиная занятия актерским мастерством «для себя», она и не думала, во что это выльется. Вспоминала слова Марго на первом уроке: ох, как она была права!.. Таша теперь действительно не могла жить без театра и без ребят. Особенно без одного... Но отношения с ним в последнее время не радовали.

Сергея как-то незаметно и непонятно для нее отдалился. К его играм в «холодно-горячо» Таша уже давно привыкла, но теперь это не казалось игрой. Из их общения исчезла прежняя доверительность, и появилась глухая напряженность. Таше все больше хотелось задевать Серегу своими шутками, получая от этого какое-то странное удовольствие, а он, видимо, смирился и покорно подставлял под удар свое самолюбие, как в драке более слабый пес подставляет сопернику самое уязвимое место — живот, чтобы прекратить конфликт. Она же не могла остановиться и кусала, кусала злыми, острыми словами... Потом ругала себя, обещала, что это не повторится, но когда видела его, все начиналось вновь.

Иногда первым нападал Сергей — метко язвил, она тут же заводилась... Потом опять злилась на себя, а он, довольный результатом, снова не замечал Ташу. Сергей проводил теперь много времени с Настей, называл ее полусути «Ребенком», но Таша знала,

что у «Ребенка» к нему совсем не детские чувства... Да и он, конечно, не мог об этом не знать.

Теперь после репетиций Таша все чаще отправлялась гулять одна. Нырjala в вечерний Невский, вслушивалась в город, и он отвечал ей — обрывками разговоров прохожих: «Но ведь любой человек всегда стремится к лучшему, правда? А как понять, что именно для каждого из нас лучшее? И как поступить: вот ты этого лучшего, казалось бы, добился, но не знаешь, что теперь со всем этим делать, как жить дальше?..»

Как героев «Вишневого сада», Ташу тоже теперь мучило предчувствие чего-то ужасного, неотвратимого, только это была не пьеса, а жизнь. Театр парадоксально переплетался с реальностью, и зная, чем все кончится в «Вишневом саде», Таша ждала беду, но ничего не могла поделать. Драматургом здесь, увы, была не она.

IX

В последние месяцы Серега катастрофически не высыпался. На работе аврал за авралом, после смены, если нет репетиций, учи текст на следующую или трудись над правками с предыдущей. А вечером, когда звонят друзья — как не попить с ними пива? А знакомых девчонок, жаждущих его внимания, — как обделить? До сна ли тут?.. Если же занятие в студии — приходил вообще за полночь, а на работу вставать в шесть утра... Выходные пролетали, как миг, иногда они и вовсе были заняты спектаклями: поэтический сам себя не сыграть.

Серега любил театр, но в последнее время его хобби значительно стало осложнять ему жизнь. Роль Лопахина требовала большой работы и напряжения сил, Серега старался на полную, как всегда, но постепенно начинал выдыхаться.

Вдобавок ко всему после одного из спектаклей нагрузки еще прибавилось. Марго пригласила режиссера из театра, где играла, посмотреть на Серегу «в деле». Тот посмотрел и вынес вердикт: потенциал есть, надо работать. Теперь Серега ходил на репетиции и туда: с перспективой ввода в «Варшавскую мелодию» — он идеально подходил на роль Виктора. Но работать одновременно над двумя главными ролями в двух спектаклях — серьезный вызов даже для профессиональных актеров, что уж говорить о любителях...

Свободного времени стало еще меньше, зато появился отличный шанс проявить себя. Мушкетеры поздравляли своего «капитана» и желали удачи, но Сереге почему-то было не особо радостно, хотя играть на настоящей сцене наравне с профессионалами ему хотелось. Только вот, что будет легко, никто не обещал...

Расслаблялся Серега старым верным способом — бутылочкой-другой пенного нефilterованного, а то и кое-чем покрепче. Он так привык: когда со всех сторон душили проблемы, забывался в алкогольном угаре на пару дней — пусть с утра голова лучше болит от водки. С театром прибегать к такому способу стало сложнее: это на работе можно было взять отгул или соврать, что заболел, Марго же требовала жесткой дисциплины. По ее словам, у актера была только одна уважительная причина неявки на репетицию — смерть, а несогласных отправляла читать «Этику» Станиславского. Впрочем, несогласные в ее коллективе надолго не задерживались... На спектакль же, по ее мнению, актер был обязан прийти и мертвый, ибо это — святое.

Однажды Серега совершил святотатство: пришел играть после бурной вечеринки. Не спасла даже ядреная жвачка: амбре было ядренее.

— Ты когда будешь стихи читать, к зрителям близко не подходи, а то с первого ряда сбегут. Впрочем, Есенин, может, так и органичнее получится... — саркастически заметила Таша.

Ох уж эта Таша... Девчонка неплохая, да только слишком серьезная. Серега сам не знал, почему его к ней тянуло: она совсем не в его вкусе: не красавица, обычная, пройдет — не заметишь. Глаза вот только удивительные: огромные, золотисто-карие и какие-то доверчиво-беззащитные, как у олененка. А еще с ней было тепло, душевно, Серега и сам не заметил, как стал делиться сокровенным — чувствами, воспоминаниями. Он умел находить подход к девушкам, и обычно они «таяли» быстро, но эта оказалась крепким орешком. Впрочем, ничего такого он от нее не хотел, да и у них в мушкетерском коллективе такое не принято: все чинно-благородно. Серега не мог объяснить, зачем ему Таша: спортивный интерес, развлечение или?..

Со временем стала таять и эта «Снежная Королева». Серега мог праздновать победу, но праздновать не хотелось. Он не привык к таким «сложным» девушкам, уж лучше пусть будут попроще. Тем более из их общения куда-то испарилась прежняя теплота, повеяло прохладой, все больше сыпалось на него злых шуток — Таша оказалась не столь беззащитной. «Да ну ее, — решил Серега. — Цену себе набивает, найду лучше», — и успокоился.

Отпуска Серега ждал как манны небесной. Удалось на недельку вырваться на Алтай, к родным просторам, горным вершинам и полноводной красавице — бирюзовой Катунь. Обрадовал мать — та год не видела сына, обижалась, что совсем затянула его городская жизнь. А он что сделает — хотел бы чаще, да никак: дорога неблизкая, в Питере его теперь держит не только работа, а еще и театр. Та все понимала, но...

Всю неделю Серега помогал матери по хозяйству, отдохнуть было некогда: дел невпроворот. А почти перед самым отъездом случилось несчастье: соседка Нина полола грядки, стало плохо, местный фельдшер ничего сделать не смог, «скорая» не успела... Хоронили, как полагается, всем селом. Сын ее, Мишка, Серегин одноклассник, еле-еле успел из Москвы на поминки, так же в свое время улетел счастья искать.

— Тоже раз в год к матери приезжал... — шептались соседки.

Серега был мрачнее тучи.

Вернувшись в Питер, он запил. На занятие пришел с похмелья и сам не свой. Ни с кем не разговаривал, играл механически, как неживой, в глазах — тоска. Мушкетеры видели, что с их «капитаном» что-то случилось, но расспрашивать не решались. После репетиции попытались отвлечь, позвали в кино, но Серега ответил:

— Не в этой жизни.

В ближайшую субботу собирались играть поэтический. Зрителей планировалось много: сарафанное радио — лучшая реклама, плюс дали объявления в соцсетях. Ребята пришли, как обычно, за несколько часов до начала: нужно было подготовить сцену, костюмы и самим настроиться, позаниматься речью (это называлось «развучка»).

— Эх, жаль, что тот мой стих в спектакль не взяли, такой душевный был... — грустила Катерина, ловко водя утюгом по своему «игровому» платью.

— Не взяли потому, что это лже-Цветаева, а нам и настоящей хватает, читать не перечитать, — Таша мела пол и не разделяла Катерининых сожалений.

— Серегу не видели? Позвоните ему кто-нибудь! — вбежала обеспокоенная Ника.

— Сейчас, — Таша отложила веник и достала из кармана телефон. — Странно... Не берет трубку. В метро, наверное, едет.

Но прошел час, а Сереги не было. До спектакля оставалось все меньше времени. Марго и ребята начинали всерьез волноваться. Раньше он ничего подобного себе не позволял.

Таша вновь набрала Серегин номер. Трубка долго мучила длинными гудками, а затем вдруг без всяких «здрасьте-привет» ответила чужим, равнодушным голосом:

— Не надо больше звонить. Ваш чертов театр поломал мне всю жизнь. На спектакль я не приду.

Говорят, «земля ушла из-под ног» — дурацкий избитый штамп, но в тот момент Таша почувствовала именно это.

Х

После первых минут шока все лихорадочно стали думать, что делать дальше.

— Надо отменять спектакль!

— А у меня подруга должна прийти, давно собиралась, все не получалось, и вот...

— Но не может же он так с нами...

— А если поехать к нему? Он там пьяный, наверное... Поговорим с ним...

— Да, давайте, кто поедет?

— А вдруг он сейчас не дома?..

— Блин. Тогда не стоит, только время зря потеряем...

— Может, ему еще раз позвонить?

— Бесполезно — трубку не берет.

— Как со спектаклем тогда быть? Марго?

— Я думаю...

— Нам не сыграть без него, у него там куча стихов, а еще они с Юлей танго ведь танцуют...

— Ну что ж, одна буду танцевать...

— Танго — парный танец!

— Тогда буду не танго...

— Может, отменим все-таки? Два часа до спектакля, нам не успеть его перестроить...

И тут вмешалась Настя:

— Я могу сыграть за него. Я знаю все его стихи и спектакль видела много раз.

Марго резко повернулась к ней:

— А это мысль. Сейчас перестроим кое-что и попробуем.

За оставшееся время «прогоняли» спектакль с Настей. Танец пришлось убрать, некоторые сцены урезать, но в целом все было не так уж плохо, особенно учитывая обстоятельства. Настя надела Серегины брюки, рубашку (благо он был невысокого роста и худощав), светлые кудри (почти есенинские!) убрала в хвост. До последней минуты мушкетеры надеялись, что их «капитан» одумается и придет, но он не пришел.

— Что ж, один за всех! — шепнула Настя, стоя за кулисами.

— Все за одного! — откликнулись ребята. Они обнялись и шагнули вперед — на сцену.

Как отыграли, Таша не помнила. Помнила только как замирало сердце, когда читала Настя: волновалась за нее и за спектакль. Но Настя не подвела. У нее не было Серегиного таланта и энергетики, но были свой талант и своя энергетика, да и стихи Есенина она тоже любила и читала их с душой. Спектакль, конечно, получился другим, но главное, что получился. Аплодисменты в тот вечер звучали в первую очередь для Насти, хотя зрители, разумеется, об этом не догадывались.

— С боевым крещением, Настес. Спасибо тебе. Оказался наш дорогой Сергос гвардейцем кардинала... — после, в кафе, было не так оживленно и радостно, как обычно. Алкоголь брали крепче, говорили меньше, почти не смеялись. Мушкетерское братство, спаянное общим делом и еще чем-то прекрасным, неуловимым, хрустнуло, как тонкий осенний лед под ботинком. Окрепнет снова или окончательно сломается оно после Серегиного предательства — не мог сказать никто. Да и судьба спектаклей теперь висела на волоске...

XI

На следующую репетицию мушкетеры пришли как на поминки: понурые, раздавленные общим горем. В глубине души каждый надеялся, что Серега поймет свою ошибку, вернется, попросит прощения, но...

— Он тебе не писал? — спросила Таша Настю.

— Нет... Я написала ему сама.

— И?

— Ответил про мать на Алтае, что надо было принимать решение и он выбрал то, что ему дороже.

— Ничего не понимаю... Какое решение, почему его надо было принимать? — Таша была совсем сбита с толку.

— Не знаю, я не спрашивала подробности. Хочешь, сама его спроси.

— Не буду!

— Ну не хочешь, как хочешь, — Настя дала понять, что тема исчерпана.

— Я хочу, но... не могу. После того, что он сделал... Ведь он нас предал. Еще писать ему, просить объяснений...

— Не вижу в этом ничего криминального, — пожала плечами Настя. — Ой, Марго пришла, сейчас что-то будет...

Общее собрание в репетиционном зале предвещало мало хорошего. Марго была еще серьезней и сосредоточенней, чем обычно. Впрочем, все заметили, что предательство любимого ученика не прошло для нее бесследно. Говорила она спокойно, уверенно, но в глубине тех слов плескалась затаенная боль, которой ни конца, ни края:

— Прежде всего хочу вас обрадовать: «Вишневый сад» мы выпустим. Играть Лопахина буду я. А что касается Сергея... Будем считать, что он умер. Из общего чата его удалите. И больше не будем о нем. Давайте работать.

Сказать, конечно, было проще, чем сделать (хотя такое и сказать непросто). Новость, что «Вишневый сад» все-таки зацветет, мушкетеров порадовала, но вот представить, что без Сереги, пока ни у кого не получалось... И дело даже не в том, что спектакль теперь будет не совсем классическим (Лопахина играет женщина? Ха! Современный театр и не такое видал!). Не верилось, что их капитан действительно покинул коллектив. А то, что не просто покинул, а еще и так эффектно — это он не со зла, а по горячности, по глупости, он одумается, и все будет как раньше...

Таша тоже хваталась за эту мысль, как за соломинку, и удивлялась себе: после того, что натворил Серега, она должна была презирать его, но почему-то чувствовала только бесконечную жалость и боль. Жалость — к нему и боль — за него. Ведь предал Серега не только друзей и учителя, но что еще страшнее — свой талант. Ох, как же, наверное, ему сейчас тяжело...

Таше безумно хотелось поговорить с ним, помочь, попытаться все уладить, но гордость не позволяла. Занятия теперь доставляли мало радости — впрочем, не только ей. Но ребята понимали: «Вишневый сад» нужно выпустить, это дело принципа. Через силу, через боль старались. Прибавляло ответственности и то, что им, непрофессионалам, предстояло играть на одной сцене с педагогом — это стало очередным, хоть и внеплановым экзаменом. Его нужно было выдержать с мушкетерской честью.

Роли каждого, да и весь спектакль, зазвучали теперь по-новому: веселее, пронзительнее, честнее.

— Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит. Когда я работаю подолгу, без усталости, тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для

чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют неизвестно для чего. Ну все равно, циркуляция дела не в этом... — произносила Марго со сцены лопахинские слова, и у Таши почему-то подступал ком к горлу. Как там он, их экс-Лопехин, ее экс-Лопехин?..

— Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение, — объясняла матери Варя, и Таша, говоря это, снова чувствовала тот же предательский ком. Марго хвалила ее за роль, но если бы она знала... Впрочем, наверняка догадывалась.

Спустя месяц терзаний Таша не выдержала и набрала Серегин номер.

ХП

Трубку он взял сразу, будто ждал.

— Привет. Ты как? — Таша хотела сказать так много, но почему-то все слова сразу вылетели из головы.

— Я в полнейшем порядке, — голос Серегина был непривычно серьезным.

Таша удивилась, подумала про себя: «Врет. Неужели так можно?», а вслух произнесла:

— Везет. А вот мы не очень...

— Делаете «Вишневый сад»?

— Да. Марго за Лопехина. Бориса взяли вместо тебя в «Варшавскую мелодию». А вот поэтический больше играть не будем: никто не может...

Серегин ничего не сказал. Помолчали. Таша чувствовала себя мягкой улиткой, выцарапанной из раковины. К горлу вновь подступил комок. Она сглотнула.

— Почему ты это сделал? Почему вырубил нас, как вишневый сад?

— Дело надо либо делать хорошо, либо не делать вообще. А чтобы делать хорошо, нужно жить им. Я не могу жить только театром.

— Но ведь тебя никто не заставляет жить только театром. У нас у всех есть и другие дела, ведь можно совмещать...

— Нет.

— А твой талант, неужели тебе его не жалко? Он не просто так тебе дан...

— Хрен с ним. Я возненавидел театр.

Такого Таша совсем не ожидала. На пару секунд она даже потеряла дар речи.

— Но ведь... ты же его так любил...

— Да, любил. А теперь ненавижу. И я рад, что ушел.

У Таши остался последний аргумент:

— Знаешь, никто из ребят не сказал про тебя плохого слова. Наоборот, все жалели, что ты ушел. Но почему, Серегин? Почему надо было уходить так? Мы же живые люди, мы твои друзья... Ведь ты предал нас, ты это понимаешь?

Серегин вздохнул — все-таки разговор давался ему нелегко, а потом огорошил еще раз:

— Я стараюсь об этом не думать.

— И как, получается? Научи, я тоже хочу не думать, — в Таше волнами поднималась злость, скрывающая боль — ту, что глубоко на дне сердца.

Опять помолчали. Впрочем, говорить было уже не о чем. Но все-таки расстались, не поругавшись. Поболтали напоследок о неважном, пообещали друг другу звонить, писать, хотя оба понимали: этого не будет никогда. Их разговор — последний. Потом у каждого — своя жизнь.

Таша надеялась, что после общения с Серегин ей станет лучше, но стало только хуже. В груди будто зияла дыра размером с сердце. «Как так? Как можно предать, а потом спокойно жить дальше, не страдая, не мучаясь и даже радуясь?» — спрашивала Таша

себя и не находила ответа. Конечно, она знала, что Серега далеко не ангел, но чтобы настолько... В голове не укладывалось, что можно тянуться к высокому, прекрасному, а потом вдруг перечеркнуть все одним махом, забыть, как ненужное старое барахло и уйти в закат прямо по сердцам тех, кому ты дорог и с кем столько всего вместе пережито. Выходит, что весь этот Серебряный век, весь этот Чехов — просто красивые слова, которые там, далеко, а реальность — тут, и она совсем другая. А театр — кривое зеркало, безжизненное и бессмысленное. Зачем же тогда они пропускают это все через себя, зачем учат зрителей тому, чего на самом деле нет, зачем хотят достучаться до других, если сами не достучались до собственных душ?..

Таше вспоминался недавний разговор с ребятами на тему Серегиного ухода.

— Я писала ему потом, ведь не понимает, что натворил, такой самородок и сам себя убил... — обмолвилась Катерина.

— А заодно и нас, — вздохнула Ника. — Я тоже ему писала.

— И я... — удивила Юля (обычно она проявляла больше сочувствия к животным, чем к людям).

— Я не писал, но мне тоже жаль Серегу, — сказал Борис. — И неловко как-то за него в «Варшаве» играть. Если честно, я мечтал тоже когда-нибудь попасть в театр к Марго, но точно не такой ценой.

— Бойтесь своих желаний... — невесело улыбнулась Таша.

— Мы тоже не писали, но нам тоже жаль, — ответил за двоих Илья. — Мы на него равнялись, он для нас примером был...

— Вот только сейчас с него пример не берите, братцы, вы нам нужны еще, — от Настиных чувств к Сереге, казалось, не осталось и следа.

— Ну да, ты же не сможешь в «Вишневом саде» сразу пять ролей играть, — Олега никогда не покидало чувство юмора.

— Девчонки, он ответил вам что-нибудь? — спросила Таша.

— Нет...

— Жесток наш капитан к своим бывшим товарищам...

— А знаете, что скажу, — решительно заявила Катерина, — я все равно думаю: нет плохих людей, есть люди, которым плохо.

Слова эти не шли у Таши из головы. Но почему в подобной ситуации один способен на подлость, а другой нет? Она не находила ответа, да и в силах ли человек его найти? Таша чувствовала, что никогда ей больше не будет в жизни так ясно и светло, как раньше. Она будто бы поседела душой. Наверное, так и уходит, утекает бурной рекой молодость, уступая дорогу зрелости...

После работы она иногда отправлялась бродить по Невскому — туда-сюда, выживала свою боль, но та никак не сдавалась. Среди огней, машин, людей, в их вечном движении Таша чувствовала себя чужой, лишней, просто песчинкой — маленькой, одинокой. Раненым олененком она вглядывалась в лица прохожих и думала: неужели они тоже так могут? Все так могут?

Вечерами, когда становилось особенно невыносимо, спасал Тихон — приходил, укладывался, грел оледеневшую душу. Мурлыкал, что рано или поздно все пройдет — он был философ. А когда даже Тихон не мог помочь, Таша гадала по книге. Это был способ еще из детства: задумываешь страницу, строку — и вот тебе мудрый ответ.

Когда-нибудь, прелестное создание,
Я стану для тебя воспоминаньем,
Там, в памяти твоей голубоокой,
Затерянным — так далеко-далёко.

Цветаева была солидарна с Тихоном, но Таше пока слабо верилось, что все закончится, забудется, отболит. Слишком пока свежо, слишком остро...

Зима в тот год выдалась сродни Ташиному настроению: темная, сырая, бесснежная. Серый, беспробудно-тоскливый Петербург навалился всей своей достоевщиной, сил не было ни на что — работа и репетиции отнимали последние. Перед самым праздником лента выдала фото Сереги у наряженной елочки в обнимку с блондинистой «Барби» — губы-волосы по моде. «С наступающим, друзья!» — пост радостно собирал лайки, беря Ташины сердечные раны. «Что там у него за друзья: которых он предал или с которыми можно только водку пить?» — думалось Таше, глядя на Серегину родную-чужую фирменную «волчью» улыбку.

— Слишком молодая у него мать, — горько усмехнулась Настя и пошла репетировать сцену объяснения коварного Яши с Дуняшей. «Вишневый сад» скоро уже должны были выпускать.

В новом году Серегина страница внезапно запестрела постами из серии «я богат и успешен и научу тебя как». На фото рядом с ним кукольно улыбалась та же «Барби» — судя по профилю, блогер, коуч и автор ста пятидесяти курсов, как стать успешным. Мушкетеры не верили глазам: это точно их Серега?

— Наверное, его похитили инопланетяне, — выразила общее мнение Ника.

— Скорее, инфоцыгане, — хихикнул Олег.

— Да уж... Был актер на сцене, а теперь в жизни, — Таше было и смешно, и больно. — Что ж, это его выбор...

— Жаль, талантливый он парень... — вырвалось вдруг у Марго потаенное горе, но она тут же взяла себя в руки: — Так, господа, давайте не болтать, а работать. Собрали мозги в кучу и на сцену!

После репетиции Таша удалила Серегу из друзей. Эх, если б так же легко можно было удалить его из сердца...

ХІІІ

«Вишневый сад» выпустили весной. В самые беспросветные дни Таше казалось, что та уже никогда не наступит, но закон природы не обманешь: за зимой — всегда весна. Ничто не вечно: ни счастье, ни беда.

Петербургская весна — девушка капризная, непостоянная: с утра пригреет солнышком, к вечеру заметет снегом. Но все равно пришло время, и вновь зацвела, дурманя, на Марсовом поле сирень, высыпали на улицы молодожены и туристы, семьи с детьми и продавцы сувениров, пенсионеры, студенты, иностранцы, зазывалы на экскурсии и все-все-все... Многоликая пестрая толпа, влюбленная в Петербург, шумела, бурлила, пьянела от солнца и синевы Невы. И щебетали птицы, и хотелось дышать полной грудью и верить, что больше не будет стужи — ни вокруг, ни внутри. И по капельке, по крупинке становилось легче, и жилось, и игралось дальше, ведь главное, решила Таша, чтоб не стыдно было перед самой собой. А что до других — их до конца все равно не поймешь. У каждого в душе — свои закоулки...

Премьеру публика встретила овациями и цветами. Стоя перед залом в самый сладкий для артиста миг — на поклоне, — Таша видела напротив сияющие глаза, улыбки, а у кого-то и слезы. Спектакль получился живой, выстраданный и потому — особенно дорогой. «Значит, все было не зря... — думала Таша. — Значит, так надо. Вишневый сад не вырублен, он цветет — для нас и для зрителей...»

Триумф мушкетеров был с привкусом горечи, но все же это был триумф. Они не сдались, смогли, выдержали, сдали экзамен — и на сцене, и в жизни. Поздравляли Марго

и друг друга, шумно отмечали в любимом кафе. Домой Таша ехала, едва успев до закрытия метро, и вдруг впереди на эскалаторе увидела знакомую фигуру. Ташу будто обожгло — Серега! А рядом с ним его длинноволосая безупречная «Барби». «Хоть бы не заметил, — промелькнуло у Таши. — И что это богатые и успешные делают в метро?»

Они спустились на платформу и пошли впереди, держась за руки. Таша брела за ними и чувствовала, как с каждым шагом в ее едва переставшие кровить раны забивают гвозди. Ей хотелось сейчас провалиться, сбежать, улететь — что угодно, лишь бы не идти за ними и не видеть, но она шла и видела. «Только б не обернулся, только бы...» — стучало в голове как заклинание. Могла ли она еще год назад представить себе подобное? Непредсказуемая штука — жизнь...

Серега с «Барби» остановились у края платформы в ожидании поезда, по-прежнему держась за руки и не замечая Ташу. А ей было невыносимо думать, что она сейчас будет стоять, смотреть на них, потом ехать с ними в одном вагоне... Нужно было обойти их, пройти дальше, но как это сделать? С одной стороны стена, с другой — только узкая полоса у самого края: надо идти прямо перед ними, и тогда он точно увидит ее. «Пусть так, — решила Таша. — Лучше рискнуть», — и пошла вперед.

Из темноты тоннеля показались огоньки поезда. Все произошло в доли секунды. Таша проскочила мимо Сереги, едва не задев его локтем, оставалась буквально пара сантиметров. Он не заметил. Она выдохнула и поспешила уйти как можно дальше по платформе — поезд уже подходил.

В вагоне на Ташу накатила какая-то безумная усталость, будто она весь день тащила кирпичи. Мыслей не было никаких. Она закрыла глаза, прислушиваясь к перестуку колес. Вместе с темнотой он убаюкивал, и становилось спокойно, как в детстве, но спать не хотелось.

Таша сидела неподвижно, вся превратившись в слух. И вдруг откуда-то изнутри, из самой глубины, к ней стали пробиваться слова, будто живыми весенними потоками ломая сердечный лед. Они неслись друг за дружкой, стучали вместе с колесами, и не остановить было их и никуда не деться. Строчка за строчкой складывались они в стихи.

Свет набирается.
Дышит, как море, зал.
Шаг — в пропасть сцены,
Снова сдавать экзамен,
Жизнь проживая
Чужую, но без нее
Не мыслишь своей,
Не станешь собой —
Вперед.
Зная, что будет,
Снова играешь роль,
Будто впервые
Вся радость ее и боль
Снова с тобою,
А зритель уловит фальшь,
Не обмани —
Иначе себя предашь.

После финала — занавес и поклон,
Аплодисментов волны.
Опустошен,
Но дьявольски счастлив,
Что верят и видят — жил
Здесь и сейчас,
Безумствовал и любил,
Не персонаж, не призрак — а человек,
Как все и другой.
Но краток актерский век,
И за триумфом провал может быть,
И вот
Афиши расклеены,
Дата назначена,
Публика ждет.

Таша открыла глаза. Пора было выходить — ее станция. Двери вагона распахнулись, выпустив Ташу, и поезд помчался дальше.

Ирина КРУПИНА

ЛАДА ЧЕРНЯВКА

Рассказ

Как известно, Лука (14. 26) предлагает замечательное учение об абсолютном долге перед Богом: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Это суровые речи, и кто может их вынести? Потому-то их и услышать можно лишь весьма редко. Однако такое умолчание — это просто бегство, которое ничему не помогает.

Сёрен Кьеркегор. Страх и трепет

I

Вот и умерла Лада Чернявка.

Я помню ее маму Нину Чернявку (на самом деле они не Чернявки, а Чернявские, эти клички им придумала бабушка).

Я помню Нину Чернявку, я помню их Муху (собака — давно уже умерла), я помню Жору еще школьником — он бывший внук и в прошлом сын.

Теть Нин, ваша дочка, к сожалению, умерла. Она заболела раком (чего — не помню, но мы всей улицей собирали на лечение). Витя помогать отказался. Сказал, что денег сейчас нет, может только тысячу рублей дать, но позже. А потом он заплатил в ресторане за семгу, которую я не доела, вышло тыщ пять где-то.

Да, вот такая жизнь у нас.

Теть Нин, только не спрашивайте, что я здесь делаю, я не знаю, когда все это произошло.

Теть Нин, что вы бы почувствовали, если бы я вам рассказала, что ваша дочка — умерла?

Я больше не хочу писать, я больше не хочу писать никогда в жизни, я не могу писать и не плакать, я очень много плачу, и я не знаю, можно ли это остановить.

Что почувствовали бы мои бабушки, если бы присутствовали при моем старении и умирании? Представим, что мне уже очень много лет. Что мне еще чуть-чуть — и все.

Это можно только почувствовать — как сталкиваются любовь к внучке и ее старость (смерть). Никто этого не увидит, но это нужно представить.

Ирина Александровна Крупина родилась в 2001 году. Окончила философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Публиковалась в журнале «Юность», альманахе «Хороший текст». Живет в Москве.

Слово «внучка» — очень нелепое. Внучка не может умереть, внучка — как Красная Шапочка, она может идти по лесу, нести свою корзинку, но умереть — не может. Единственное, что мы знаем: все проходит.

Господи, а что мне делать, если я сейчас проживаю свое самое счастливое время? Зачем я знаю об этом?

Как можно быть счастливым, зная, что сейчас — самое счастливое время, но оно закончится?

Я знаю, что бабушки умрут. Я знаю, что мама быстро стареет.

Моя девочка. Мне уже очень много лет, я прожила сто миллионов жизней, я столько всего видела и так уже устала, моя девочка, скажи, думаешь ли ты, что будешь счастлива? Ждешь ли ты этого?

Моя малышка. Мой котенок.

Мое сердце — разрывается.

Я не верю ни в какого Бога, но, ангел мой, все, чего мы должны просить — это веры. Мы погибаем, если не верим.

А кстати, Игорь Борисович умер. Мама не хотела говорить, но я случайно увидела в ее телефоне фотографию, фотографию с его портретом и двумя гвоздиками в черной ленте. Говорят, температура, увезли в Керчь, там и умер.

Ты знаешь, я в школе была в него влюблена. Если бы я была другим человеком, мы бы могли пожениться и прожить всю [его] жизнь вместе.

Сможешь ли ты мне ответить, почему между школой и жизнью так мало времени? Почему уже в двадцать плюс (небольшой плюс) мы начинаем понимать, что ждать счастья — не нужно.

Какое может быть счастье, если люди, которых мы любили больше всего на свете, умерли и умрут?

Бабушка говорила, что больше всех на свете можно любить только Бога.

Маша говорит, что жизнь убивает в ней чистоту. Она не хочет этого, она помнит воскресную школу, Елену Валерьевну и причастие каждое воскресенье. Что мне ей ответить, что я могу ей сказать?

Эта жизнь нас калечит.

Я хочу родить ребенка, чтобы не покончить с собой. Даже когда никого на свете у меня не останется, у меня останется брат, и я не смогу покончить с собой. Хотя жизнь — и я прекрасно понимаю Балабанова — в какой-то момент становится совершенно пустой. Совершенно нам не нужной.

Мы живем, мы ждем счастья, и оно случается, маленькими дозами (или большими), но оно — не конечный смысл (Аристотеля можно не читать), оно — туман, за ним мы не видим того, что жизнь из себя представляет на самом деле.

Знал ли Игорь Борисович, что она представляет из себя?

Ты чего так постарел, родной?

Как я изменяюсь, когда у меня родится сын или дочь?

Стоит ли мне рожать человека, который полюбит больше всего на свете Другого (меня или кого-нибудь еще), который умрет?

Как научить ребенка любить только Бога?

Как поверить в Бога, чтобы его полюбить?

Возможно ли любить Бога?

Илья Сергеевич пишет, что благодать — единственное, чем мы живем.

Послушайте. Вчера был Новый год.

II

Вот и умерла Лада Чернявка. Умерла Татьяна Алексеевна. Умерла мама Тани Шаповаловой, тетя Лена.

Я не могу продолжать, мне необходимо сделать паузу, чтобы сказать: мама Тани — умерла.

Мама Тани Шаповаловой, лучшей подруги моих девяти, десяти, одиннадцати лет, — умерла.

Я не помню, сколько мне было, и когда я говорю, что мне было девять, я не уверена, что мне вообще когда-нибудь было девять, но все это неважно — когда-то, когда жизнь была другой, сколько-то лет назад — была репетиция, и после нее Таня подошла ко мне и пригласила на свой день рождения. Тогда машины были роскошью (так казалось), и когда Танина мама посадила нас в свою серебристую длинную машину, я поняла: у меня началась другая жизнь, лучшая. Дети, чьи мамы водят машину, должны чувствовать себя в большей безопасности, чем дети, которых воспитывают бабушки, отсчитывающие мелочь на автобус.

Я не знаю, почему мне не хватило моих бабушек.

Она постоянно жевала жвачку, носила круглые золотые сережки, у нее были та-туировки и темная кожа. Я никогда не пыталась сделать из нее маму, я никогда в нее не влюблялась, в ней не было той божественной мамы, которую я искала. Она не была похожа ни на Елену Валерьевну, ни на Юлию Вадимовну.

Итак. Мне стоит остановиться.

Мама Тани Шаповаловой умерла.

Я не помню, когда мы начали дружить. На дне рождения я почти не знала ее, а после него — помню только, когда мы уже были лучшими подружками, это называлось «ЛП». Таня была моей ЛП.

Почему мне больно от того, что умерла мама Тани Шаповаловой?

Может быть, ее зовут не Лена и уж тем более не тетя Лена. Я не помню, как я ее называла, но помню, что Таня ее очень любила.

У нее был свой ларек на проспекте, она продавала одежду, мы заходили к ней, когда гуляли, и она давала Тане денег.

Кажется, мы почти ничего на них не покупали.

Мама говорит, Таня уже и забыла о своей маме.

Я говорю, что так говорить нельзя.

Мама отвечает, что нужно думать о близких, а не о чужих.

Я отвечаю, что хочу иметь такое сердце, чтобы сострадать всем.

Пока что я никому не сострадаю. Но Таню Шаповалову, мою ЛП, мою элпэшку, мою толстенькую маленькую девочку, мне очень жалко.

Простите меня.

Тане Шаповаловой сейчас двадцать три года. Может быть, двадцать два, а может быть, двадцать четыре.

Когда нам было сколько-то лет, мы с Таней и Ксюшей лежали в одной кровати.

Ксюша учится на социально-культурного менеджера, она много раз поступала, живет с мальчиком, театром больше не занимается. Ее мама очень приятная женщина, сначала я хотела сделать вид, что не заметила ее, потом я подумала, что это неправильно. О смерти тети Лены мне сказала тетя Надя: Ксюша до сих пор дружит с Таней.

Тетя Надя предложила написать им, а я сказала, что мы давно уже не общались, может быть, как-нибудь потом случайно пересечемся.

Тане Шаповаловой сейчас двадцать два года. Год назад у Тани умерла мама.

Десять лет назад мы прыгали с пирса в одних трусах, а когда выходили из моря — прикрывали грудь, потому что она уже росла.

Мама говорит, нужно жалеть не Таню, а ее маму: она умерла в сорок с копейками лет, очень молодой.

Я говорю, что в первую очередь нужно жалеть тех, кто остается. А во вторую очередь — всех.

Мне нужно остановиться. Мне срочно нужна пауза.

Постойте. Давайте все еще раз обсудим.

Восемь лет назад мы были почти что детьми, наши мамы были с нами, может быть, не совсем все, но чужих мам не существует, наши мамы водили машины, готовили обе-ды, волновались, с хорошими ли ребятами мы дружим; наши учителя собирали день-ги на наши концерты, на наши поездки, на наши костюмы; наши друзья приглашали нас на дни рождения; мы дарили альбомы для фотографий, полотенца, энциклопедии, косметички, косметику «Маленькая фея»; мы вырывали страницы из дневников, за что наших мам вызывали в школу; зимой мы надевали на носки целлофановые па-кетки, чтобы ноги не промокали слишком быстро; мы пытались курить, мы издева-лись друг над другом, в конце концов, мы ждали большого счастья, мы были уверены, что оно наступит.

Таня, если бы я знала.

Что бы я смогла сделать, если бы я знала?

Была бы я нежнее?

Попросила бы я тетю Лену не умирать?

Тетя Лена (даже если вы не тетя и не Лена), тетя Лена, пожалуйста, не умирай-те так скоро. Я все понимаю: мы живем в роскоши, у кого-то вообще не было мамы, у кого-то она умерла совсем рано, но, тетя Лен, мы же с вами другие люди, вы же крепкий, молодой, свободный человек, давайте не умирать.

Говорят, рассказывать о судьбе героев текстом в конце фильма — плохо. Но это не плохо, это очень грустно.

Герои были, героини чего-то хотели, как-то жили, а потом — текст на экране:

Таня Шаповалова окончит Краснодарский медицинский колледж.

Затем случится эпидемия коронавируса.

Когда Тане исполнится двадцать два, ее мама умрет.

И это жизнь. Можно ли быть счастливым человеком в этой жизни?

Часто ли Таня плачет по своей маме? Что она сделала с вещами своей мамы?

В комнате Тани были звезды на потолке.

Хотела бы она вернуть эти звезды?

Помнит ли она, как тетя Лена подвозила нас в кафе «Мадагаскар» на день рождения?

Верила ли она маме, когда та говорила, что много подробностей — показатель вранья?

Помнит ли она теперь подробности своего детства?

Оказалось ли это враньем?

Это невыносимая жизнь, и жить ее невыносимо, но мы живем, мы встречаем на на-бережной наших старых знакомых, нам рассказывают о новых смертях, мы охаем, по-том тяжело вздыхаем, потом идем дальше; набережная заканчивается, начинается проспект, и где-нибудь там, в глубине этого проспекта, будет стоять новая тетя Лена, к ней подойдет новая Таня, мы, к сожалению, все это увидим, обо всем узнаем, но пой-дем дальше, дальше. Пока город не закончится.

А когда город закончится, мы успокоимся.

Когда мы окажемся перед Богом, мы скажем — нет, когда мы окажемся перед Богом, мы уже ничего не скажем.

Но когда мы особенно сильно устанем, когда мы совсем уже отчаемся и будем просить Господа забрать нас к себе, обнулить, уничтожить, увековечить, мы скажем, что нам больно, что все-таки мы не можем смириться со смертью, даже если она чудо, и жизнь — чудо, но мы не можем; вокруг горе, и мы страдаем; мы жили жизнь и воспитывали свою душу, совершенствовали ее, и теперь мы чувствуем все, мы сострадаем всем — мы милосердны. Может быть, это и есть конец.

Помните песню «Учат в школе, учат в школе, учат в школе»?

Когда я училась в школе, я ходила на хор, мне давали только бутафорный микрофон, но каждый год я пела эту песню.

Представьте военных, вернувшихся с войны. Они перебинтованы, они хромают, ходят на костылях. До встречи с тетей Надеей я видела, как они выходят из своего госпиталя.

Представьте, если бы мы все побывали на войне.

Представьте нас всех, друзей детства, одноклассников, ребят из одного танцевального коллектива «Вдохновение», вокального ансамбля «Фантазия» или, например, «Акварелька», проживших какую-то жизнь, может быть, не очень длинную, но жизнь; представьте нас, пришедших к разному, имеющих мужей, жен, любовников, детей, никого не имеющих, еще имеющих маму, или уже не имеющих, или навечно имеющих, представьте всех нас, покалеченных временем, потерями, горем, нас на одной сцене. Если кто-то из нас умер, мы оставим ему место, положим на пол листок бумаги и напомним имя.

Мы, покалеченные жизнью, наденем школьную форму, заплетем косички, встанем на одну сцену, украшенную шариками, и начнем петь.

Буквы разные писать
Тонким перышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

Мы будем синхронно двигаться, мы начнем плакать, мы уже не увидим в зале ни своих учителей, ни своих бабушек, ни родителей; пыльные шарики, сломанные микрофоны, листики с именами — все, что у нас останется.

И дневник, валяющийся в кладовке, с замечанием: «Смеется на уроке».

И еще одним: «Уважаемые родители! Просим Вас прийти на разговор к классному руководителю!»

III

Жизнь нужно жить, и вот нам даже год новый дали, чтобы жить.

Вы помните, какими мы были в школе? Мы ждали любви, мы искали ее в выпивке, в подъездах; мы искали ее в учительницах.

Нам сколько-то лет, и у нас уже была любовь.

Бабушке было тридцать девять, когда умерла ее мама. Бабушка говорит, что к боли просто привыкаешь — и жизнь продолжается. Каждый год мы собираемся на день рождения и день смерти ее мамы. Каждый год бабушка плачет.

Со смерти ее мамы прошло сорок лет.

Я не могу никому рассказать, что со мной случилось за эту осень: у меня никто не умер, но она все во мне надломилась. От моего детского списка грехов (каждое воскресенье я ходила на исповедь) ничего не осталось.

Я хочу исповедоваться, но я не верю в Бога.

Почему я не хочу чего-то другого?

Я разлюбила всех, в ком искала любви.

Меня обнимает двадцатилетний мальчик, который никогда не искал любви так, как искала ее я.

Почему Лада Чернявка заболела и умерла? В чем Таня Шаповалова так провинилась, что у нее больше нет мамы?

Бог не в курсе, что у нас тут происходит.

В детстве я просила у Бога только одного — идти по своему пути. Я не знаю, почему я не просила денег, счастья. Хотя я пыталась: несколько лет я просила папу (подай мне, Господи, отца) и чтобы нам забор поставили (у нас забор был как у бомжей или детей в их шалашах). Забор мы поменяли сто лет спустя, а папа — он всегда был, но так и не появился. Да и не нужно уже, давно уже не нужно, как говорится: спасибо, но уже неактуально. Папа — это неактуально. Так же, как и забор.

Я причащалась, просила Господа о пути, а потом шла с Таней воровать бисер в лавке около храма.

Вот это была жизнь.

А потом мы ходили колядовать: я никогда поровну деньги не делила.

Нужно изобрести лекарства. Так сказать, правильный подход. Нужно преисполниться в мировом горе. Например:

Вариант номер один.

— Твои бабушки умрут, и твоя мама умрет.

— Нужно мыслить позитивно, и все будет хорошо.

Вариант номер два.

— Ты увидишь, как умрет тетя Нина, а потом ее дочка, которую она любила больше всего на свете.

— Все, что ни делается, — к лучшему.

Вариант номер три.

— Представь, как больно матери, когда она видит, что ее дочь (...больше всего на свете) — умирает?

— Ты слишком много думаешь.

Как мне ответить Маше? Машулячка, ты права: мы проживаем жизнь, и она нас немножко — ты не подумай, не то чтобы сильно, но она нас калечит, портит, ломает.

Я хочу исповедоваться.

Первого января я впервые в жизни испытала настоящее облегчение: самое лучшее — ожидание праздника и сама новогодняя ночь — закончилось.

Может быть, когда все закончится, я скажу: Господи, я была так счастлива, как хорошо, что ничего лучше со мной уже не случится.

Сейчас нас спасает, что мы не живем в этом — мы в это иногда заглядываем. Но случается, человек начинает в этом жить, и вера не успевает его подхватить, его спасти: и он умирает.

Можно ли попросить у тебя, Господи, веры?

Или ничего уже нельзя сделать?

IV

Я проснулась в старом русском городе, куда всегда обещала приехать и всегда знала, что не приеду. Там живет Сережа.

Сережа, зачем твоя любовь?

Если она есть, для чего она нужна?

У бабушек уже не было сил подниматься по ступенькам.

Мы стояли на холме, мы прошли миллион ступенек. Мне почему-то казалось, что у меня выпускной, но для выпускного это было слишком грустно: я выпускалась не из школы, а из своей юности.

Я снова начала пить, мы сидели с Сережей на старых каменных лавочках, и мы уже знали, что никогда не поженимся, у нас никогда не родятся дети и наши две жизни никогда не будут по-настоящему счастливыми.

Больше всего мне было горько оттого, что Сережа любит меня.

Потому что любовь — всегда надежда, надежда на спасение. Но этого не произойдет, этого никогда не произойдет.

Я обижена на тебя, Сережа.

Я обижена на Ладугу Чернявку, Нину Чернявку, собаку Муху, я обижена на маму Тани Шаповаловой. Я обижена на Татьяну Алексеевну.

Я обижена на Клавю, мою прабабушку.

Я обижена на Нину с Валей, на мою маму.

Я очень обижена на тебя, Господи.

Я крайне на тебя обижена.

V

Мы встречались с Полиной Юрьевной и Еленой Николаевной. Говорят, после Светланы Александровны никто в школе не работал социальным педагогом. И кабинет ее пластмассовый пустует. Зарплата — тысяча двенадцать где-то.

Елена Николаевна подозревает (уже давно), что я сошла с ума.

Полина Юрьевна думает, что я просто нестандартная девочка.

Бабушка говорит, что я ку-ку фонарики.

Представим ситуацию. Нам предлагают следить за организмом (еще не остановившимся сердцем, не разорвавшимися аневризмами, не оторвавшимся тромбом — от чего мы и умираем) — нам предлагают полностью контролировать организм человека, которого мы любим. Мы можем предотвратить то, от чего он умрет. Но нам нужно — возьмем вполне реальное условие — каждый день сидеть с человеком по семь часов. В любое время. Казалось бы: какая глупость, конечно же, мы бы сидели. Но представьте. Каждый день на семь часов нам необходимо будет отречься от своей жизни и отдать ее человеку, которого мы любим. Давайте представим это на долгой дистанции. Смогли бы мы так жить годами?

Для кого семь часов — невозможно долго, можно представить пять часов или три часа. Или десять. Это неважно.

Бабушка сбежала из Москвы, чтобы быть ближе к маме с папой. Она не отреклась от себя, но отреклась от города.

Ирине Александровне сорок с чем-то лет, и она всю жизнь живет с мамой. У нее нет детей и нет мужа. Она переехала в другой город вместе со своей пожилой мамой.

Яне больше шестидесяти лет, и она тоже всю жизнь живет с мамой. И у нее нет детей и мужа. Яна очень харизматичная, но ее единственная подруга — мама. И она до сих пор пахнет вареной гусянкой.

Лиле тоже больше шестидесяти, и она сильно злится, когда мама задерживает обед — они живут строго по расписанию. Мама готовит, Лиля ест. Маме восемьдесят шесть.

Бабушка, Ирина Александровна, Яна и Лиля (еще ее называют: Ляля) — они выбрали эти семь часов. По любви или по слабости — мы не знаем.

В конце концов она приходит ко мне в комнату — с улыбкой, с легким, румяным лицом, как будто вышла из крещенской купели и уже успела согреться; а в глаза — бьет солнце, крымское, почти что весеннее, она садится ко мне на кровать, дает мне листок бумаги, а там написано:

Д е д у ш к а у м е р.

VIII

Я помню теплый июльский вечер, мы возвращаемся с набережной, идем по Московской, я висну на нем, прошу понести меня на спине, но он говорит, что устал. И всегда — сверчки. Я только недавно узнала, что этот звук — звук сверчков. Я узнала об этом, когда он закончился, прошло время, и он мне приснился. Дома мы сидели есть арбуз, за столом во дворе, он включал маленький телевизор из моей комнаты, проводил его на улицу через удлинители, смотрел футбол, а потом засыпал на дворовом диване. Я только после его смерти поняла, что он Всеволод, но всю жизнь мы его звали Владиком.

Он никогда не привозил подарки, но давал мне по десять гривен каждые два или три дня. Не помню, сколько там было дней, сколько их успевало пройти, как долго они длились. Но когда мы шли на море, он покупал мне «Моджо». А в их рекламе говорилось, что это стильно, модно, натурально. Я не знаю, что у нас тогда было. У нас ничего не было, кроме сверчков и пустых банок от «Моджо». Но у нас еще были стеклянные бутылки: сдавать бутылки было стыдно, очень, очень стыдно. Это делали либо бомжи, либо алкоголики, либо очень бедные люди. Мы не были никем из них; иногда мне кажется, что нас вообще не было. Один из пунктов приема бутылок был на Московской, в самом ее конце — или это и есть начало Московской, это было на краю Московской, и где-то к восьми утра туда приходили бомжи, алкаши, очень бедные люди и я.

Я стреляла в эти банки из-под «Моджо», я устраивала домашний тир. Все, что мне нужно было, осталось в моем дворе. У меня был ресторан с тарелками размером с ладонку и листвою в ней. Я готовила выдающиеся отвары из ореха, я смачивала ими раны, я использовала их в качестве соуса к деликатесам, они стояли у меня в пятилитровых банках. Хотя как теперь узнать, сколько в них было литров. От моего двора не осталось и разваленного забора, и орехового дерева тоже не осталось. Теперь там пеня и большой каменный забор, через который уже нельзя переступить.

Когда Владик не смотрел футбол, я смотрела «Богиню шоппинга».

Мне она не очень нравилась, но она шла, а я открывала окно, мечтала о таком подоконнике, чтобы на нем можно было лежать, у нас было много комаров, я ходила вся в пятнах, расчесывала их, и жизнь была бесконечной — жизнь была.

Я узнала о его смерти во время экзамена. Об этом больше никто не знал, кроме его сестры и меня. Мне нужно было решить, что с этим делать.

Он очень любил арбуз, но часто его покупать не хотел, он был человеком меры, человеком сдержанным, как и моя мама, но не как я.

Скучал ли он по нам, когда уезжал?

Я не видела его девять лет. На его похоронах были его сестра и два соседа.

Можно ли скучать по человеку, которого ты никогда не любил? Этот вопрос нужно задать так, чтобы мы поняли: а на самом деле мы любили.

Я не пыталась вспомнить, когда мы виделись в последний раз. Это было так давно, господи, неужели в нас столько силы, чтобы это все выдерживать и жить, неужели мы можем.

В последний раз он приезжал к нам в 2013 году. Мне было двенадцать, брату было шесть. Вряд ли мы думали, что это может быть концом.

Как-то мы поднимались по горке домой, я шла в большом пышном платье, я начала поднимать слои юбок, и он сказал, что так делать нельзя. Мы ходили на аттракционы, я не помню, на чем меня катали, может быть, он меня ни на чем и не катал, но мы ходили на аттракционы, и мы были счастливы.

Странно понимать, что мы были.

Странно понимать, что мы были и мы были счастливы.

О сверчках я вспомнила, когда Наташа поцеловала меня.

Мы сидели на Генуэзской крепости. Я посмотрела на нее и заплакала.

Напротив Генуэзской крепости — больница, в которой умер Леша. Мне было шестнадцать лет, это был сентябрь, мне хотелось любви и нежности, мне хотелось одеться так, чтобы на меня смотрели все врачи мира, все врачи больницы, больницы, в которой умирает мой дедушка. Белые брюки, коричневая кожаная куртка, мамин коралловый шарф. Тогда этот цвет назывался коралловым. Мы помним глупости, мы все помним через глупости. Дедушкина смерть — вершина моей потребности в любви.

Когда мои слезы капали на его тело, слез было много, а тела было мало, он стал почти что эмбрионом; мы меняли ему памперс, кормили его красным компотом через красную трубочку. Мы ухаживали, и я знала, что он тоже ухаживает, я сказала ему, что очень его люблю. Он никогда не верил в любовь, особенно в мою, и я никогда не верила в любовь, особенно в свою, и я не знаю как, он уже не говорил, но он смог выдохнуть из себя: «Брешешь». Когда-то он купил дурацкую игрушечную собаку, она заводилась и двигалась, может быть, издавала какие-то звуки. Наверняка издавала. Я ее не видела, но я знаю, что он ее купил для своей другой внучки.

Они продавались по всей набережной, вся набережная была в собачках, воздушных шарах и сладкой вате.

Собачка стоила тридцать гривен.

Сладкая вата стоила десять гривен.

А у воздушного шара — цены не было. Те, которые продавались, были дорогими и ненужными, мы приходили есть пиццу в бистро «Центральное», там нас называли по имени и вручали нам бесплатный и почему-то нужный нам шарик.

После его смерти Таня сказала, что он очень меня любил.

На пляжах продавали чебуреки (в ларьке), горячую кукурузу, креветки-мидии-рапаны. Владик никогда ничего из этого не покупал, но когда мы шли домой, я упрашивала его зайти в магазин.

Мокрые соленые волосы, слипшиеся из-за соли ресницы, недосдвинутый круг и ощущение, будто у тебя есть дом, маленький дом, в нем куклы, несколько самых главных игрушек, ощущение, будто больше этого — нет ничего, а ты всего лишь накрылся полотенцем на жарком пляже, и сам себе выстроил его — из мокрого тяжелого полотенца, свисающего на голову, и спины дедушки, который вот-вот повернется и разрушит всю конструкцию, но пока она была — была не она, а было счастье.

У него всегда было мало одежды, я смотрела на него и хотела, чтобы у меня тоже было мало одежды. А теперь я даже не знаю, в чем он ходил все это время после 2013 года, дарил ли ему кто-то одежду, не нуждался ли он в деньгах, о чем он думал. В чем он был похоронен. Важно ли это?

Некоторых преподавателей философского факультета моя одноклассница описывает так: «Он уже лет сорок как старый». Одноклассница — с кафедры эстетики. Владика было восемьдесят лет, когда он умер. У нас все дедушки умерли в восемьде-

сят лет. Сорок лет назад ему было всего лишь сорок. Моя мама только пошла в школу, а может быть, еще и не пошла.

Алла отправила мне фотографию его могилы и написала, что он был своего рода Плюшкиным. Я попросила ее оставить что-нибудь для меня, что-нибудь из его вещей. Но об этом думать сейчас неуместно.

IX

Мне снова снился этот сон. Первый раз он приснился в детстве. Тогда я поняла, что мой Бог — женщина.

Мама, моя крестная — мы поехали в монастырь с ночевкой. Утром я решила пройтись, я вышла из монастыря и дошла до полуразрушенного храма. Может быть, он был на ремонте. Был какой-то праздник или просто воскресенье, там было много людей, и она читала проповедь. Священник — только женщина. Проповедью я была шокирована. Она спросила, продолжать или этого достаточно. Первый раз в жизни я попросила продолжить (обычно мне достаточно). Потом она спросила, не хочу ли я служить здесь. Все, что я могла, — это заплакать, и я заплакала. Почему? — спросила она. Потому что я не смогу отказаться от того, что греховно, ответила я.

Она меня обняла.

Кажется, грех вряд ли существует.

X

Когда отчим был пьяным, он казался всемогущим.

Когда они дышат на меня коньяком, я не отвечаю за себя.

Елена Валерьевна пахла ладаном.

Так и получается: моя родина пахнет коньяком и ладаном.

Такие люди, как моя родина, любят голубей, уличных собак, но не нас. Наша родина — нас не очень любит.

«У русского человека две проблемы: есть батя и нет бати». Так говорит моя соседка, хотя это и не ее придумка. Я сразу поняла, что мы подружимся.

У меня есть Леша-священник, уже давно. Он отправляет мне разные смешные (для него) картинки и видео. Но на видео у меня не остается времени: у меня до секунды расписано, как долго я буду лежать в кровати, листая свою ленту (а не его видео), смотреть билеты в какие-нибудь города, покупать билеты на какие-нибудь спектакли, читать о болезнях, которые уже никак не вылечить. Жизнь очень сложная, времени очень мало.

Как-то Лешу отравил настоятель храма. Дело вот в чем. Леша зашел в дом к церковной поварихе и увидел там сцену. Всем понятно, какую сцену можно увидеть, зайдя в каморку к церковной (замужней) поварихе. Настоятелю не очень понравилось, что он не только увидел эту сцену, но и сказал им об этом. Позволил себе оценить исполнение, выразить свое «верю». Итог спектакля — Леша лежит неделю в больнице с какой-то бактерией, которая содержится то ли в человеческих отходах (будем использовать слово «отходы» — остальные слова мне не очень нравятся), то ли в отходах животных. Леша даже знает, во что они подмешали свою отраву.

Если бы Леша не был священником, мы бы с ним закрутили роман. Был день, когда я в него почти что влюбилась.

А теперь он рассказывает мне всякие истории. У меня есть несколько любимых.

История первая. За Лешей после службы бежит женщина. Многодетная мать. Рассказывает, что постоянно ловит своего сына на рукоблудии. Он плачет, обещает, что больше не будет, а потом снова и снова. А сыну — чуть ли не девять или десять лет. Сын не подросток (но я не считаю, что мастурбировать можно только подросткам!).

Леша переспрашивает. Женщина отвечает. Леша переспрашивает о деталях: может быть, у мальчика — дерматит? Нет, у мальчика не дерматит. Он пока не научился чистить историю на родительском планшете — там в запросах много разных дерматитов, особенно в запущенных стадиях. В жестких, так сказать.

Когда Леша понял, что девятилетний мальчик по-настоящему занимается о-на-низ-мом, Леша развел руками и сказал, что к нему с таким никогда не приходили. Отправил к батюшке более компетентному.

Но Леша продолжал жить и служить, и пробелы в его опыте — затянулись.

История вторая. К Леше привели девочку. Кажется, восьмиклассницу. Привела бабушка. Говорит, занимается «этим самым». Бабушку трясет, девочка смотрит в пол, Леша в шоке.

— А она поднимает на меня глаза, я смотрю в ее глаза, а у нее там желание, не как у девочки, ребенка, а как у женщины, причем женщины, много уже повидавшей, если ты понимаешь, о чем я.

Нет, я не понимаю, о чем ты.

История третья. К нему на исповедь приходит молодая симпатичная (его оценка) девушка. Покаялась молодая симпатичная девушка в своих грехах, поцеловала, как полагается, Евангелие, поцеловала (а это уже по желанию) руку священника. Но у нашего священника произошел конфуз. Он обозначил его так: «и у меня, короче, встал». Но Леша — не тот человек, который теряется.

— ...Ты бес, тебе нужно молиться, каяться, уходи из храма Господня, в тебе дьявол. Молодая симпатичная девушка расплакалась и убежала.

Иногда я думаю: если бы Леше разрешили снова жениться или хотя бы самостоятельно удовлетворять свое желание, Леша бы исчез.

Когда я думаю о необходимости борьбы, я вспоминаю Лешу, которому постоянно рассказывают, где, как и в каких позах; которого соблазняют и травят; приглашают в гости и пьют вином, а потом пытаются оставить у себя.

Господи, помоги моему Леше.

XI

Они разные, разные на грани абсурда, стыда или иначе — кринжа. Мы сидим в кафе, нас кормят всякими деликатесами, а я вижу, что вошла она — моя очередная богиня.

— Посмотри, она же богиня, господи.

Он медленно разворачивается — так, как разворачивался бы человек с очень большим животом, но у него нет большого живота.

— Где?

— Вот же.

— Ткни пальцем.

В кафе находилась только одна женщина.

Я не знаю, такими (слепыми, глухими) рождаются или становятся, но к нам подсел Илья, а Илья — то ли гений, то ли просто пятилетний ребенок, разбивший в садике окна, потому что уволилась его воспитательница. Говорит, руки все в крови были, так он любил ее. А потом, уже много лет прошло, была тюрьма, потом, может быть,

еще одна. Илья хочет перед всей нашей резиденцией снять трусы, что-то важное нам показать, хочет что-то предложить нашему организатору (большому человеку) с фамилией Хренчиков.

И он показывает нам, что он хочет ему предложить. Илья — взрослый человек, я даже боюсь спрашивать, сколько ему лет, но он такой — его хочется обнять, сказать ему, что я все понимаю (а над ним же смеются, его пытаются унижить), но я брезгую. Есть такие люди: они очень талантливые, но прикоснуться к ним (вполне физически) — страшно. Илья был стриптизером, Илья был красавчиком, я не помню уже из-за чего, но он начал выжигать себе лицо, бить себя током.

— ...Я все уродливее, а они сильнее ко мне, сильнее, их больше, я и здесь еще выжгу, и здесь, так они и там целовать хотят, и тут. Послушай, а ты не влюблялся в учителя? А ты в директора школы не влюблялся? А ты помнишь, как зовут твоего директора школы?

Никогда в жизни я бы не додумалась сказать «как зовут», а не «как звали». Илья ничего не забыл. Только как быть ему — неясно. Что с ним станет — неясно. Он очень много пьет и никому не нравится. А мальчик с потенциальным большим животом — в шоке. Уйти — не уходит, но говорит, что больше в этой компании (я + Илья) сидеть не будет.

На следующий день он находит себе компанию такой женщины, что если бы она была мужчиной, она бы тоже не поняла, где находится богиня, даже если в помещении — один человек. Такие люди обычно говорят: «Нужно быть нормальными, нужно спокойно себя вести. Не нужно высовываться лишний раз».

— ...Это большое упущение для литературы, что сейчас не включен диктофон. Он сказал об этом несколько раз и сказал это после того, как я подскочила с кровати, начала ходить кругами по комнате, вылетела освежиться на балкон. Кажется, от молодого писателя он ожидал не этого. Но все это глупости. По сравнению с Ильей — мы сгоревший сарай, мы уже умерли.

Мою учительницу географии звали Ириной Александровной.

Мою учительницу литературы звали Еленой Николаевной.

А Елену Валерьевну звали Еленой Валерьевной.

Я еду к ним на своем четырехколесном велосипеде, я проезжаю сквозь магазин «SOTA», построенный два года назад, аптеку «Апрель», в которой у мамы была карта постоянного клиента, магазин «За пивком», где мы с тобой постоянно покупали креветки. Всего этого не было, и я это разрушу.

Мою учительницу географии звали Ириной Александровной.

Мою учительницу литературы звали Еленой Николаевной.

А Елену Валерьевну звали Еленой Валерьевной.

Если бы мы снимали кино или ставили спектакль, нам бы необходим был какой-то поворот, который все изменит, как его называют — конфликт. Должно что-то случиться, чтобы герой вышел другим — не тем, которым пришел. Наверное, если герой больше всего на свете боится смерти своих близких — они должны умереть, одного близкого будет достаточно. Цель нормального текста — убить этот страх, показать, что бояться смерти — не стоит. Но мы с вами ненормальные. У нас ненормальный текст. И у нас, слава богу, никаких новых смертей нет. Правда, у Андрея Витальевича погиб сын, он написал об этом: мальчику было восемнадцать лет. Андрей Витальевич говорит, что сын просто не понял, как сейчас жить, не справился с этой жизнью. Я подумала, что такие известия нельзя получать утром — это очень неправильно. А еще я подумала, что есть в этом мире люди, такие родители, по которым видно, что они

переживут смерть своего ребенка. Они умеют бояться за тех, кто не очень справляется с жизнью, они их жалеют и просят пробовать дальше, хотя в их глазах — такая же, как и у самих несправляющихся, неуверенность, что они, несправляющиеся, еще хоть сколько-то проживут. Это самые сильные люди на свете, меня всегда к ним тянуло: может быть, поэтому мы с Андреем Витальевичем уже давно дружим. Ему жалко меня. Может быть, эти люди — ангелы-хранители всех тех, кто еще здесь и кто слабо справляется с этим «здесь».

Но у нас финал. Было бы хорошо, если бы какая-то одна смерть все перевернула, отменила страх перед любой последующей смертью. Но у нас не фэнтези, это не наш жанр. Юлия Вадимовна, когда мы ставили новый танец, рассказала нам историю. Она стояла на кассе в «АТБ» — раньше это была украинская сеть, теперь там все по-другому и называется она «ПУД» (как бы продукты у дома), она стояла на кассе, а перед ней — какой-то мужчина. И вдруг он падает. Он падает на ее руки, она каким-то образом успевает его подхватить. Наверное, она пытается его реанимировать или как-то привести в чувства, я этого не помню, но я помню, как она сказала: и вдруг я чувствую, как вылетает его душа, прямо с моих рук. Мы ставили об этом танец, назывался он «Свет, который проникает в меня». Я была душой, которая выходит из человека.

Такой случай мог бы стать точкой, которая все изменит. Смерть чужого человека прямо на моих руках. В какой момент я пойму, что пришло время убирать руки? Как я смогу его отпустить? Что будет с его продуктами — наверное, их вернут в магазин, но это продукты человека, который только что умер в этом магазине, который сделал свой последний выбор этими продуктами? Зеленым горошком, макаронами, несколькими рулонами туалетной бумаги. Чувствует ли ужас тот, на чьих руках умирает незнакомый человек? Мне кажется, он не должен чувствовать ужас.

Я не знаю, какое изменение во мне произошло. Я не перестала бояться смерти, да и смерть не остановилась.

Может быть, желание проститься с жизнью, спокойное и устойчивое, — самая большая благодать, которую Господь нам дает.

Но и все-таки.

Лада Чернявка, Нина Чернявка, собака Муха.

Татьяна Алексеевна, Светлана Александровна, Светлана Павловна.

Дедушка Леша и дедушка Владик. Мама Тани Шаповаловой.

Я не была готова к вашим смертям.

Юлия Вадимовна, Ирина Александровна, Елена Николаевна, Елена Валерьевна.

Священник Леша.

Нина и Валя. Мама.

Я никогда не буду готова.

КУКЛА ДЯДИ ИЗИ

Повесть

Маленькая Вера обожала куклу Надю, ведь та одевалась в кружевное белье, лоскутную юбочку и очень симпатичную черно-белую хлопковую кофточку. К тому же Надя умела громко говорить «мама» и была иностранкой: ее купил в Беркли дядя Изя, известный ученый-микробиолог, привозивший племяннице со своих симпозиумов заморские чудеса. Будучи девочкой из а-ка-де-ми-чес-кой семьи, Вера знала, что такое мик-ро-би-о-ло-гия и сим-по-зи-ум, и регулярно объясняла значения этих волшебных тер-ми-нов детсадовским подружкам. Но когда дядя Изя в очередной раз возвращался из командировки, научная деятельность откладывалась, потому что у Веры и дяди Изи возникала срочная необходимость изучить подарки и заодно поиграть в куклы. Забыв про микробиологию, они с упоением наряжали, причесывали, лечили, купали в ванной, сушили в полотенцах, а под конец засовывали Вериних воспитанниц в пижамы и укладывали спать. Кукол было немало: один пупс, купленный в «Детском мире», и две Маши из Гостиного двора, но поскольку занимались ими люди интеллигентные и даже с докторской степенью, то все необходимые заботливости — ах, как нравилось дяде Изе это слово — игрушки получали в полном объеме и, засыпая, слышали, как Вера и дядя Изя на цыпочках уходят из комнаты и отправляются в гостиную, где ждали самый вкусный в мире мамин форшмак, расположившийся в хрустальной салатнице вальжный оливье и фаршированная рыба, благоухающая так, что слюнки текли не только у микробиологов.

С появлением Нади бессистемное приобретательство дяди Изи обрело строгую направленность. Во-первых, необходима коляска, потому что таскать куклу за руку по городу вредно для ее здоровья и может закончиться артритом. Во-вторых, Наде нужен плащ — климат-то влажный и холодный, следовательно, ОРЗ без верхней одежды гарантировано. Наконец, дело дошло до трикотажа.

— Смотри, — степенно объяснила Вера, открывая створки бельевого шкафа, — сколько у меня одежды. И платья, и пижамки, и трусики. Ведь ты, дядя Изя, трусики меняешь?

— Бывает, — с некоторым колебанием подтвердил дядя Изя.

— Часто?

— Э-э-э... Ну разумеется.

Макс Шапиро — переводчик, прозаик. Родился в Ленинграде в 1966 году. В 1988 году окончил ЛИИЖТ (ныне Санкт-Петербургский университет путей сообщения). По профессии инженер-программист. Публиковался в альманахе «Крылья» (2023), журналах «Нева», «Эмигрантская лира», «Русский литературный центр», «Теплые записки», «Всем поэзии», сборнике «Необходимо и достаточно» (2025). Занял первое место в конкурсе «Антоновка» (2024). Живет в США.

— И я меняю, — строго сказала Вера, — а у Нади только одни трусики, а пижамки и вовсе нет. Разве это хорошо? Это же не-ги-ги-е-нич-но!

Снабженный подробными инструкциями дядя Изя теперь привозил только нужные вещи, отчего Надин гардероб так разросся, что Вера выделила для него полку в своем шкафу, а Надину верхнюю одежду вешала рядом со своей на плечиках. В углу комнаты стояла коляска, в прихожей висели Надины плащ и шляпка, а внизу, рядом с Вериной обувью, стояли маленькие резиновые сапожки, непременно обуваемые при любой погоде: ведь в Ленинграде ливень может случиться когда угодно.

Такая забота, конечно, Наде очень льстила, порой она зазнавалась и проявляла пренебрежение к пупсу и другим игрушкам, даже к обеим Машам, но в целом была вовсе не кичливой, а очень доброй и любила Веру совершенно беззаветно: никогда не жаловалась на игрушечные сапоги, в которых осенью хлюпала вода, а летом прели ножки, на закоченевшую от сидения в песочнице попу, несъедобные пирожки из пластилина и многие другие неприятности, доставляемые куклам их беспечными хозяйками. Напротив, оказавшись в маленьких ручках, Надя забывала все обиды, немедленно начинала хлопать глазами и ласково повторять «мама» звонким механическим голосочком, чем неизменно приводила Веру в восторг.

Неудивительно, что, имея такую преданную куклу, Вера с ней не расставалась и безжалостно таскала с собой повсюду: и в детский сад, и в кружок рисования, и в гости к бабушке Фире, и на занятия с английским ре-пе-ти-то-ром, где Надю усаживали на стол рядом с уродливым пресс-папье и заставляли слушать галиматью про неопределенные артикли. Правда, иногда кукле удавалось вставить слово, но лишь опрокинувшись на спину и пребольно ударившись затылком.

Надя светскую суету стоически терпела, хотя в такой ситуации предпочла бы общаться дома с другими игрушками, тем более что после каждого похода к ре-пе-ти-то-ру ее засовывали в коляску и устраивали экзамен.

— Скажи «good» по-английски, — требовала Вера, качнув коляску.

— Мама, — жалобно отвечала Надя.

— Неправильно! «Good» по-английски — это хорошо. А теперь скажи «bad».

— Мама.

— Опять неправильно! — строго выговаривала Вера. — Ты же английская девочка, должна знать. Опять все забыла?

— Мама, — оправдывалась Надя.

— Это неуважительная причина. Умные девочки умеют говорить «good» по-английски.

К счастью, забава быстро надоедала суровому экзаменатору; Надю извлекали из импровизированной парты, одевали в свежую пижаму и укладывали в Верину кровать, где произносить «мама» разрешалось без всякого подтекста.

Когда же пришло время покинуть детский сад и отправиться в первый класс английской школы, Вера наотрез отказалась посещать храм науки без любимой куклы.

— Надя не поместится в портфель. — уговаривала мама.

— Разумеется, — парировала Вера, — я повезу ее в колясочке.

— По слякоти?!

— И что? Я же вожу коляску к бабушке, когда мокро, и по снегу вожу.

— Но никто не берет кукол в школу.

Какие взрослые порой непроходимые тупицы, все же так просто.

— Естественно, — объяснила Вера совершенно очевидную вещь, — у них же нет Нади.

Отчаявшись убедить дочку, мама решила апеллировать к высокой инстанции и позвонила брату:

- Изя, Вера не хочет идти в школу без куклы. Поговори с ней.
- Я могу попробовать, но ты же знаешь, какой это ребенок.
- Хаиц ин паровоз¹, братик.
- Хорошо-хорошо, — быстро согласился Изя. — заеду завтра.

И вот он появился — корифей науки в импортной кожаной куртке, весьма, к слову, задрипанной, серых брючках из ГУМа и фирменных кроссовках, шнурки которых пребывали в состоянии неконтрольной энтропии. «Дядя Изя!» — завопила Вера, услышав знакомый голос в прихожей, и прыгнула своему любимчику на шею. Тот скинул кроссовки, благо они не нуждались в развязывании, и унес племянницу в ее комнату.

Произведя обычную ревизию кукольного гардероба и обсудив новости микробиологии, дядя Изя перешел к делу.

- Я слышал, ты скоро идешь в школу.
- Иду.
- Надя будет скучать.
- Не будет! Она со мной в школу пойдет.

Выражение крайнего испуга появилось на озабоченном лице дяди Изи.

— Это очень опасно. Ученые никогда не берут кукол на учебу. Там есть экзогенные факторы. Надя может заболеть и умереть.

- Да? — недоверчиво спросила Вера. — А почему в детском саду нет генных ракторов?
- Экзогенные факторы свойственны только научно-образовательным учреждениям.
- Ох! — огорчилась Вера. — Получается, что кукле в школу нельзя.
- Взять-то можно, но ученые этого не делают, чтобы куклы не болели.
- А ты тоже своих кукол в школу не брал?
- Ни-ко-гда! — торжественно объявил дядя Изя. — Я своих кукол жалел.

Против таких аргументов у Веры возражений не нашлось, и Надя коротала школьные дни на подоконнике, дожидаясь хозяйку.

* * *

В конце восьмидесятых умерла бабушка Фира. Через год дядя Изя остался преподавать в Беркли эволюционную микробиологию, чем очень огорчил сотрудников первого отдела папиного НИИ. Те срочно вызвали папу на ковер и пообещали безжалостное увольнение в самом скором времени. К счастью, осуществить угрозу им не удалось: Советский Союз развалился. За ним последовал папин НИИ вместе с первым отделом и всеми секретностями и тайностями, запрещавшими идеологически нестойким научным работникам покидать державные пределы.

Дядя Изя развил бурную деятельность и за месяц нашел папе трех работодателей: Oracle, IBM и Microsoft. Нашел бы больше, учитывая, что в Кремниевой долине несколько известных синагог, и в каждую дядя Изя был вхож еще с симпозиумных времен, а после переезда стал очень-очень welcome. Однако трех вакансий показалось ему достаточно — расчетники со степенью и знанием Фортрана всегда в цене.

Мама, объяснив безынициативному папе, что нечего ждать, когда нечего жрать, отвела супруга в американское консульство, где папе, оказывается, уже выписали визы — агентство дяди Изи выходило далеко за пределы научно-технической среды. Семья начала собираться.

Никто, разумеется, не сомневался, что Надя тоже отправится в эмиграцию, но встал вопрос о гардеробе. Вера намеревалась взять весь, однако мама оказалась непреклонной:

¹ Ну и что, в чем проблема, большое дело (идиш, ироническое).

- У нас нет денег на лишний чемодан.
- Но, мама, в мой уже ничего не помещается.
- Возьми два платья, пару трусиков и пижаму.
- А носки?
- Хорошо, носки.
- А сапожки?
- Места нет! — рассердилась мама. — Хочешь взять Надин гардероб, оставляй свой.

Такой расклад Вере не понравился, однако чрезмерные требования к родителям с недавних пор могли повлечь окрик. Поэтому Вера решила вопрос ме-то-до-ло-гичес-ки. Сообразив, что в аэропорту с ней никто не будет препираться, она надела на куклу такое количество трусиков, маечек, пижамок и платьев, что та одна занимала взрос-лый стул. Даже сапожки умудрилась натянуть на четыре слоя носков.

Расчет оправдался. Вера стойчески пронесла распухшую Надю через все Пулково до таможни. Толстая тетя в мундире, никогда прежде не поднимавшая кукол весом с годовалого младенца, спросила, не перегреется ли Надя, но племянницу дяди Изи сей неуместный вопрос нисколько не смутил: «Станет жарко — раздену». Тетя улыбну-лась, вернула куклу хозяйке, и Вера, обхватив тяжелую Надю, шагнула из таможенно-го коридора в огромное неизвестное будущее, скрытое от обеих медленным январским снегопадом, который сыпал на взлетную полосу снежинки величиной с ладонь. Так уж повелось — когда прощается Петербург с любимыми, то летом льет дожди, а зимой за-валивает дороги сугробами в тщетной надежде, что кто-нибудь да одумается.

* * *

Дядя Изя снял квартиру в Сан-Матео, рядом с хорошей школой. Во-первых, до шко-лы два шага, во-вторых, рядом русский магазин, где есть маца и пельмени приемле-го качества, наконец, до работы папа может доехать на автобусе. Сам дядя Изя разъ-езжал на юркой «хонде», за руль которой сразу посадил неавтомобилистскую маму:

- В Америке, сестричка, машину водят все, от детей до паралитиков.
- Да? И к какой категории ты отнес меня?
- Ты — эмигрантша!

Мама мрачно кивнула:

- Ладно, давай ключи. С волками жить — по-волчьи выть.
- Вот именно! — воскликнул дядя Изя. — Заводи!

И началось великое эмигрантское родео. Пол-Америки требует каких-то чеков, которые, оказывается, даются в банках, где надо открыть счет... счет? Да, счет! И на-полнить его наличными, иначе не выписать и не послать вовремя чеки, которые пол-Америки положат уже на свой счет, организовав таким образом круговорот доллара в природе. Телефонный звонок превращается в пытку, поскольку не понимаешь англий-ский на слух, отвечаешь, запинаясь, а уж косноязычного китайсу на другом конце ли-нии и вовсе невозможно разобрать, что весьма чревато. Ведь он, китайса, — персона важная: сидит в федеральном офисе и диктует список документов и дату их подачи. Каждая хреновенькая мелочь вдруг обнаруживает тьму опасностей: вместо тормоза жмешь на газ, вместо шампуня покупаешь крем для выведения волос, а городское управление, броско именуемое city hall, по факту оказывается объектом паломниче-ства местных наркош, и посещать его без бронезилета не рекомендуется.

Но как ни сложна жизнь эмигранта, мама, будучи еврейской мамой, обладала могу-чим мужским характером: досадные житейские неприятности были для нее таким же препятствием, как трещины на асфальте для БелАЗа. In no time она экспроприирова-

ла «хонду» дяди Изи, открыла счет in the bank, научилась выписывать checks, встрясла из federal правительства все необходимые корочки, встала на все доступные дотационные programs, устроилась волонтером в Джуйку², а в местной синагоге стала даже больше welcome, чем дядя Изя.

Вполне прилично одетый папа вовремя паковался в автобус и отправлялся на работу. Изящно одетая Вера паковалась в машину и доставлялась в школу. Сбив подопечных, мама, подобно горьковскому Буревестнику, отдавалась наслаждению бури и натиска, начисто забывая о Наде. Хотя, по справедливости, у Нади была своя мама, к сожалению, не самая радивая.

Нет-нет! Первый год Вера заботилась о Наде: водила гулять, одевала пижамки, укладывала спать и порой делилась школьными новостями, но... год прошел. Из разряда подруг постаревшая кукла перешла сначала в разряд вещей, затем в разряд вещей, немножко забытых, а потом забытых совсем.

Неопределенные артикли ожидаемо оказались в приоритете и вместе с инговыми формами, отглагольными суффиксами и прочими past perfect так прочно обосновались в подкорке, что Вера тараторила по-английски не хуже аборигенов. Появились подружки, бассейны, драматический кружок, классы Торы и много иных интересных, конкурировать с которыми Надя не могла. Но главное, в Вере рано проснулась страсть — не мимолетное юношеское увлечение, а любовь всей жизни — биология. Да разве есть на свете что-нибудь более захватывающее, чем анатомия жука-бомбардира, деление одноклеточной амебы или нуклеоид ДНК, куда карандашик Бога вписал всю историю творения, от анаэробных бактерий до самой Веры. Все это до такой степени увлекало, что забывались мушкетеры, подружки из драмкружка и даже уроки Торы делались без всякого прилежания. Что говорить о какой-то кукле.

Так бы подремала на книжном шкафу заброшенная Надя и непременно потерялась бы при очередном переезде, если бы не единственный, зато самый верный ее поклонник дядя Изя, регулярно заходивший покушать фаршированной рыбы и побеседовать — о семейных делах с мамой, о биржевых котировках с папой, а с племянницей за жизнь.

Он непременно требовал куклу, брал ее на руки проверить, чисто ли звучит «мама». Затем, посадив Надю на колени, грузил Веру невероятными чудесами и неразрешимыми загадками.

— Жизнь, — говорил он, — это очень много и сразу везде. Возьмем, к примеру, корову. У коровы четырехкамерный желудок, первые две — рубец и сетка, в каждом своя уникальная микрофауна, разлагающая жвачную массу. Бактерии вне коровы не живут, как и корова без бактерий. Имеем в наличии биологический симбиоз, но как же все это хозяйство эволюционировало? Бактерии мутируют — корова сдохнет. Корова мутирует — бактерии сдохнут. Как синхронизируется ко-развитие симбиотических организмов?

Или говорил так:

— Жизнь — штука опасная: слишком бурное развитие приводит к вымиранию. Три миллиарда лет назад биосфера состояла из анаэробных бактерий — кислород им не нужен. Но вот цианобактерии перешли на кислородный фотосинтез. Очень успешный вид. Они размножаются, формируют строматолиты, колонизируют побережье и при этом выделяют, выделяют, выделяют кислород. Наконец насыщают атмосферу кислородом и погибают. Задыхаются в собственных отходах, так сказать. Почему анаэробная эволюция за два с половиной миллиарда лет дальше одноклеточных не ушла, а кислородная за один создала многоклеточные?

² Джуйка (жаргон) — Jewish Community Center, Центр еврейской общины.

А еще говорил так:

— Жизнь всегда выигрывает. После пермского вымирания в океане исчезло девяносто пять процентов видов, на суше — семьдесят. Даже существенная часть микрофауны погибла. Земля вымерла. Эволюции потребовалось десять миллионов лет на восстановление видового разнообразия. А знаешь, что такое десять миллионов лет?

Верочка отрицательно мотала головой.

— А вот смотри. Возраст жизни — четыре миллиарда лет. Допустим, это один день творения. Один миллион лет — это двадцать две секунды. Десять миллионов — три с половиной минуты. Представляешь, с какой скоростью возрождается жизнь! Род Ното появился десять секунд назад, кроманьонцы — две секунды, а современное неолитическое человечество — две десятых секунды. Ты моргаешь медленнее.

От таких речей пораженная Надя удивленно хлопала глазами, а у Веры во взгляде загорался хищный огонь естествоиспытателя, чего дядя Изя и добивался. После каждой беседы он торжественно возвращал куклу племяннице, открывал потрепанный портфель и извлекал на свет научные тома, журналы и ксерокопии, которые затем переносились в комнату для немедленного употребления.

Разговоры взрослеющей Веры и стареющего дяди Изи становились все мудренее, вопросы — изощреннее. Бедная Надя давно уже не понимала, о чем речь, и произносила «мама» только невпопад, но дядю Иziu это не смущало. Он требовал, чтобы кукла была нарядно одета, чисто умыта, вкусно накормлена, в общем, у-хо-же-на, чем вызывал у племянницы удивление, постепенно перешедшее в раздражение. И когда за семейным обедом он в очередной раз предъявил претензии к Надиному внешнему виду, Вера взорвалась:

— Знаешь, дядя Изя, если тебе так нравится Надя, бери ее себе. У меня нет времени нянчиться!

— Ладно, — согласился дядя Изя, — с удовольствием.

— Отлично! — вызывающе ответила Вера.

— Собери мне весь ее гардероб.

— Вешь?! Да где ж я его найду?!

Убедившись, что на вилке нет рыбы, дядя Изя совсем-совсем случайно уронил вилку в тарелку. Тарелка загремела, вилка зазвенела, дядя Изя воскликнул па-те-ти-чес-ки:

— Надин гардероб! Который я собирал с риском для жизни и свободы! Ты все растеряла?!

— Ну не все... Я могу поискать, — оправдывалась Вера. — Но зачем тебе весь гардероб?

Дядя Изя блаженно улыбнулся:

— Скажи, Верочка, ты трусики каждый день меняешь?

— Естественно, — покраснела племянница.

— И чистую пижамку каждый вечер надеваешь?

— Да.

— Молодец! И я, представь себе, поступаю так же. А почему Надя должна одним платьем довольствоваться? Это не-ги-ги-е-ни-ч-но.

Сконфуженная Вера не знала, что ответить.

— Иди, милая, собери нам гардероб.

Вера встала из-за стола и понуро отправилась в свою комнату.

— Изя, зачем тебе старая кукла? — спросила мама, когда дочка скрылась за дверью.

— Она не старая, — он подхватил Надю на руки и поцеловал. — Она живая память.

* * *

На заре американско-профессорской карьеры Израйль Эльдерман снял однокомнатную квартирку в задрипанных апартаментах с гордым названием «Путь Беркли». Поскольку трапезничал он в студенческих столовых, а дома появлялся глубоко под вечер, его не смущали ни стены в разводах, ни жалобно подвывающий холодильник, ни даже вечно протекающий унитаз. Однако размерчик оказался маловат. Лет через пять дядя Изя обнаружил, что дорога из спальни в сортир завалена книгами полностью, и ничего поделаться с этим невозможно, потому что альтернативные проходы завалены книгами безнадежно. Тогда он снял большую трехкомнатную квартиру в еще более гордых апартаментах «Панорама Беркли» и заплатил за них астрономические по тем временам тысячу долларов в месяц. Но в городе Беркли действовал арендный контроль, и повышать квартплату владельцы «Панорамы» могли только на жалкий процент в год. Через три года тысяча долларов стала платой приемлемой, через пять — низкой, а через десять — смехотворной.

Арендаторы и так и сяк выпихивали ушлого профессора из квартиры, которая стоила уже две с половиной, но не на того напали. Дядя Изя сходил в синагогу, затем в городское управление, наконец, в суд... и дело уладилось милейшим образом: владельцы выразили профессору Эльдерману исключительную признательность за аренду их недвижимости и предложили сделать бесплатный косметический ремонт. От ремонта пришлось отказаться: любые манипуляции с библиотекой выглядели утопически.

Когда появилась Надя, дядя Изя таки разгреб гостиную, чтобы устроить гостью с комфортом — не на кухне же ее держать. Книги с журнального столика перекочевали на холодильник, книги из-под кровати — под диван, освободив таким образом место для новой квартирантки и ее гардероба.

Радужный хозяин показал Наде квартиру, угостил чаем, усадил рядом с семисвечником. Потом до полуночи рылся на полках, щелкал клавишами в кабинете и мычал время от времени «Хава Нагилу», однако, выключая свет, не забыл взять куклу на руки:

— Устраивайся, дорогая. Надеюсь, ты задержишься здесь подольше других моих дам.

— Ма-ма, — с трудом проскрипела кукла.

— Понимаю, — кивнул дядя Изя, — моложе мы не становимся. Но ведь ты меня любишь?

— Ма-ма.

— И никогда не оставишь?

Надя захлопала глазами. Дядя Изя рассмеялся.

* * *

Нельзя сказать, что жизнь Нади изобиловала развлечениями. Не очень интересно месяцами изучать обложку справочника по микробиологии или глазеть на журналы «Cell Metabolism», тем более что разговорный английский давно забыт, а с техническим всегда были проблемы. Но дядя Изя — кавалер обходительнейший — делился новостями, изредка брал с собой в гости к Вере, а когда говорил по телефону, обязательно включал громкую связь, чтобы кукла находилась в курсе.

Надя узнала, что Вера научилась водить машину и у нее появился мальчик, точнее, несколько. Командовала она ими, со слов мамы, сурово, но справедливо. Мальчики, на мамин вкус, не самые плохие, однако хороших еврейских мальчиков не то

чтобы совсем нет, а... скажем так, уточняла мама, те, которые в наличии, недостаточно еврейские.

Безынициативный папа тихой сапой дорос до начальника отдела и стал получать очень-очень good money, отчего Верочка могла выбирать университет по вкусу. Обсуждался Гарвард, сошлись на Стэнфорде — уровень тот же, но со стэнфордским деканом дядя Изя издал две книги, а с гарвардским ни одной. И переезжать в не-ги-ги-е-нично-е общежитие не нужно, а платить за него тем более.

Стэнфорд так Стэнфорд! За пять лет Вера выросла до магистра, и дядя Изя предложил докторантуру в Беркли. Хотя нашлись коварные университеты, попытавшиеся заманить талантливого аспиранта к себе на кампус, но конкуренцию с Беркли они с треском проиграли. Не все, видимо, знали печальную историю собственников «Панорамы». Такое случается, увы, нередко — недостаток информации заставляет даже очень умных людей принимать весьма неразумные решения.

Профессор Эльдерман сходил в синагогу, затем в ректорат, наконец... нет, не в «Панораму». «Панорама» для Верочки великовата. Он посетил апартаменты «Взлет Беркли», поговорил с владельцем, который, в отличие от американских университетов, о дяде Изе был хорошо осведомлен, и быстро решил проблему с жилплощадью.

Затем дядя-искуситель сделал племяннице неотразимое предложение: своя квартира в двух кварталах от университета, интереснейший проект — финансирование на пять лет, четырехгодичная (хорошие ученые укладываются в три) докторантура с неплохой оплатой и очень-очень good перспективы остаться в Беркли научным сотрудником, а нет, так Clario с руками оторвет. Но главное... он выдержал паузу. Ни в одном университете Северной Америки нет таких умных, образованных, обходительных и приятных на вид неженатых молодых профессоров, как в Беркли.

— А есть ли среди них еврейские неженатые профессора? — поинтересовалась мама.

— Как грязи!

— Сильный аргумент, — улыбнулась Вера. — Умеешь ты, дядя Изя, уговаривать.

— Вот именно! — воскликнул дядя Изя. — Собирай, милая, гардероб.

И благоразумная Верочка вскорости появилась в берлоге дяди Изи с тремя чемоданами, рюкзаком, горными лыжами и лэптопом.

Как же восхитилась Надя, увидев хозяйку через столько лет. О, эти тяжелые медные волосы до пояса, своевольные и сильные, как струи водопада Саар после таяния снега. Этот взгляд без дна, темнее, чем черный оникс Иосифа, исполненный нежностью ханаанской ночи и огнем Синая, прохладой Иордана и жаром пустыни Негев, одновременно мудрый и наивный, вобравший в себя и кротость Ревекки, и обольстительность Далилы. Белые руки, длинные пальцы, от чьих прикосновений остаются на лице возлюбленного мед и молоко. Плотная грудь, тугое тело, крепкое, как олива, и гибкое, как лоза, назначенное Богом носить пророков и царей.

Элоким, ты вложил в Адама Свой образ, но Хаву создал отражением вечно изменчивого, текучего, непостоянного земного великолепия, и потому нет в мире ничего более влекущего, чем прекрасная еврейка.

Так думала Надя, так думал дядя Изя, а вскоре так начал думать и весь преподавательский состав университета Беркли, включая профессоров, докторов, аспирантов, вплоть до бакалавров. Интерес к биологии в научной среде Беркли внезапно утроился — столько молодых ученых, преимущественно мужского пола, сочли необходимым регулярно посещать институт молекулярных исследований, где работала Верочка. А ведь были еще юристы, лингвисты, философы, музыканты и прочие гуманитарии, почувствовавшие неодолимую тягу к естествознанию.

Вера с головой ушла в науку и относилась к повальному увлечению биологией среди обитателей Беркли скорее прохладно, хотя пользовалась... пользовалась. Ни на Надю, ни на дядю Изю, ни даже на звонок домой времени не оставалось. Поэтому мама собирала агентурные данные по телефону.

- Я слышала, Верочка ведет светскую жизнь, — начинала она издалека.
- Да уж, — мычал дядя Изя, озадаченный чрезмерной популярностью племянницы.
- Есть ли в наличии хорошие еврейские профессора?
- Есть-то они есть, да вот конкуренция высокая.
- Изя, — укоризненно говорила мама, — зачем ты торчишь в своем Беркли?

Действуй!

- Действуй как?
- Ну... Влияй на нее, контролируй процесс.
- Знаешь, сестричка, поконтролируй-ка ты приливы в Тихом океане, а потом объясни как.

На другом конце трубки тревожно задумывались, потом тоскливо восклицали:

- Вечный кадохес³ с вами!
- Почему кадохес? Это жизнь. Хотя в Беркли она.... хммм, своеобразная: тут и однополое пары не редкость.
- Изя, прекрати паясничать! — кричала мама.
- Еще не начинал. Будем надеяться, что мозгов хватит, а уж еврейский профессор случится или, там, корейский, гарантий нет.

Маму эти разговоры ввергали в бездну уныния, посему она не звонила брату долгих два дня. Потом цикл повторился.

* * *

Впрочем, на втором году аспирантуры все уладилось самым банальным образом — жизнь порешала, как любил поучать студентов профессор Эльдерман. Верочка серьезно увлеклась и залетела. Поначалу она не придавала значения задержке месячных — задержка и задержка, есть иные приоритеты. Однако, сделав через две недели тест на беременность, сильно озадачилась: докторантура откладывается, быстрая карьера под вопросом, отец ребенка не еврей.

Будучи прогрессивной женщиной из Беркли, Вера подумала, а не сделать ли аборт и закрыть тем самым все проблемы. Обговаривать что-либо с мамой бессмысленно, но дядя Изя, этот либеральный, всегда все знающий и разруливающий профессор Эльдерман, хотя бы выслушает. Поэтому утром племянница сообщила дяде, что появится вечером обсудить важности. Тот, в шоке от услышанного, отменил дела и помчался в квартиру наводить марафет.

— Надя! — закричал он с порога. — Сегодня Вера придет в гости! Нам нужно переодеть трусики.

Затем они полдня чистили квартиру, мыли посуду, раскладывали суши на журнальном столике, наконец, облачили Надю в роскошное платье и стали ждать.

Вот она явилась — небожительница, сошедшая к смертным. Отведала суши, отметила, как необычно уютно нынче в дядином бардаке, и перешла к делу.

— Я беременна.

Надя от неожиданности скрипнула «ма», а дядя Изя, явно озадаченный, о чем-то долго размышлял.

³ Головняк, проблема, болезнь (идиш, жаргон).

- Срок беременности?
- Шестая неделя, мне кажется.
- Дядя Изя принес из кабинета стетоскоп.
- Ты позволишь?

В некоторой растерянности Вера приспустила брюки, дядя Изя приложил стетоскоп к паху и начал медленно им двигать.

- Слышу, слышу, — прошептал он, сверкая, как елочная игрушка. — Сердце ребенка! Он хотел обнять Верочку. Но та отстранилась.

— Хватит дурачиться. Как будто ты не знаешь, что на таком сроке ничего нельзя услышать. К тому же у меня нет планов сейчас рожать.

Дядя Изя нахмурился:

- То есть ты пришла обсудить аборт?
- Совершенно верно.
- Кто отец, известно?

— Да.

— И как долго вы встречаетесь?

— Год.

— Хммм... срок солидный. Ему не нужна семья?

— Ему нужна.

— Ага, это тебе ни семья, ни ребенок не нужны, так?

— Представь себе! — взорвалась Вера. — Хочется пожить нормально, без дайперсов.

Дядя Изя понимающе кивнул:

— Да, да, конечно. Без дайперсов. А ты сказала ему, что беременна?

— Незачем ему знать!

— То есть ты готова тайком убить ребенка любимого человека?!

Вера вконец рассердилась и перешла на повышенные тона:

— Аборт — не убийство! Эмбрион — не человек!

— Эмбрион! — дядя Изя вскочил, заорав с таким остервенением, что Вера и даже Надя не на шутку испугались. — Эмбрион! Дедушка Боря пришел с войны инвалидом, но они зачали, и бабушка Фира выносила меня в голодном Ленинграде. После блокады, после страшной войны! А дедушкин брат с семьей был расстрелян в Риге. А семью дедушки Лени сожгли в Белоруссии. С малыми детьми сожгли! Дура гребаная! Нас в пять раз больше было бы, если бы не война. Поэтому рожали все, знали, что должна взойти поросль и покрыть раны. Знали, что ребенок — плод нашей победы. А тебе дайперсы мешают. С...!

Дядя Изя орал на племянницу еще пару минут, наконец, обессилив, опустился на диван:

— Принеси воды.

Вера отправилась на кухню, с ужасом понимая, что совершила стратегическую ошибку. Если демократичный дядя Изя так среагировал... Аборт следовало делать втайне от всех.

Дядя Изя хлебнул водички, успокоился:

- Ты можешь сказать, кто отец?
- Валера Гусев с кафедры биофизики.
- Прекрасный выбор.
- Ты его знаешь?

Разумеется, дядя Изя знал всех доцентов Беркли, имеющих какое-то отношение к биологии. Общась с Гусевым, он не мог избавиться от ощущения, что имеет дело с калифорнийским дубом: такой же коренастый, плотный, угловатый, даже лицо, ка-

залось, вырубил из дерева да забыли ошкурить. Но! Явно не подлец и, по всем признакам, однолюб. О чем дядя Изя сообщил племяннице.

- Так что мне делать? — спросила Вера.
- Замуж выходить. Или он против?
- Да нет, он-то как раз за.
- Значит, играем свадьбу.
- Но он — не еврей.
- А вот это, милая, — улыбнулся дядя Изя, — самая маленькая из наших проблем.

* * *

Сказать-то дядя Изя сказал, но как конкретно осуществить трансформацию Валеры в нечто еврееподобное? Разгневанная мама представляла серьезную опасность. Свадьбу она, конечно, не расстроит, поскольку имелся запасной козырь, но ходить с него не хотелось. Поэтому дядя Изя решил действовать ме-то-до-ло-ги-чес-ки и начал звонить сестре, предлагая те или иные кандидатуры разной степени несоответствия маминному идеалу подходящего зятя.

— Амит Патель, доктор наук из Гуджарата. Блестящий ученый, прекрасная семья, весьма обеспеченная. Верующие кришнаиты. Верочку обожает.

— Изя, перестань! — кричала мама. — Какие кришнаиты, какой Гуджарат?!

— Гуджарат — индийский штат, граничит с Пакистаном. Большая семья, отец известный бизнесмен.

— Гуджарат нам не подходит!

— Хорошо. Как насчет Брендона Ли? Изумительная семья потомственных ученых из Южного Китая. Разговорный мандарин, знает девятьсот иероглифов. Буддист, доцент в двадцать семь лет. Верочку просто боготворит.

На третьем кандидате мама, как правило, ломалась и переводила разговор на другую тему, но уже на следующий день безжалостный брат возобновлял попытку индокитайскими женихами.

Таким образом мама постепенно достигала точки кипения. Верочка же, проинформировав Гусева о наличии ребенка и скорой свадьбе, представила его дяде Изе. После чего последний перешел ко второй части плана.

— Дорогой Валера, вы мне очень симпатичны. Я никаких препятствий к браку не вижу, но для моей сестры национальность — это существенный критерий... э-э-э... естественного отбора потенциальных женихов. Возможно, Вера говорила о такой проблеме.

Гусев кивнул.

— Да, рассказывала. Не представляю, как это решить.

— Вы должны стать немножечко евреем.

— Как?

— Расскажите о себе.

— Родился в Оренбурге, мать учительница из деревенской семьи. Отец из детдома. Попал туда трехлетним во время войны. Фамилии своей не помнил, поэтому стал Гусевым. Тогда случайным образом фамилии раздавали.

— Сочувствую. Вот я родственников своих помню, но как они погибли... Лучше бы мне не знать.

Старик замолчал, Гусев не прерывал.

— Однако вернемся к нашим баранам. Найдите еврейские корни, необязательно предъявлять выписку из загса. Упомянем вскользь, никто докапываться не станет. Тем более мальчик из детдома мог быть кем угодно.

- А вы религиозный брак хотите заключить?
- Ну, для ортодоксальной свадьбы вы с Верой уже не подходите, даже если бы вы были раввином. Заключим светский в синагоге.
- Боязно перед Богом лгать-то.
- Во спасение можно.
- И не отнимет Бог благословения за обман? Он вроде всеведущ.
- Так Он уже вас благословил сверх меры, — удивился дядя Изя. — Вам мало Веры и ребенка?
- Нет, конечно. Кто бы Он ни был, я ему благодарен.
- Прекрасно, тогда добудьте себе еврейских предков, и закроем вопрос. Вам сколько времени понадобится?
- Ну... Недельку.
- Недельки у нас нет. Постарайтесь уложиться в три дня.

Гусев все понял и отправился искать еврейские корни. Что для хорошего ученого, конечно, не проблема: столько сирот раскидала война по детдомам, что любую выбирай родословную — русскую, украинскую, еврейскую, не ошибешься. Поэтому когда через три дня Валера принес толстую папку с еврейскими корнями, дядя Изя, листая вещественные доказательства, светлел с каждой страницей.

- И откуда появился сей знаменитый хасид Гус-Ев из Белой Церкви?
- Придумал.
- Здорово! — восхитился дядя Изя. — А вы уверены, что вы не еврей?
- Уже нет.

* * *

Настал великий день смотрин. Тщательно проинструктированного Гусева привезли в Сан-Матео, представили маме и папе, усадили за стол, украшенный фаршированной рыбой и вечным, как еврейское рассеяние, форшмаком, попросили рассказать о себе, семье, научных амбициях и, разумеется, о трепетном отношении к Верочке. Валера на все вопросы ответил удовлетворительно, и у мамы принципиальных возражений против зятя не возникло, особенно учитывая азиатские альтернативы. Однако у дяди Изи был такой заговорщический вид, что волей-неволей заподозришь неладное. Под конец семейного обеда мама неожиданно помрачнела, затем папа, извинившись, удалился на телефонное совещание, разговор потерял непринужденную струйность, и всем стало как-то неловко. Ситуацию спас Гусев.

- Любовь Борисовна, вы эту капусту шинковать собирались? — спросил он, укаывая на унылые кочаны, мрачным укором синеющие на кухонной столешнице.
- Э-э-э... Папа наш собирался, да вот уж который месяц собирается.
- Так давайте я пошинкую.
- А ты умеешь?
- Профессионально! На работе только этим и занимаюсь.
- А что? — воскликнула мама. — Давай пошинкуем! Почему нет?

Она выдала Гусеву фартук, надела другой и, вооружив себя и будущего зятя большими ножами, хотела приступить к спасению капусты, но Валера попросил точильный камень.

- Да где ж я его возьму? — удивилась мама. — Нет у нас точильного камня.
- Любовь Борисовна, простите меня за, возможно, бестактное предложение... может, съездим и купим? Тем более лампочки кое-где перегорели, в туалете выключатель барахлит... Я вам сразу все почию.

— И ты все это сможешь сделать? — поразились мама.

— Попробую.

— Давай!

Мама, сраженная наповал неожиданными талантами Гусева, провела того по дому. Мертвые лампочки, темные зловещие туалеты, годами неменяемые фильтры и горестно стонущие двери были выявлены, учтены, а необходимые починительные покупки внесены в реестр. Затем мама с Валерой совершили вылазку в хозяйственный магазин, вернувшись с двумя огромными пакетами, содержимое которых было немедленно использовано.

Через несколько часов дом засверкал новыми лампочками, мрачные сортиры вдруг превратились в комфортабельные уборные, двери перестали скрипеть, а Гусев с мамой резали капусту идеально заточенными ножами, оживленно обсуждая традиционные методы квашения... с точки зрения современной науки, естественно.

Дядя Изя и Верочка мудро не мешали Гусеву очаровывать будущую тещу, но к исходу пятого часа Вера, почувствовав сильную усталость, попросилась домой.

— Эх! — посетовал Гусев. — Не успели все заквасить.

— Спасибо тебе, Валера, — успокоила мама, — такими ножами даже папа дошинкует. А дом — прям дворец!

Дядя Изя, видя благосклонность мамы к будущему зятю, решил тем же вечером обрадовать ее грядущим прибавлением в семействе.

— Беременна, говоришь, — задумчиво произнесла мама, — отлично! Теперь не сорвется... В сортир без страха наконец зайти можно. Во каком мужик должен быть! Учиться, интеллигенты рукожопые.

* * *

На празднике Надя не присутствовала, лишь узнала из слов дяди Изи, что в силу Вериного интересного положения свадьбу сыграли в тесном кругу, пригласив самых близких родственников. Из синагоги отправились напрямиком в «Chez Panisse» — самый фешенебельный ресторан Беркли, где папа, доросший до начальника направления, снял верхний этаж. Молодых поздравили, гостей накормили, на том и разошлись.

А вот о рождении внучки Фирочки в Беркли до сих пор выдумывают небылицы, поэтому остановимся на этом событии особо.

Итак, у Верочки отошли воды, и Гусев, известив дядю Иziu, повез жену в госпиталь.

Дядя Изя, освободившись позже обычного, прибыл в больницу лишь под вечер. Подошел к регистрационному окошку.

— Имя, фамилия? — спросила суровая женщина за стеклом.

— Израил Эльдерман.

— На что жалуетесь?

— Э-э-э... У меня здесь племянница рождает, Вера Гусева. Как мне ее найти?

Суровая женщина грозно нахмурилась.

— Так бы и сказали. Подождите.

Она исчезла в глубинах регистратуры. Вернувшись, снисходительно указала дяде Изе на стул: подождите, мол, вам сообщат, когда можно подняться.

Дядя Изя подчинился, сел. Однако просидеть долго не смог: что-то подбрасывало его на стуле. Через пять минут он встал и начал ходить взад и вперед по коридору, подпрыгивая и тихонько напевая «Хаву Нагилу». Хранительнице окошка такое поведение не понравилось. Она вышла наружу, сделала дядя Изе очень-очень серьезное

замечание и потребовала, чтобы тот вел себя прилично. Он извинился, подчинился, сел... но уже скоро танцевал опять.

Тогда регистратурная мадам вызвала дежурного врача, принадлежавшего, как оказалось, к старейшей в Беркли синагоге Beth Israel и прекрасно знавшего не только дядю Изю, но и как танцевать «Хаву Нагилу». И вот уже два еврея, взявшись за руки, пели и прыгали по приемному покою. Тогда был вызван заведующий сменой, который был очевидным индусом, следовательно, не евреем.

Этот оказался выпускником Беркли и сразу узнал профессора Эльдермана, а когда выяснилось, в чем, собственно, дело, потребовал, чтобы его немедленно научили правильно дрыгать ногами и петь «Хаву Нагилу». Через пару минут вдоль коридора плясали два еврея и один добавочный индус-не-еврей.

Пришлось вызывать главврача. О его национальности данных не сохранилось, однако он преподавал курс по инфекционным заболеваниям в университете Беркли и находился с дядей Изей в очень-очень приятельских отношениях, поэтому тут же подключился к танцевальной церемонии. Затем в круг влились рентгенолог, два интерна и дежурный хирург.

В регистратуре наконец догадались, что сей Эльдерман болен, заразен, для медицинский персонала чрезвычайно опасен, и начали действовать. Суровую мадам заменили на миловидную девицу, которую выслали за стекло нейтрализовывать дядю Изю.

— Мистер Эльдерман, — закричала она сквозь шум, замахав руками, — поднимитесь, пожалуйста, в родильное отделение!

Шествие остановилось. Все с удивлением посмотрели на девушку, столь кощунственно прервавшую важное священнодействие.

— А где оно находится? — спросил дядя Изя после долгой паузы.

— Позвольте, я вас провожу, — предложил главврач, взяв дядю Изю под руку. — Но обещайте мне, дорогой профессор Эльдерман, что когда у вас появится следующее прибавление в семье, вы дадите мне знать заранее, чтобы я мог оповестить весь персонал. А то прямо неловко — госпиталь большой, а всего шесть врачей нашлось с вами станцевать. Мы должны это исправить.

...Если подумает любезнейший читатель, что автор сию историю выдумал на голубом глазу, то смею уверить: там, где городской совет два дня горячо обсуждал, позволено ли жителям Беркли иметь при себе ядерное оружие, случались и не такие чудеса.

* * *

Поначалу Надя с Фирочкой не были знакомы, но как только девочка начала ползать, а уж тем более ходить, началась для куклы новая жизнь.

Какое наслаждение почувствовать прикосновение цепких детских ручонков. Пусть треплют за остатки волос и с улюлюканьем таскают из кухни в прихожую. Пусть заставляют читать журналы «Cell Metabolism», суют грязную ложку в рот и обливают бульоном последнее приличное платье. Пусть бросают в злого деда Изю, когда тот пытается уложить Фирочку спать. Готова была Надя и вдесятеро того перетерпеть, лишь бы обнимал во сне жадный до нее младенец. Ведь жизнь куклы начинается и кончается там, где она нужна и любима.

Обычно внучку приводила измотанная Вера. Неудивительно — Фирочка получилась непростым ребенком. Она бегала, кричала, ломала мебель, хватала журналы «Cell Metabolism» с явным намерением порвать, по меньшей мере, годовую подписку и походила скорее на вулкан с ножками, а не на классическую еврейскую девочку из хорошей семьи.

Дядя Изя обожал внучку, но и он через час изнурительных боев чувствовал себя как гладиатор, прошедший день на арене Колизея. Поэтому он вручал Фирочке Надю и либо отвозил обеих на детскую площадку, либо паковал в коляску и шел в университет Беркли гулять по скверам, лазить по ступеням амфитеатра, валяться на газоне, закусывать в кафе и поражаться диковинным предметам, брошенным нерадивыми студентами у дверей разных хитрых лабораторий.

В университете Фирочка представляла гораздо меньшую опасность для окружающих, если, конечно, вдруг не решала добежать до инженерного корпуса на другом конце кампуса. Тогда дяде Изе приходилось напрягать все силы, чтобы сначала догнать петляющую, а потом удержать вырывающуюся из рук шаровую молнию. Такие упражнения, безусловно, держали его в тонусе, но после нескольких часов, проведенных вместе с Фирочкой, он всегда искренне приветствовал появление Гусева.

Тому нравилось посещать берлогу дяди Изи не меньше дочери, но по совсем другим причинам. Поначалу Валере казалось, что дело в библиотеке и лишь интерес к научной периодике задерживает его и Фирочку у дяди Изи на несанкционированный час. Оказалось, не в книгах дело. Дотошный Гусев хотел проникнуть в исследовательский метод дяди Изи.

Есть ученые-копатели — эти роют, роют все подряд и чего-то находят. Есть ученые-интуицы — тоже роют, но в нужном направлении, следуя своему копательному нюху. Наконец, есть ученые-паразиты, которые не умеют ничего, кроме как мастерски присасываться к грантам. Однако дядя Изя не принадлежал ни к одной из этих категорий.

Не было ни в Беркли, ни в Стэнфорде, ни тем более в Гарварде столь неамбициозного профессора, готового радоваться как мельчайшей амебе, так и огромному киту, поражаться двоякодышащей рыбе и новому гену, удивляться метаболизму анаэробной бактерии и симбиозу микробов в коровьих желудках. Словно древний Ной вобрал в себя каждой твари по паре, словно маленький мальчик вечно восторгался чудесным сказкам биологии.

Безграничная жизнь, которой дядя Изя так беззаветно служил, открывала ему — сладкому любовнику — все свои секреты. Существовала доступная лишь им двоим ипостась, где обнаженная жизнь делилась с дядей Изей сокровеннейшими тайнами. Поэтому тот никогда ничего не рыл, но всегда все знал. Как пророк, открывающий глас биологического божества простым смертным.

На него сыпались гранты, к нему стекалась молодежь. Возможность работать с дядей Изей котирировалась на уровне выигрыша в калифорнийскую лотерею. Но будучи пророком, сам дядя Изя от своих прозрений имел мало пользы, скорее, наоборот. Несмотря на книги, статьи и огромный научный вес, вместо заслуженного нахеса⁴ получал непредвиденный тухес⁵ от своих гораздо менее биологофильных, но куда более пронырливых коллег. Придирки, сплетни, клеветы и обвинения постоянно прилетали в адрес профессора Эльдермана из, казалось бы, совсем неангажированных и высокоинтеллектуальных организаций: Гарварда, Стэнфорда и... чего греха таить, Беркли тоже.

Гусев наконец догадался, что имеет дело с любовником науки, а никаким не ученым (или, наоборот, с величайшим ученым). После чего перестал выискивать каббалистические формулы в мистической прозорливости дяди Изи. Биология — дама капризная, кого выбрала, того выбрала. Тем более у самого Гусева претензий к такому решению не возникало — безобидный, беззлобный, немного блаженный дядя Изя

⁴ Счастье (идиш).

⁵ Задница (идиш).

в качестве оракула Познания несоизмеримо лучше, чем какой-нибудь администратор, загребающий под свой кал-ли-пи-ги-чес-кий posterior все, до чего дотягиваются хватательные exteriors.

В этом смысле, думал Гусев, всем — студентам, сотрудникам и даже микробам университета Беркли — чрезвычайно повезло, что избранником биологии оказался этакий альтруистичный жизнелюб.

* * *

Со временем Фирочка узнала, что Надю можно не только таскать за волосы и бросать в деду Изу, но также одевать, кормить, укладывать спать и проделывать множество иных вещей, которые правильные мамы делают с правильными дочками. Ах, как радовалась Надя, когда Вера купила дочке коляску, в которой та возила куклу на площадку и даже к папе на работу. Делала ей пирожки из песка, учила читать книжку про куру Рябу и играла с ней в трех поросят. Не всякой кукле выпадает такая великая удача — любить и быть любимой дважды за четверть века.

Огорчало плачевное состояние обветшавшего с годами гардероба. Однако Надя надеялась, что дядя Иза это заметит и купит ей новый, чтобы и Фирочка привыкала к правилам ги-ги-е-ны. Дядя Иза заметил очень скоро: две маечки порвались у него в руках, а пижамка расползлась прямо на Наде. Он тут же назначил день, когда они втроем отправятся в магазин за новыми трусиками, маечками, пижамками и платьями.

Но Фирочка неожиданно заболела.

День перенесли, однако Фирочка заболела опять. Когда девочка наконец появилась в квартире дяди Изи, Надя тут же почувствовала неладное. Совсем не такие вялые пальцы были у прежней Фирочки, а цепкие, сильные, жадные, и совсем не так тихо улыбалась прежняя Фирочка, а гоготала во все горло и скакала на диване! И если, не дай бог, дядя Иза что-то запрещал прежней Фирочке, то получал в ответ извержение, землетрясение и цунами, а этот ребенок только хныкал.

Надя хотела рассказать о своих подозрениях дяде Изе, но у нее уже почти пропал голос, поэтому дядя Иза услышал только тихий треск. Однако он и сам с большой тревогой наблюдал за Фирочкой, а когда у той три дня подряд шла кровь из носа, убедил Веру срочно везти дочку к педиатру.

Что именно случилось, Надя не знала, но по озабоченному лицу дяди Изи и незнакомому, но почему-то страшному слову лейкоз догадалась, что Фирочка заболела серьезно и увидятся они не скоро. Надя внимательно слушала разговоры дяди Изи, помнящего о необходимости ставить телефон на громкую связь, а в промежутках занималась привычным изучением заглавия журнала «Cell Metabolism».

Однажды дядя Иза вернулся домой в десять утра, чем очень удивил Надю. Так рано он никогда не возвращался. Тщательно обтерев куклу спиртовой салфеткой и переодев, он объяснил, в чем дело.

— Фирочка хочет тебя видеть... Ей очень плохо.

Дядя Иза заплакал:

— Ты должна нам помочь... Ты ведь можешь нам помочь?

«Конечно! Конечно, милый дядя Иза, я могу помочь. И помогу, вот увидишь!» — хотела крикнуть Надя, но смогла воспроизвести лишь невнятный шелест. Поэтому быстро заморгала, чтобы дядя Иза не сомневался.

— Хорошо, — кивнул тот, — поехали.

* * *

Фирочка находилась в отдельной палате, опутанная проводами и датчиками, к маленьким ручкам приклеены внутривенные катетеры, по ним что-то закачивалось. Рядом сидела Вера и читала вслух. Фирочка засыпала, просыпалась и снова засыпала, однако когда Вера откладывала книгу, сквозь сон просила продолжать.

Надев белый халат, дядя Изю зашел в палату.

— Принес? — спросила Вера.

— Да.

Он присел рядом с кроватью.

— Мама, — проснулась Фирочка.

Вера склонилась над дочкой, накрыла ее своими волосами, как покрывалом, поцеловала, взяла за руки. Фирочка коснулась пальцами маминых ладоней.

— Дядя Изю привез Надю, — сказала Вера.

Фирочка чуть приподняла левую руку, исколотую не так сильно, как правая. Улыбнулась. Прошептала: «Дай».

Надя ужаснулась этой улыбке, этому «дай». Словно тянул к ней руку ребенок из иного, стеклянного мира, где на счету каждая улыбка и каждое движение стоит огромных усилий.

Дядя Изю аккуратно положил куклу рядом с Фирочкой, предварительно отодвинув провода. Девочка попыталась подвинуть Надю с себе, та захлопала глазами и даже смогла скрипнуть. Дядя Изю отвернулся.

Однако Вере хватило и улыбки:

— Спасибо, — поблагодарила она, — Фирочка рада.

— Иди поспи, — предложил дядя Изю, — я почитаю.

Шатаясь, Вера вышла из гематологического отделения и, опустившись на узкую жесткую скамью для посетителей, немедленно заснула.

Дядя Изю, подвинув куклу поближе к Фирочке, принялся читать. А Надя, почувствовав прерывистое дыхание, прикосновение холодных, обмотанных белыми трубками рук, прижалась к Фирочке, сколь могла крепко, и отдала все тепло, всю любовь, еще хранившуюся в старом кукольном теле, умирающему ребенку, к которому, как оказалась, она привязалась крепче всех.

Зашел врач. Попросил дядю Изю выйти с ним из палаты.

— Ваша дочь...

— Племянница.

— Извините. Мать ребенка потребовала отключить систему жизнеобеспечения.

— Ничего нельзя сделать?

— Э-э-э... К сожалению, эффективность медицинского вмешательства околонулевая.

— Сколько проживет ребенок после отключения?

— День, от силы два.

— Что конкретно вы хотите от меня? — спросил дядя Изю.

— Для отключения системы жизнеобеспечения нам нужно согласие обоих родителей.

Дядя Изю кивнул:

— Дайте мне несколько часов.

Врач поблагодарил, удалился. Дядя Изю набрал Гусева:

— Валера, приезжайте в госпиталь.

— Фире совсем плохо?

— Я все объясню на месте.

— Еду.

Дядя Изя вернулся в палату. Девочка дремала. Горели датчики, ритмично стучал кислородный насос, штатив для внутривенных инъекций нависал над огромной механической постелью, что-то тикало, шумело, пикало и мерцало, словно жизнь утекала из ребенка в медицинские приборы — стоит их выключить, и у дяди Изи не станет внушки.

Он, изучавший жизнь профессионально, считал смерть лишь частью вечного вращения биоты: организмы рождаются и умирают, освобождая место новым организмам, — это естественно, это нормально. Но смерть Фирочки — это не вращение биоты. Это гибель священного свитка от случайной искры — катастрофа, нелепица, чудовищное нарушение всех законов бытия! Такого не может случиться!

— Надя вырастет, — сквозь сон прошептала Фирочка, — пойдет в школу.

Дядя Изя склонился над ребенком. Та открыла глаза. Узнала.

— Деда, читай.

Дядя Изя открыл книгу.

* * *

Гусев наотрез отказался что-либо подписывать. Он метался по кабинету заведования и орал, что ситуация нетерминальная, лечение надо продолжать — он не позволит убить свою дочь.

Вера попросила врача оставить их одних. Тот ушел. Она обняла мужа.

— Фирочка очень устала, — прошептала на ухо Валере. — Она не может больше жить. Мы должны ее отпустить.

Гусев вырвался.

— Нет! — закричал он, забарабанил кулаками по столу.

Вера знала мужа лучше, чем он сам. Она позволила Гусеву бушевать еще полчаса. Наконец тот выдохся. Тогда снова обняла его.

— Фирочка очень устала, — прошептала она. — Нам нужно ее отпустить.

Гусев безвольно кивнул. Подписал бумаги. Вера положила их на стол. Затем они ушли в палату к дочери. Через час Фирочку отключили от датчиков, сняли трубки, провода, увезли штатив, и в палате стало так тихо, что можно было услышать приближающуюся смерть.

Надю посадили на ординаторскую полку. Скоро о кукле забыли.

— Идите поешьте, — сказала Вера. — Принесите мне чаю.

Гусев и дядя Изя подчинились. Вера, прислонившись к стене, задремала рядом с дочерью.

Надя смотрела с полки на неподвижного ребенка и думала, что нет ничего в мире бесполезнее куклы. Что толку любить, если не можешь защитить... даже обнять, поцеловать не можешь. Даже «мама» уже не сказать. Глупая, нелепая, ненужная, игрушечная жизнь.

Дядя Изя и Валера вернулись с чаем для Веры. Молча сидели рядом с Фирочкой. Гусев задремал на полу. Дядя Изя пошел встречать маму. Папа болел, приехать не смог.

Пришел вечер, затем ночь. Под утро Надя почувствовала, что Фирочка стала чем-то похожа на нее — на любовь, которой невозможно поделиться. Что холодные руки ребенка уже никогда с ней не поиграют, губы не откроются, не крикнут «Надя!» и даже закрытые веки уже никогда не моргнут. Надя разрывалась от желания орать, рыдать,

молотить по полке пластиковыми ладошками, но, увы, все, что смогла — это хлопнуть глазами и скрипнуть «м».

* * *

Утром Фирочку отвезли в морг. Санитар, чистивший палату, обнаружил на полке Надю и бросил ее в большой белый больничный мешок к остальным Фириным вещам.

Врач запротоколировал дату смерти, выписал родителям свидетельство.

— Графство пришлет вам официальную бумагу через две недели, — сказал он, отдавая Гусеву папку с документами и мешок с вещами дочери.

Что случилось дальше, Надя представляла очень смутно, потому что дома у Веры началась истерика, и Гусев, не разбирая, бросил больничный мешок в стенной шкаф в детской, откуда Надя могла слышать только обрывки фраз. А по ним, к сожалению, следить за происходящим сложно. Тем более в детскую старались без нужды не заходить и дверь держали закрытой.

Кукла догадалась, что после похорон Вера сильно заболела и к ним переехала мама ухаживать за дочкой. Гусев перебрался на диван в гостиной и что-то вечно печатал на кухне до полуночи. А где дядя Изи и что с ним, кукла не знала совсем.

* * *

Дядя Изи с трудом ходил в университет, читал лекции на автомате и почти совсем перестал руководить отделом. Иногда он вспоминал о Наде, звонил в госпиталь и просил найти куклу, спрашивал у Гусева, не попадалась ли та ему на глаза, все, увы, тщетно. Через месяц дядя Изи понял, что кукла потерялась безвозвратно.

О себе он не заботился совсем, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы Гусев не заходил проводить старика: принести продукты, убраться, взять вещи в стирку.

А дела шли не лучшим образом — популярность дяди Изи среди аспирантов падала, и чтобы сохранить кафедру, он решил взять саббатикал⁶.

— Кто возглавит отдел в ваше отсутствие? — спросил ректор.

— Валерий Гусев. Прекрасный ученый, хороший организатор.

— А финансирование?

— Мы получили два гранта в общей сумме на десять миллионов — должно хватить на три квартала.

— Хорошо, — согласился ректор, — пусть профессор Гусев напишет годовой план исследований со сметой расходов и предоставит его в ректорат. Вы сможете закончить цикл лекций в этом учебном году?

— Да, одну пару в неделю я осилю.

Затем дядя Изи объяснил Гусеву суть проекта:

— Мы получили два больших гранта — около десяти миллионов. Оба касаются теории абиогенеза⁷: оценка вероятности самогенерации РНК из первичных нуклеотидов и моделирование коацерватной гипотезы возникновения клеточной мембраны. Коль скоро деньги есть, я предлагаю расширить сферу исследований и оценить вероятность возникновения жизни в целом.

— Вы считаете, это возможно?

— В грубом приближении да. Нас ведь интересует порядок оценки, а не ее точность.

⁶ Sabbatical (англ.) — творческий отпуск.

⁷ Возникновение жизни из неживой материи.

— Вы будете участвовать в проекте?

— Руководить будете вы. Я буду присутствовать консультативно. Вы ведь и так каждый день меня навещаете. Заботитесь, как о ребенке малом.

— Как вы советуете действовать?

— Дадим эволюции миллиард лет, сделаем самые смелые допущения, оценим вероятность случайного совпадения жизнеобразующих событий геобиогенеза — от катархея⁸ до протоклетки⁹. Посмотрим на порядок. Деньги и ресурсы есть. Контакты со специалистами я обеспечу. Думаю, получится.

— Хорошо, — кивнул Гусев, — что дальше?

— Приходите завтра. Составим план и смету, подадим документы в ректорат и объявим о реорганизации сотрудникам кафедры.

* * *

Передав таким образом бразды правления зятю, дядя Изя сменил изрядно уставшую маму.

— Отдохни немного, — сказал он. — Я на больничном до сентября. Посмотрю за Верой.

— Хорошо, — согласилась мама, — спасибо. Неделю отдохну, вернусь.

Утром папа забрал маму в Сан-Матео, а дядя Изя остался на дежурстве: покормить, убраться, поговорить, в случае истерики позвонить Гусеву.

— А почему ты не в университете? — удивилась Вера.

— Отпуск взял до сентября.

— Зачем? Ты болен?

— Наверное, — дядя Изя задумался. — Понимаешь, я всегда слышал жизнь, звучащий сквозь нее голос Бога, музыку творения... А сейчас оглох. Сломалось что-то в душе.

Вера обняла дядю Изю. Поразительно, она оказалась с него ростом. Легендарный профессор Эльдерман, неповторимый и непобедимый, — всего лишь худой седой старичок, оглохший от горя.

— Я тебя так люблю, — сказала Вера, положив голову ему на плечо.

— Это главное, — он погладил ее волнистые волосы. — Нужно время. Жизнь вернется. Она всегда возвращается... Незаметно, по капельке, по семечку, по икринке...

* * *

Впрочем, состояние Верочки улучшалось: припадки хоть и не прекратились полностью, но случались реже, она перестала болеть каждый месяц, начала регулярно гулять с дядей Изей и иногда обращать внимание на еду. Однако многое в квартире напоминало о ребенке, и ей часто казалось, будто сейчас распахнется дверь, ворвется Фирочка и с криком «Мама» бросится ей на шею. «Надо убраться, — решила она наконец, — не рыдать же постоянно над каждой мелочью».

Набрав целлофановых пакетов, Вера начала методично собирать книжки в один, одежду — в другой, игрушки — в третий. Постепенно добралась до детской.

Прикосновения обжигали память. Вера думала, что такие ожоги она уже научилась контролировать, однако каждый новый предмет, поднятый с пола, почему-то падал

⁸ Катархей — отрезок времени геологической истории Земли от ее образования до начала архея, когда начали формироваться основные залежи горных пород и появляться первые признаки жизни.

⁹ Протоклетка — примитивный одноклеточный организм.

не в пакет, а в душу и давил, как свинец. Нет, надо прекращать самоистязание — бросить все в стенной шкаф и уйти из детской поскорее. Она открыла дверцу шкафа. Увидела белый больничный мешок.

Конечно, Вера знала, что открывать его нельзя, что горюшко через край выплескивается — нарвешься на кофточку, сохранившую запах, и прорыдаешь всю ночь. Но что-то бесформенное, не похожее ни на одну из Фириных вещей проступало сквозь плотную белую пленку.

Вера открыла мешок и достала Надю.

Боже, какой изможденной и обессиленной увидела кукла прежнюю хозяйку. Пелена печали в черных глазах, морщины на когда-то безупречном лбу, белая прядь в водопаде волос. «Милая Вера, — хотела спросить кукла, — что, скажи, мне сделать, чем помочь?»

Звуковое устройство уже почти не работало, однако как порой случается со старыми механизмами, перед самой кончиной, перед тем, как сломаться навсегда, они неожиданно срабатывают, как новенькие, но только один, последний раз. Так случилось и с Надей. Что-то внутри нее щелкнуло, распрямилось, и она произнесла «мама» так звонко и чисто, словно треснувшая пружина откатила время на десятилетия назад и кукла вновь оказалась в руках своей шестилетней мамы.

На минуту Веру парализовало. Она смотрела на куклу, мучительно мотая головой.

— Нет! — закричала она, схватила Надю за ногу и с размаху ударила о дверной косяк.

— Нет! Нет! Нет! — Вера швырнула куклу на пол, начала топтать.

У Нади треснула голова, останки говорительного механизма прошли сквозь хлопковое тело. Резинки, соединявшие руки и ноги, лопнули, и части куклы разлетелись по детской спальне.

Вера иступленно молотила кулаками по дверцам шкафа:

— Нет! Нет! Нет!

Она проломила тонкую фанеру, но продолжала кричать и биться о шкаф, не обращая внимания на порезы.

— Нет! Нет! Нет!

Вконец обессилев, Вера опустилась на детскую кровать. Глядя на останки куклы, она поняла, что у нее больше нет дочери. Ни голоса, ни запаха, ни теплого прикосновения, ни подобного океанскому прибою взгляда, в котором, сменяя друг друга, уживались фонтан радости и водопад слез, беззаботный зов нежности и вулкан негодования — наивная, безмятежная и потому вечная детская любовь...

Всего этого больше нет.

Фирочки больше нет.

* * *

Вернувшись домой, Гусев нашел дрожащую Веру под грудой одеял. Руки обмотаны кровавыми полотенцами, наволочку хоть выжимай. Валера дал жене обезболивающее, заставил положить глицин под язык. Размотал полотенца — везде рваные порезы, занозы. Занозы извлек, раны обработал, наложил бинты. Казалось, Вера не чувствует боли. Ничего сказать, объяснить не смогла — только слезы капали, будто безмолвный, безутешный петербургский дождь.

Он принес сухую подушку, уложил Веру, лег рядом. Через час она заснула. Гусев тихонько встал, зашел в детскую.

Что за побоище! Дверцы шкафа пробиты, везде пятна крови, на полу разбросаны куски изуродованной куклы. Что произошло?

Он собрал Надю, положил в бумажный пакет и спрятал на антресоль — там Вера не найдет. Затем начал чистить комнату.

На следующий день у Веры началась тяжелейшая депрессия. Гусев повез ее к врачу. Когда вернулись, их ждал дядя Иза с обедом, который пришлось есть Валере: старик был не голоден, Вера сразу легла в постель.

— Что случилось? — спросил дядя Иза.

— Точно не знаю.

Валера достал с антресолей пакет с Надей:

— Вернулся вчера домой — Вера в ужасном состоянии: руки в порезах, молчит, плачет. В детской нашел проломленный шкаф и разбитую Надю. Похоже, случился припадок, и она сломала куклу.

Дядя Иза заглянул внутрь, покачал головой:

— Плохо дело. Теперь и Надя умерла.

— Может, мне взять больничный? Не выкрутятся нам.

— Вы не можете сейчас оставить проект. Мы все от вас зависим. Заставьте себя работать. Я и Люба последим за Верочкой.

Гусев через силу доел, ушел в университет. Дядя Иза запихнул пакет с куклой в свой рюкзак — полежит пока у него дома.

* * *

Прошел июль. Следовало начинать готовиться к новому циклу лекций, но ни желания, ни энергии у дяди Изи не находилось. Пора бы проекту уже завершиться, но ничего конкретного Валера не сообщал, да и пересекались они последнее время нечасто.

В один из жарких августовских вечеров неожиданно, без звонка явился взъерошенный Гусев.

— Вы получили результаты, — догадался дядя Иза.

— Десять в минус двадцать первой степени.

— За миллиард-то лет?!

— Десять в минус двадцать первой степени.

— Вы проверили модели, расчеты?

— Месяц проверяли всей группой, потом расчетчиков нанял, чтобы перепроверили. Потом создали альтернативные модели... Самый оптимистичный сценарий — десять в минус двадцать первой степени.

— Жизнь, стало быть, практически невозможна?

— Невозможна.

— Но она есть!

— Есть.

Впервые за много месяцев на лице дяди Изи появилось подобие улыбки.

— Поздравляю, милый Валера. Вы совершили фундаментальное открытие — биологический Big Bang.

— Не может этого быть! — воскликнул Гусев, но встретив мечтательный, как у принца Гаутамы, взгляд дяди Изи, понял, что результат, естественно, был предreshен до начала эксперимента. — Вы все знали?!

— Предполагал.

— Не может этого быть! — заорал Гусев, заметался среди залежей научных томов, словно медведь в западне.

Дядя Иза выскользнул на кухню, заварил чаю, дождался, пока Гусева перестанет штормить. Когда за стеной все стихло, вернулся в гостиную. Несчастный Валера пол-

зал между порушенными пирамидами книг, тщетно пытаясь их восстановить. Дядя Изи поставил чай на стол.

— Оставьте, Валера, уберем потом. А вам реально нужно отдохнуть. Опубликуем результаты и сразу уезжайте с Верой в отпуск.

— Где опубликуем?! Нас четвертуют за такие публикации — это же ненаучно.

— Почему?

— Не может жизнь возникнуть по щелчку. Это креационизм!

— Не вижу связи с результатом. Вы лишь показали, что доступное нам сегодня понимание абиогенеза не описательно. Где-то существует фундаментальная нестыковка.

— Например?

— Например, могут существовать миллионы планет, где ставился и ставится подобный эксперимент. Могли существовать катализаторы, на порядок ускоряющие реакции метаболизма, — принципиально иные физико-химические процессы. Из совсем фантастических — нелинейность времени, которое могло бежать по кругу. Гипотеза зависящих событий, предполагающая наличие Творца, — лишь одна из многих.

— То есть вы не считаете, что Бог создал жизнь.

— Я-то как раз так считаю, но не вижу, как это следует из полученной вами околонулевой вероятности.

Гусев задумался:

— Пожалуй, вы правы... Странно, что мне этот результат показался прямым доказательством существования Бога.

— Вот это как раз не странно. Очень естественно для создания видеть во всем Создателя. Но голый креационизм неописателен, мы не можем о нем дискутировать.

— В каком смысле?

— Если вы хотите обсуждать теорию Творения, то предоставьте хотя бы схему механизма воздействия Духа на материю.

— Разумно, — сказал Гусев, — однако мне кажется, что публикация отчета может вызвать негативную реакцию. Не все мыслят так широко.

— Отчасти это так, — согласился дядя Изи, — подумаем, как и где распространять. Встретимся завтра в университете и решим.

На следующее утро в университете появился дядя Изи, вполне похожий на прежнего дядю Изию, чем вызвал у сотрудников отдела легкий шок. Он, Гусев и доценты кафедры уединились в аудитории и после долгих споров договорились об общей стратегии: кто что публикует, когда, где и на чем не следует делать акценты, дабы не раздражать научную общественность.

Дальше дядя Изи, как обычно, направился в синагогу, а оттуда в ректорат. Там ожившего дядю Изию были чрезвычайно рады видеть, но претензии к отчету все же озвучили.

— Дорогой профессор Эльдерман, — сказал ректор, — работа интереснейшая, даже прорывная, но потенциальные выводы крайне неоднозначные. С публикацией могут возникнуть проблемы.

— Разве университет не обязан публиковать отчеты и диссертации?

— Боюсь, это очень рискованно. Возможный скандал бросит на нас тень.

— Хорошо, опубликуем в Cornell arXiv¹⁰. Думаю, этого достаточно.

— Прекрасно! — обрадовался ректор. — Публикуйте там и продвигайте. Если все обойдется, мы дадим вам зеленый свет, где только сможем.

— Непременно! — пообещал дядя Изи, почувствовавший неожиданный прилив энергии, словно необходимость защитить открытие группы Гусева наконец подключила его к источнику питания.

¹⁰ Открытый архив научных публикаций в Корнеллском университете.

Продвинул, кстати, вполне успешно: послал коллегам в Стэнфорде, Оксфорде, Сорбонне и Пизе ссылку на публикацию и попросил публичной рецензии. Вскоре в научной периодике началась оживленная дискуссия, счет референтов перевалил за сотню, затем активно включился ректорат, а когда из Scientific American приехали братья у Гусева интервью, у биологов Беркли пропали последние сомнения, что дядя Изя, подобно фениксу, воскрес из пепла, а значит, следует готовиться к неожиданностям и держать ухо востро.

* * *

Восстановив таким образом пошатнувшийся авторитет, дядя Изя не спешил окунаться в работу — было у него дельце поважнее эволюционной микробиологии. В Сан-Хосе обнаружилась кукольная мастерская, где, судя по отзывам, чинили даже самых безнадежно больных кукол. Дядя Изя позвонил.

— Hello, — прорычал в телефоне голос с таким чудовищным акцентом, что дядя Изя сразу перешел на русский.

— Здравствуйте. Это Изя, хочу починить у вас куклу.

— Здравствуй, Изя, — обрадовался голос. — Я Тигран. Починим твою куклу, не сомневайся. Приезжай, дорогой.

— Когда удобно?

— Да хоть сейчас. Работы мало, сразу почию.

— Прекрасно! Буду через час, — воскликнул дядя Изя, радуясь такой удаче.

Он прыгнул в машину и помчался в Сан-Хосе, заскочив по дороге в знаменитый магазин «Самовар», где на всякий случай приобрел армянский коньяк, о котором заслуживающие доверия евреи отзывались весьма аутентично.

Мастерская находилось в гараже частного дома. Плотный носатый хозяин, чей торс повторял очертания горы Арарат, встретил гостя с исключительным радушием. Усадил в кресло в гостиной, предложил чаю, расспросил о родственниках и, разумеется, рассказал о своих. За пятнадцать минут дядя Изя получил исчерпывающую информацию о многочисленной родне Тиграна как в Америке, так и за ее пределами.

— Где кукла? — спросил наконец мастер.

Дядя Изя достал пакет. Хозяин посмотрел. Нахмурился:

— Эту куклу убили.

— Это кукла моей племянницы, — объяснил дядя Изя, — а потом ее дочери. Ребенок недавно умер, у матери случился приступ... Видимо, она сломала куклу во время приступа. Несчастный случай.

Тигран достал проломленную голову:

— Как зовут?

— Надя.

— Надежда, значит, — мастер достал разодранное тело. — Похожа на Молли, American Girl. Начало девяностых, я думаю. Ладно, починим твою куклу, только поставим новый корпус и звуковой аппарат, ты не против?

— Я за.

— Хорошо, — сказал хозяин — дай мне пару часов. Хочешь, здесь подожди, хочешь через три часа приезжай.

— А можно посмотреть, как вы ее чините?

— Конечно! Пойдем.

Посередине гаража стоял средних размеров верстак, над ним — огромный софит, каким пользуются дантисты в зубо врачебных кабинетах.

— Вот это да! — восхитился дядя Изя. — Где вы достали такую лампу?

— Дочь отдала, — гордо ответил Тигран, — она зубной техник у меня.

Он выложил Надины останки на верстак, включил лампу, надел линзы и начал операцию по воскрешению куклы. Резал, выпрямлял, нагревал, сплавлял, клеил, аккуратно соединяя пинцетом разодранную виниловую плоть. Внезапно обратился к гостю:

— Иди сюда, Изя, поддержи-ка.

Тигран передал дяде Изе пинцет, а сам пошел искать какую-то важную струбцину. Вернувшись, дал еще одно задание, потом еще. Сверху казалось, что два седых старикана священнодействуют над кукольным алтарем, словно два Ноя латают дыры в прохудившемся ковчеге.

— Вот тебе кукла, — сказал наконец Тигран, — послушай.

Дядя Изя взял Надю на руки.

— Мама, — воскликнула Надя так радостно и звонко, что дядя Изя едва не прослезился.

— Спасибо, Тигран, — сказал он, — вы волшебник.

— Сейчас пусть полежит, посохнет, — сказал Тигран, — а мы пойдем чайку попьем.

— Сколько с меня?

— Триста.

Дядя Изя отсчитал пятьсот.

— Возьмите, — попросил он, — вы оживили мою куклу, это стоит гораздо больше.

— Хорошо, — не стал ломаться мастер, — но тогда ты с нами пообедаешь.

— С удовольствием.

Дядя Изя достал бутылку коньяка.

— В «Самоваре» купил? — презрительно спросил хозяин.

— Да.

— Вылей эту мочу в раковину. Угощу настоящим коньяком. Софа, — закричал Тигран так зычно, что задребезжали стекла, — стели на стол! Мы с Изей куклу починили — будем пить «Эребуни»!

Софа оказалась пожилой общительной армянкой. Узнав, в чем причина торжества, она обняла дядя Изю: «Я так рада за вас, за Надю!» Потом быстро покидала на стол зелень, лаваш, сыр, порезала бастурму, поставила тарелки. Тигран с заговорщическим видом принес рубиновую бутылку с янтарной жидкостью.

— За тебя, Изя. За Надю! Пусть вернется радость в твой дом.

Дядя Изя глотнул «Эребуни». Огонь! Такого коньяка он действительно никогда не пробовал.

— Понравилось? — спросила Софа.

— Очень. Где вы его достали?

— Дети на серебряную свадьбу подарили.

— И вы ради меня его открыли?!

— При чем здесь ты? — удивился Тигран. — Ради Надежды.

* * *

Воскресение куклы дядя Изя держал в большом секрете. Да, Верочка выздоровела, вернулась в университет, ушла с головой в работу и даже порой улыбалась, но уж кто-кто, а дядя Изя видел, как плещет море печали за кроткой улыбкой. Как же хотелось ему открыть племяннице Надю, но он терпеливо ждал, когда созреет Верочкино сердце. Ибо сказал один очень мудрый еврей: «Слово любви живо, и действительно, и острее

всякого меча обоюдоострого», — с чем дядя Изя, конечно, был согласен. А вот когда это слово следует произнести, чтобы проникло оно в глубины души вплоть до границы с духом, дядя Изя имел особое мнение и потому положил куклу в коробку, а коробку поставил на книжный шкаф.

Надю такой поворот немало огорчил: валяться в темной коробке на книжной полке, когда на тебе новое платье и сказать «мама» можешь без всяких усилий! «Надо потерпеть, — объяснил дядя Изя, — немного полежишь и увидишь, что произойдет». Скрепя сердце она согласилась, поскольку привыкла дяде Изе доверять.

Позвонила Вера:

— Мы с Валерой хотим зайти вечером, ты дома?

— Дома. Заходите.

— Только не готовь ничего, мы принесем.

— Хорошо. Когда вас ждать?

— Около семи.

— Прекрасно! Жду.

Дядя Изя думал прибраться, но бросил: за час что успеешь? Вместо уборки зажег семисвечник, сел напротив, погрузил взгляд в огонь...

Кто положил основания земли и меру ей под ликование утренних звезд, под восклицания радости? Установил пределы морю, одел его в облака, спеленал мглой. Повелел утру и распространил зарю, чтобы изменилась земля, словно глина под печатью, облачилась в одежды света. Собрал сокровища снежные, родил капли дождя, украсил луга росой. Связал узел Хима и разрешил узы Кесиль¹¹.

Распахнул врата смерти, вступил в сень небытия, как царь, как владыка смерти.

Великий храм жизни, исполненный красотой, как звуком органа размером с вселенную, где в каждой клетке отражается лик Творца, в каждом биении сердца слышен Его голос. Щедрая, неисчерпаемая, вечно себя опустошающая и тем возрождающая купель бытия.

Пришли Вера с Гусевым. Вера, не раздеваясь, бросилась к старику, обняла его.

— Я беременна.

— Жизнь всегда выигрывает... — улыбнулся дядя Изя. — Садись, мне нужно кое-что тебе вернуть.

Он ушел в спальню, достал из коробки Надю.

— Узнаешь? — спросил он, показывая куклу Вере.

Та заплакала, протянула руки, но дядя Изя отпрянул.

— Не будешь ее больше обижать?

Вера замотала головой.

— Будешь о ней заботиться?

Вера закивала.

— И регулярно менять ей трусики?

— Да, да! Ну дай же мне мою Надю! — крикнула она сквозь слезы.

Дядя Изя отдал ей куклу. Вера прижала Надю к груди.

— Мама, — сказала Надя чисто и громко, как много лет назад. — Мама.

¹¹ Созвездия Плеяд и Ориона (Книга Иова).

Екатерина СПИРИДОНОВА

НЕ ДЕНЬ — ЛЫНЯНАЯ СКАТЕРТЬ

* * *

чудовищная белизна листа
литературы вечная киста
но так сладка но так чиста
необъяснимо

дай мне припасть к твоей груди
хоть слово, букву хоть седи
о том, кто я какой ID
и псевдонимы.

но ты молчишь (какая чушь!),
как снег молчишь, как сом, как муж,
молчание свое нарушь,
будь умолима!

ты времена, ты племена,
не клык саднящий а десна,
в тебе возрастают письма —
я вместе с ними.

* * *

слова замирали в воздухе как в желе
казались прикосновением.
любит не любит,
жалей не жалей
несовершенное
несовершенное
преступление.

Екатерина Спиридонова родилась в г. Салавате. Окончила филологический факультет СПбГУ. Филолог, поэт, художник-иллюстратор. Член Российского союза профессиональных литераторов. Лауреат литературной премии им. Маздофа (2024). Шорт-лист премии им. Мякишева (2024). Лауреат Всероссийского фестиваля им. Бельмасова (2024). Лауреат фестиваля им. Ахматовой (2024). Победитель форума «Проводники культуры» (Химки, 2024). Печаталась в журналах «Урал», «Москва», «Волга XXI век», «Южный маяк», «Огни Кузбасса», «Литературной газете», литературном альманахе «Образ». Живет в Санкт-Петербурге.

на мгновение роль на себя примерь,
не дорожи особенно.
подаешь руку и открываешь дверь —
вот и вся нежность,
которая нам
позволена.

* * *

Сахар звезд блестит над кронами
Лишь до озера зари.
Ты в глаза мои бездонные
Долгим взглядом не смотри:

Потому что, кроме мелочи, —
Ничего в моем краю.
Одному тебе, жалеючи,
Эту правду говорю.

В них не руны-иероглифы —
Просто точки да кресты,
И горит огонь уродливой,
Нехорошей красоты.

Сколько слез напрасно вылиты
Вместо дождичка хвощу...
Руку дам, из леса выведу
Да платочком помашу.

И могучие беспомощны,
И счастливым счастья нет —
Ищут ведьмины сокровища,
А находят пустоцвет,

Только ты от карих всполохов
Грустный не отводишь взгляд.
Ну смотри мне — в этот колокол
Больше раза не звонят.

* * *

глазки синие глазки красные
зорьки в небе-то у нас разные
разномастные
разноцветные
а любовь одна —
беззаветная
безответная
бессловесная
неученая
глазки красные сердце черное

В МЕТРО

Этот поезд совсем никуда не пойдет.
Он устал, он свернулся в тоннеле,
Как зародыш в питательном теле —
Он боится покинуть живот.

Он уснул на путях запасного депо,
Он не нужен, он пуст. Ему снится,
Как улыбчивая проводница,
Молодая, в нарядном пальто,

Едет с ним на Кавказ, в Петербург, на Байкал!
И пьют чай с колбасой пассажиры,
Горизонт с каждым часом становится шире —
Он мечтает! А кто не мечтал?

Поезд спит под землей. Далеко-далеко,
Там, где вечер полярною ночью состарен,
Проводница мечтает о новом составе
И уже присмотрела пальто.

* * *

Вот улица, где все и началось.
Желтеет дом облупленным фасадом.
Он подошел бы скверу или саду —
Не линии, проколотой насквозь
Ветрами с набережной и звонком
Трамвая — старого, сорокового.
Вот улица, где все не ново,
И ничего плохого в том.

В кафе пекут все те же пироги
С творожным сыром, зеленью, лососем.
Теперь его не закрывают в восемь —
Мы целый час еще беседовать могли
За этим столиком в укромном уголке.
О ком мы спорили? О Пастернаке?
Как помнятся все эти полузнаки,
Полуприметы журавля в руке.

Вот так все было, но не в этом суть.
Остановился миг, в отличие от речки.
И мне все кажется: сейчас, сейчас я встречу
Пусть не тебя, пускай кого-нибудь —
Но встречу, потому что сам
В. О. нас опекает, как бездомных,
И я прочла в его глазах оконных,
Что прочитаешь только по глазам.

* * *

Какой-то день — простой. Не день — льняная скатерть.
Деревья ждут весну — она несет на стол
Молочную траву, короткую, как память,
Пока с медовым сном еще кипит котел.

Обычный день. Не ноль, не единица —
Примерно пять шестых (но тут не точен счет).
А сумерки и ночь в нос отдают горчицей,
И слезы на глазах, и что-то там еще.

Марат ГИЗАТУЛИН

КНИГОЛЮБ

Повесть*

ЖИТЬ ПО ГРАФИКУ

С этими эпидемическими ограничениями совсем редко стали мы с друзьями видеться, а тем более выпивать. Мы и в молодости-то не частили — ну, пять раз в неделю, ну, шесть, редко чаще. Здоровье, знаете ли, не купишь. Опять же, работы много, за всякой пьянкой не угонишься.

Один из моих друзей особенно благоразумен, он в нашей компании широко известен как входящий в тройку лучших романистов всех времен и народов, уступая пока немного Толстому с Тургеневым. Но он скоро их обойдет, тем более что это было бы и логично: его фамилия в алфавите буквой раньше стоит, чем фамилии его конкурентов. Я его вообще побаиваюсь — сам, кроме заметок на шнурках от ботинок, других литературных жанров освоить пока не сумел. К тому же он образованный, аж жуть. А я уже перестал скрывать, что и в школе-то не учился.

Ну так вот, друг, говорю, у меня очень порядочный и правильный. Все у него по полочкам. Увидит у меня в машине бумажку на полу и тут же начинает биться в падучей: останови, мол, я пойду мусорку искать. И неважно ему, на перекрестке ли я стою или мчусь по автобану.

И даже алкоголизм у него строго регламентирован по дням недели — когда пить, когда опохмеляться. Не дай бог сделать наоборот!

Но и на солнце есть пятна, и друг мой тоже без недостатков не обошелся. Он, видите ли, не может пить один, без компании. Такая психическая особенность, я бы даже сказал, заболевание. Ну, все мы не без уродств, друзей не выбирают.

И вот он меня корит всякий раз:

— Вот если бы ты вместо того, чтобы в «Candy Crash» играть, когда умные люди с тобой разговаривают, озаботился бы однажды бессмысленностью своей никчемной жизни, ты бы научился, как я, выпивать не с бухты-баряхты, когда приспичит, а по системе! Это же не понос! А ты живешь, как перекаати-поле — ни толку, ни смысла, ни даже малейшей попытки научиться жить, как нормальные люди, или хотя бы правильно пить.

Марат Рустамович Гизатулин родился в 1960 году в Казани. В 1985 году окончил Московский институт химического машиностроения. Работал на химическом предприятии в Узбекистане. Занимался предпринимательской деятельностью. В 1998 году вместе с литературоведом и звукоархивистом Л. А. Шиловым создал народный музей Булата Окуджавы в Переделкине и стал его первым директором. Автор многих книг о жизни и творчестве Булата Окуджавы, а также сборников рассказов. Живет в Москве.

* Окончание. Начало: Нева. 2025. № 6.

Я лениво возражаю, что поздно, дескать, мне учиться, я и сам в этой области давно в профессорах ходил бы, если бы не завистники. А друг еще пуще ярится:

— Нет, нет и нет! Ты никчемный человек! Но из тебя еще может какой-никакой человек получиться, если ты научишься пить по системе! Ну, вот посмотри, хотя бы на нас с Владиком, ведь мы интеллигентные алкоголики — пьем строго два раза в неделю: в среду и в субботу.

Я вынужден был согласиться, и зачем бы я стал спорить против истины. Действительно, они пьют два раза в неделю — в среду-четверг и в субботу-воскресенье. Даже понедельника не захватывая, что совсем уже глупо. И мне остается лишь удивляться их силе воли и по-черному завидовать.

А давеча он мне говорит:

— Завтра среда, хороший день, надо выпить.

Ну почему же не выпить завтра? Завтра действительно хороший день — среда. На том и порешили.

Назавтра я, как обычно, весь день, как пастушья овчарка, с языком на плече, бегал по делам всяким, все ноги стоптал. Ну и, конечно, перехватил где-то пару пивка, чтобы не свалиться от переутомления и обезвоживания в придорожную пыль.

Вечером прибегаю к нему, запыхавшийся. А ему блеск моих глаз не понравился — где он и глаза-то у меня разглядел. Шепчет зловеще:

— А ну-ка дыхни!

Я похолодел, но деваться некуда, дыхнул.

— Ах ты мерзавец! Ты уже напился, как свинья! Убирайся прочь и будь ты проклят вдребезги и пополам!

Понуро я побрел в свою берлогу. Опять культурно выпить не получилось.

А через два дня суббота. И мои друзья, хочешь не хочешь, с утра пораньше отправились пить. График! И не просто на ближайший пляж, а в Ларнаку их потянуло. Там они встречают и провожают самолеты на ближних подступах к аэропорту: свистят, улюлюкают, хлопают себя по давно высохшим ляжкам и поют: «Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда!»

Меня в наказание оставили в Лимасоле шкаф собирать. Я еще вчера, когда мы покупали этот шкаф, сильно огорчился, что третьего дня выбился из графика. А беда началась еще позавчера, когда жена Владика решила, что им нужен новый шифоньер. Хотел я ей сказать, что лучше бы она другого мужа завела, но промолчал тактично. И мы поехали в «Икею», но там подходящего по цене не оказалось, и мы вернулись в Лимасол в какой-то древесно-стружечный склад, который оказался совсем даже рядом с домом.

Быстро нашли сборный шкаф, цена была привлекательная — денег еще на двадцать бутылок вина оставалось, все остальное не так привлекательно. Толщина его древесно-стружечных стенок и дверок вселяла опасения, что мебель превратится в мешок опилок при транспортировке. Я еще раз пожалел, что не умею жить по графику.

Тут друзья мои заторопились, опасаясь, что не успеют и суббота пройдет так, что потом им будет мучительно больно, и, помахав мне платочками, выпрыгнули в автобус. А я вернулся в их квартирку разбираться с шифоньером, или, как говорили в моей далекой юности особо закоренелые интеллигенты, шифонэром.

Едва лишь я приблизился к этой куче дров с отверткой, из нее сразу посыпались опилки, но я был нежен и уговаривал ее не капризничать. Главное было собрать каркас до такой степени твердости, чтобы он перестал извиваться, как змея, выплевывая при этом ранее вкрученные шурупы вместе с истлевшими еще до моего рождения опилками.

До обеда я пытался из этого киселя стоимостью в две бутылки вина за комплект сделать что-то прямоугольное. И мне это удалось-таки! Я вообще большой мастер! Осталась ерунда — дверцы навесить и внизу шкафа два выдвижных ящика собрать, это уже на десять минут работы. Эти ящики Лене вчера особенно понравились — вместительные, во всю ширину шкафа. И глубина вполне приемлемая — пьяного Владика можно затолкать.

И тут мне вдруг из дому звонят — не мог бы я одну из дочурок к подружке отвезти?

— Отчего же нет! — благосклонно согласился я, мысленно оттягивая и отпуская несуществующие подтяжки для брюк, которых у меня тоже нет. Действительно, надо сделать перерыв, отдохнуть, ведь самое страшное уже позади.

Еду обратно, и вдруг приятель мой Мичурин звонит — оказывается, его в магазин «Суперхоум» не пускают, как не сделавшего прививку или тест на ковид. А мы вчера как раз в этом магазине шкаф покупали, и вчера еще пускали всех — ужесточение режима началось с сегодняшнего дня. И вот Мичурин просит, чтобы я со своей прививкой купил бы ему там, что ему надо. Ну, как не помочь другу, тем более что он человек достойный, не обремененный никакими графиками?

Я подъехал к магазину, и мы с Мичуриным всю мою машину вверх дном перевернули в поисках бумажки о моей прививке. Нет бумажки, как сквозь землю провалилась. Ну, что делать? Едем, говорю, тогда хоть мне шкаф поможешь дособрать, тем более что ты все равно уже пьяный. Поехали. Вдвоем, конечно, сподручнее: он один ящик собирает, я — другой. Ящики вставили, гору лишних опилок под кровать замели. Красота такая, аж душа радуется! Прямо, действительно, шифонэр какой-то получился.

Осталось только дверцы навесить. А здесь вдвоем уже не развернуться, и добрый Мичурин усадил меня пивком дух перевести, а сам с энтузиазмом кинулся последние штрихи наносить. Одну дверцу он мастерски в две минуты повесил и повернулся ко второй. А вторую теперь левой рукой крутить надо. Не так сподручно, и Мичурин, забыв обо всем, решил присесть прямо там, в шкафу, на полки, пять минут назад поставленные. Я даже крикнуть не успел — в следующее мгновение раздался грохот, и Мичурин оказался на полу, а сверху него громоздилась бесформенная куча дымящихся пылью опилок!

— Скотина, — говорю я ему, — не умеешь по системе жить! Ты вчера пил?

— Пил...

— Сегодня надо было пропустить, будь ты проклят вдребезги и пополам, как справедливо заметил Михал Михалыч!

А сам я твердо надумал отныне жить по графику! Жалко только, недолго осталось с этими ковидными ограничениями.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

Папа у меня большим поборником трезвого образа жизни был. Прямо до неприличия. Ну нравится тебе здоровый образ жизни, зачем же ее всем портить! Дай ты людям спокойно помереть, от чего кому нравится.

Так нет, он почти до середины девятого десятка дожил, а все не уставал поучать с юношеским задором своих молодых и старых родственников, как нужно правильно выпивать и с какой регулярностью. Нет, он, конечно, очень интеллигентно свои лекции читывал, не в лоб, а даже за рюмочкой для усыпления бдительности. Лекции обстоятельные, подробные, и не всякий воспитуемый бывал в состоянии досидеть до конца. Некоторые падали раньше. Дедушка таким делал назидательное замечание:

— Вот! Я же говорил!

Надо отдать должное моему папе: лекции его имели некий воспитательный эффект. Потому что после такой лекции воспитуемый длительное время даже сморгнуть на алкоголь не мог без рвотных спазмов.

Эта воспитательная страсть моего папы мне немного странной казалась, ведь больших приверженцев алкоголя в нашей семье практически не было. Если не считать... Ай, что там считать-то, к черту подробности!

Но надо заметить, что не всегда мой папа таким строгим был в отношении алкоголя. В молодости совсем нестрогим. С друзьями по детдому и ремеслуху какие уж там особые строгости! Но у будущего моего папы устремления были нешуточные. Он образование мечтал получить инженерное и чтобы дети непременно в музыкальной школе учились. Ну, такой каприз был у человека. И вот родился у него сын, и счастливый папа на радостях тут же покончил с выпивкой. Чтобы ребенку подрастающему примера не подавать плохого.

День не подает плохого примера, два не подает. Нет, ну в гости, конечно, пойти иногда случается или наоборот, и тогда совсем без возлияний не обойтись. И мне такие дни очень нравились. Потому что в такие дни папа бывал очень веселым и мы с ним всякий раз боролись на ковре понарошку. Так что с показательными примерами получилось все не так, как хотелось. Справедливости ради надо сказать, что гораздо больше примеров отрицательных я видел вокруг себя и зарекался когда-нибудь рюмку брать в рот. Зарекалась свинья в грязи валяться...

А папа посмотрел-посмотрел, в какую сторону развивается его чадо, и решил: да что я, дурак, что ли, — и перешел на преподавательскую работу. И вдохновенно трудился, несмотря на возрастные и географические границы.

Едет, скажем, дедушка в Англию внучат навестить. А там зять Роджер, муж младшей доченьки Альфии, шестидесятилетний аристократ-англичанин, крупное финансовое светило. Роджер любит хорошее сухое вино и выпивает в течение дня обычно одну или две бутылки. Дедушка какое-то время смотрит на это неодобрительно, а потом присоединяется, чтобы за бокальчиком провести с Роджером душевную беседу.

На следующий после удачно проведенной беседы день ни лектор, ни его слушатель не то что выпить — с постели встать не могут.

И только недоумевающий Роджер, принимая от жены холодный компресс на лоб, мучается вопросом: ну почему, почему ее папа такой строгий ревнитель трезвого образа жизни? Почему нельзя чуть помягше?

А она ему:

— Ты видел, дурачок, на столбах высоковольтных таблички висят: «Не влезай, убьет!» Сам уже понимать должен! Что мне, на папу табличку вешать?

Но особенно не повезло первому зятю Толику. В смысле первому мужу Альфии. Толик вообще непьющий, поэтому после первой же лекции тестя он чуть не умер, бедный. Но зато теперь можно быть уверенным: до конца жизни он больше к спиртному не прикоснется.

И мне обидно немножко: меня папа обошел. Со мной он за бокалом вина никогда воспитательных бесед не проводил. Возможно, понимал, что я и сам из профессорского состава и учить меня будет большой бестактностью.

Напоследок он все-таки еще раз показал мне хороший пример. Хотя я за всю нашу жизнь не могу припомнить от него ни одного плохого примера, только хорошие.

Вот наступил его последний день, и врач сказал, что папе теперь все можно. Пусть выпьет и покурит с удовольствием. Я побежал, воодушевленный, притащил пива вкус-

ного, раскурил ему сигарету. Он сделал одну затяжку и вернул мне сигарету, пригубил стакан и поставил на тумбочку. Посмотрел на меня с улыбкой и прошептал:

— Вот видишь, сынок, я же говорил...

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ХАРАКТЕРА ПРЕСТАРЕЛЫХ ОСЛОВ

Я мало что рассказиков придумывать не умею, так названия им давать — вообще нож острый. А друзья у меня такие умные, что я на них, как на солнце, смотрю — в маске сварщика. Нет, правда, правда, а они, конечно, всякий раз об меня ноги вытирают до полного износа подметок. Просто дедовщина какая-то пожизненная.

Нет, я понимаю, старики всегда такие — шипят и ущипнуть хотят, это нормально. Вот гусак Леня тянет ко мне свою длинную шею:

— Что ты пишешь? Ну, что ты пишешь?! Ты сам-то посмотри, что ты пишешь!!! Ты хоть понимаешь, что это не литература никакая? Фантазия у тебя очень, очень слабая! Чудовищно скучная у тебя фантазия не то что для писателя, но даже для истопника!

— Не литература? А что это у меня?

— Да что угодно! Чететка с пуканьем, кёрлинг, макраме... Что угодно, только не литература! Ну вот сам посмотри, что ты пишешь? <...>

Леня еще туда-сюда, а Владик очень умный, ну очень, и злой потому, как казахский волкодав, который вчера волка не задавил. Нет, если он сегодня выпимши, тогда добрый, конечно, если вчера, тоже еще ничего, а если позавчера, жди беды!

Но особенно их названия к моим рассказикам в бешенство приводят. Я и сам знаю, что название — не самое мое сильное место. Третьего дня рассказик гениальный написал про старого ослика и послал, конечно, идиот, друзьям любимым на отзыв, не удержался. Так лучшее, чем они мне ответили, было:

— Ну ты и осел!..

А я о другом там хотел рассказать. Как мы с семьей жили тогда в новом панельном доме по улице Юбилейной. После грандиозных юбилейных торжеств 1967 года в каждом городе появились улицы с таким названием, и все они были застроены такими же домами, которые не так давно придумали и строили теперь невиданными темпами целыми не улицами даже, а микрорайонами и городами. Только в других регионах дома были пятиэтажные, а у нас в четыре этажа, видимо, в силу особых сейсмических условий. Ну и конечно, одинаковые школы на несколько микрорайонов и одинаковые детские сады. И конечно, одинаковый кинотеатр «Октябрь».

Наш микрорайон строили на пустыре, прежде служившем полигоном для располагавшегося рядом танкового училища. Поэтому благоустройством особенно не заморачивались — возле каждого из домов жильцам выделили участки для сада-огорода. Но всем участков не хватало, поэтому их давали только тем почему-то, кто жил на первом и на третьем этажах. Наша квартира как раз была на третьем, поэтому огород у нас был. А папа мой очень азартный огородник был, ну очень, и садовод. Я таких больше никогда не видел. Он в Чирчике первым начал цитрусовые выращивать, а таких по форме, цвету и содержанию помидоров, какие он выращивал уже через много лет в Москве, я тоже больше никогда не видел.

И вот у нас огород, бывший танковый полигон, и вместо земли тут белая-белая пыль. И папа говорит:

— Так мы ничего не вырастим. Надо нам на огород навоза навозить. В Химпоселок привезут машину, я договорился. Арбу с ослом у Вани Калитки попросим и перевезем потихоньку навоз за пять-шесть ходок. Хочешь заняться?

Я тогда даже ушам своим не поверил, когда папа предложил мне на арбе навоз возить. Какое счастье! Один, как взрослый, буду управлять транспортным средством! Мама, правда, засомневалась, можно ли считать нормальным человека, который посылает маленького ребенка управлять арбой с ослом чуть ли не через весь город по оживленной автомобильной трассе.

— А что такого, — горячился я, — верховую-то езду на осле я уже давно освоил, чего же мне с арбой не проехать!

А папа на мамины сомнения ответил, что он в моем возрасте один ездил на поезде. На это мама от возмущения просто не нашлась, что возразить — настолько некорректным ей показалось это сравнение, хотя действительно такой эпизод был. Мне об этом тетка рассказывала, папина младшая сестра. Оказывается, когда их маму забрали, советская власть проявила заботу об оставшихся без родителей детях и определила брата в один детский дом, а сестру — в другой. Очень удобно, правда, в разных городах.

Мой будущий папа сбежал из своего детдома, украл на базаре лепешку и немного черешни и отправился на поезде навестить сестренку. До места ему доехать не удалось: проводник сбросил с поезда безбилетного пассажира прямо на ходу, разбив при этом своим жезлом нарушителю голову. Но тот все равно как-то добрался и даже гостинцы не растерял, нашел сестру в детском доме и принялся ее угощать. Она предлагала брату разделить с ней трапезу, но тот категорически отказался, сославшись на то, что так объелся этой черешни, что его уже тошнит. Мне тогда казалось смешным, что моего будущего папу тошнило от черешни, но тетя почему-то всегда плакала на этом месте.

Я, правда, не этот случай имел в виду, когда обещал привести пример ослиного упрямства, хотя в упорстве моему отцу нельзя было отказать.

В общем, кое-как мы уговорили маму, что ничего здесь сложного нет, тем более что я с первого класса самостоятельно ходил и ездил через весь город, хоть и без осла. Я и сам мог бы неплохо сойти за него — уроки заканчивались в двенадцать часов дня, а домой я возвращался в шесть.

Папа за три рубля договорился с соседом насчет осла. Мне выдали вилы, и я с энтузиазмом взялся за погрузку арбы. Старенький ослик, которого звали Мишкой, был уже запряжен в арбу. Нагрузив арбу доверху, я устроился на ней сам и взялся за поводья. Хозяин осла проводил нас немного, пожелав мне быть внимательным на дороге, и ласково хлопнул своего питомца по крупу.

Я был счастлив! Я еду на арбе, один, как взрослый! Осел слушается моих поводов, спокойно поворачивая в ту сторону, куда я укажу, не ускоряя и не замедляя хода. Мишка оказался незлобивым, спокойным и задумчивым животным. Совсем как я.

До места мы добрались через час. Я быстро разгрузил арбу в нашем огороде и отправился во второй рейс. И так три раза. К последнему, четвертому, рейсу я был уже заправским ломовиком и всерьез начал задумываться о профессии. Я выработал командный голос и на длинных прямых участках пути заставлял Мишку бежать повеселей. Он не возражал. И вот поворачивая из Химпоселка на главную дорогу, на Юбилейную, я, пропустив машины, хлестнул Мишку, чтобы он не мешкал. Это бы ничего, я всякий раз его слегка подхлестывал, когда он дорогой слишком задумывался. Но в этот раз я еще и громко высказался в его адрес, как подобает старому опытному мастеру камчи. И в тех же примерно выражениях.

И тут вдруг задумчивый Мишка встал. Уже выйдя на перекресток, прямо посередине дороги. Мне бы, дураку, соскочить с арбы и подойти к нему, попробовать договориться, прощения попросить. Но я растерялся и в панике только нахлестывал упряма и орал на него.

Мишка ни с места. И только выражение лица обиженное. Я его толкаю вперед, назад — Мишка как вкопанный. Тут стали прохожие подходить и водители машин, которым мы с Мишкой мешаем проехать. Все со своими советами, все принимают горячее участие: одни тянут осла, другие лупцуют. Чувствуя, что скоро моего Мишку линчуют, я бегом припустился за хозяином, благо еще не очень далеко отъехали. Прибежали мы с ним обратно, хозяин о чем-то пошептался с Мишкой, потрепал его за ухом, и... Мишка пошел. Я быстро вскарабкался на арбу, а хозяин осла пошел обратно домой.

Вот так я получил наглядный урок об ослиной поговорке. И еще о том, что разговаривать со всеми надо уважительно. Даже с ослами. Не так, как мои друзья со мной разговаривают.

ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ

Прежде было, если человек выдающийся, то на его доме табличку вешали соответствующую. Так, мол, и так, в этом доме жил и творил такой-то титан. И дом своей табличкой бахвалился еще добрую сотню-другую лет. Теперь все иначе. Такие таблички не в ходу — не на доме, а только на могилке в пору списочек вывешивать, в каких домах жила покойник.

Это потому, что теперь здания долго не живут. Сколько я навидался в своей длинной жизни, как строилось здание на моих глазах, как в нем потом долго жили люди и как потом это здание сносили ввиду прихода в полную ветхость. А я за это время в ветхость не пришел, что говорит все-таки не столько об успехах медицины, сколько о качестве строительства. Да что там дома — города на моих глазах и памяти рождались, жили и умирали в страшных мучениях, придя в полную ничтожность. А еще, глядишь, и со странами такое кино досмотреть доведется.

Когда сестренка моя родилась, мне уже семь лет было. Взрослый, можно сказать, человек. И с новорожденной сестренкой наша семья переехала из глинобитной мазанки от бабушки с бабушкой в новенький бетонный четырехэтажный современный дом. Я тогда не знал, что эти дома были рассчитаны всего на двадцать лет, аккуратно до построения коммунизма. А если бы знал, то подивился бы, как надолго. Ведь двадцать лет для семилетнего человека — целая вечность. И коммунизма ждать замучаешься.

Через двадцать лет эти хрущобы, как потом их стали называть, предполагалось разрушить, а вместо них построить каждому советскому человеку достойное жилье в соответствии с его возросшими потребностями. Но тогда нам наши новые дома казались очень красивыми и торжеством нашей страны над другими, тем более что сравнить было не с чем — в других странах мы не бывали и твердо знали, что никогда не побываем.

Наш микрорайон красиво назывался вторым микрорайоном. Он же пока был и последним. А дом наш был предпоследним в микрорайоне и в городе. После последнего расстилались бесконечные для человеческого глаза холмы, служившие полигоном для нашего ближайшего соседа — танкового училища.

Танки очень пылили, и их пыль застилала глаза и меняла цвет всего в комнате. Мыть полы в новой квартире приходилось по два раза в день. Слава святителям, это был уже не паркет какой-нибудь буржуазный, а гладкий и дружелюбный пролетарский линолеум. Его легче было мыть.

Про аллергию мы тогда ничего не знали, поэтому с удовольствием дышали пыльным жарким воздухом.

Мой новый друг Саша жил в соседнем с нами последнем доме в городе. Мы с Сашей ходили по квартирам друг друга и щупали темечки наших новорожденных сестреночек — у них как раз тогда же прибавление в семье случилось.

Саня сказал, что у его сестренки темечко очень мягкое — надавишь, и палец проваливается. Действительно, я экспериментально убедился. У моей сестренки палец на темечке не проваливался, а приложить чуть больше усилий я Саше не позволил.

Саша очень гордился, что у его сестренки голова мягкая. Мы все время проводили вместе, а вечером приходил из танкового училища его пьяный отец-прапорщик и заставлял Саню читать вслух. Саня читал плохо, и тогда прапорщик протягивал книгу мне. Я, к сожалению, притворяться в детстве не умел и читал. Тогда прапорщик снимал ремень и начинал пороть Сашу.

А мама у Саши была хорошая. Она работала в Горгазе, ходила по домам и проверяла исправность газовых плит. Иногда она и нас с Сашкой брала с собой, чтобы мы не болтались без дела, и мы вместе ходили по незнакомым домам.

Я очень любил свою новорожденную сестренку. Потому что не знал, какая в будущем она станет вреднучая. Или не потому — просто любил. Никогда не пойму этой странной необъяснимости человеческой любви. Уже она и вредная стала, а я ее все равно продолжал любить. Пройдут годы, и моя сестренка будет нравиться противоположному полу, а я так и не смогу понять почему. Или мужики не видят, бедные, ослепленные ее внешним и внутренним великолепием, какая она вредная?

Удивительно, как много было тогда таких пар детишек в разных семьях, в семь лет разницы. У нас в подъезде, например, Гена и Галя Королевы были нашими с Альфией ровесниками. Когда мы с Геной учились во втором классе, сестреноч наших отдали в ясли, и каждое утро по дороге в школу мы несли их на закорках в свежестроенный через забор от нашей школы детсад. Кроме нашей школы и детсада, в наших микрорайонах было еще одно здание не из бетона, а из кирпича. Красивый такой был кинотеатр «Октябрь», куда каждое воскресенье на десятичасовой сеанс нас с сестренкой отправляли родители. Впрочем, его тоже уже давным-давно снесли, и некуда будет повесить табличку, что я здесь смотрел кино каждое воскресенье в течение многих лет.

Это нам уже по восемь лет с Генкой было. Иногда мы менялись наездниками. И мне почему-то очень хотелось в такой момент больно укунить Галю за руку, которой она цепко держала другую свою руку, обхватив меня за шею. Мне неприятны были ее спокойствие и какая-то раздражающая медленность, хотя я и сам не был очень холеричным. Но Галя уж очень спокойно реагировала на все, и это меня сильно бесило. И однажды я, таща ее на себе, таки укунул ее за руку. Разговаривать Галя еще не умела, а отпустить руку побоялась, чтобы не упасть, и только тихо заплакала.

Потом наши сестренки научились ходить и уже своими ножками шли в садик. По дороге, чтобы не скучать, мы с Генкой устраивали гладиаторские бои нашим сестренкам: заставляли их лупцевать друг друга. Девчонки дружили между собой и драться не хотели. Но отказаться было нельзя: в этом случае мы сами обещали их отлупить. Приходилось им драться. Потом проигравшая сторона — как правило, это была Галя — еще получала тумаков от брата. Чтобы знала, как плохо проигрывать! В общем, я считаю, что хорошее воспитание дал сестренке, подготовил ее к взрослой жизни.

Что касается Королевых, мы вообще немало урона этой безобидной семье нанесли. То Альфия остригла Галчонка чуть не наголо — они в парикмахерскую играли, то я банку топленого сала у них сожрал. Им с Украины родственники посылку прислали, и там была банка топленого сала. Генка решил меня угостить, пока родители на работе. Они вообще бедно жили — папа-алкоголик на каком-то заводе сварщиком рабо-

тал, а мама где-то медсестрой. С черным хлебом сало было волшебным лакомством! Банки едва хватило.

Через двадцать с небольшим лет я заехал зачем-то на несколько дней в Чирчик и пошел побродить по местам, где жил когда-то. Все еще было на месте, даже кино-театр «Октябрь» еще не снесли.

Вот и дом наш, убогий, полуразрушенный, который я видел когда-то новеньким и гордым. Нашел наш подъезд и постучался в квартиру на первом этаже. Нет, конечно, никого из прежних жителей, ну а вдруг? Дверь открыла сильно постаревшая тетя Света, мама Гены и Гали. Она меня сразу узнала почему-то, хотя за четверть века я сильно изменился:

— Марат!

Она ввела меня в квартиру, непрерывно рассказывая, что Коля умер, а дети уехали в Россию, в Волгоград. Но вот сегодня как раз Галчонок приехала на несколько дней маму поведать. И тут из другой комнаты выходит Галя, Галчонок. Я испугался — а вдруг она вспомнит, как я ее укусил когда-то. Но она, не сказав ни слова, кинулась мне на шею целоваться. Потом мы с ней выпили — тетя Света отказалась выпивать, сославшись на здоровье. Выпивку я с собой носил по городу на всякий случай — вдруг кого-нибудь встречу. Выпив, мы с Галчком вышли целоваться в подъезд и договорились встретиться завтра.

Наши сестренки начали разговаривать, и это было моим звездным часом. Я показывал Альфие рыбок в моем аквариуме, рассказывал ей, как их нужно содержать. Она ничего не понимала, просто радовалась разноцветью, тыкая пальчиком в стекло. Первый мой аквариум на сто двадцать литров моему папе на заводе сделали, а рыбок дал энергетик цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Тимур Ханович Ханов, потрясающий аквариумист.

Таких рыбок, как подарил мне Тимур Ханович, я больше никогда не видел. Если это группы были, то самцы еле волочили свои огромные хвосты, расцвеченные всеми красками нынешнего непотребства. Самки их были огромные, с чудовищных размеров пузами, сквозь которые просвечивали еще не родившиеся мальки.

И вот я учил едва начавшую разговаривать Альфию бизнесу. Хотя такого слова тогда у нас не было. Рассказывал ей, как надо выращивать валлиснерию, которую у меня оптом закупал чирчикский зоомагазин. Мою валлиснерию с лепестками до метра там особенно любили. Они у меня, десятилетнего, закупали эту валлиснерию по целых пять копеек за куст! Директор зоомагазина даже распорядился не закупать больше валлиснерию ни у кого, кроме меня. То есть я выходил уже в монополисты, как Генри Форд, но другие увлечения не позволили развить этот бизнес.

И где-то в это время я научил Альфию читать. После чего интерес к аквариуму она потеряла, и ничего-то путного из нее не выросло. Если не считать ее знакомства на коротке с английской королевой.

Интересно, она успела рассказать подружке, что наш кинотеатр «Октябрь» снесли и некуда теперь повесить табличку про нас?

ЯБЛОКИ НА СНЕГУ

Мама приехала попрощаться и все удивляется:

— Сыночек, зачем ты все помнишь? Почему ты помнишь, а я нет то, что было в Красноярске, когда тебе было три года? Почему Химпоселок в Чирчике ты помнишь, а мне

не верится, что такое могло быть? Почему ты напоминаешь мне имена людей, умерших шестьдесят лет назад, и знаешь, что они умерли в страшных мучениях. Я думала, что они просто умерли. Да зачем ты помнишь то, чего и не можешь помнить, потому что тебя тогда еще не было!

— «А я все помню, я был не пьяный...»

— Но мы же с тобой скоро уйдем, сыночек! Зачем твоя память так болит?

— Ну, зачем-зачем? Когда больно, не спрашивают зачем. Просто больно, и все.

Помню, года за три до моего рождения, шел из Красноярска длинный и медленный поезд в Москву. Там было много людей, возвращавшихся из ссылки. И остальные пассажиры смотрели на них с опаской и недоверием. Как так — вчерашние враги и шпионы вдруг теперь нормальные граждане? Да вряд ли...

Но одна добрая женщина решила угостить яблочком красивую черноглазую девочку из ссыльных. Девочка ехала на свободу и улыбалась так открыто и радостно.

Девочка надкусила яблочко, выплюнула его и отбросила. Она не знала, что, кроме вкуса картошки, бывают и другие вкусы.

Я знаю, как зовут эту девочку — Натела, а папу ее — Гиви. Но мне сейчас свой рассказик дописать надо. Через пять лет после того, как девочка оттуда уехала, я вместо нее приехал в Красноярский край. И было мне еще меньше лет, чем ей, когда она яблоко выплюнула. И я там, в отличие от этой девочки, как сыр в масле катался. Мои папа и мама серьезным делом занимались, и мы были обеспечены не хуже кремлевских небожителей.

Вот только яблоки зимой у нас в Красноярске часто морожеными бывали. А я их и полюбил именно такими! Купишь их, принесешь домой, а они через час оттают и станут такими мягкими, такими податливыми, такими любимыми — кожицу надкусишь и в мелкий надрез весь сок выпиваешь. А потом уже спокойно доедаешь кожу их, косточки и палочку, на которой они выросли. Я всегда яблоки целиком съедал, вместе с палочкой.

Меня быстро выдворили оттуда, где я любил мороженые яблоки. Туда нормальных людей ссылали, а вот любителя поедать гнилые яблоки с косточками и палочками сослали в Узбекистан.

А там в саду моего дедушки дивные яблоньки были. По осени он собирал их плоды любовно, заворачивал каждое яблочко в газетный листочек и укладывал их аккуратно в чемодан. Чтобы зимой любимому внуку по яблочку выдавать. Но это не то, конечно, что было в Красноярске.

Потом оказалось, что один месяц в году я должен проводить в больнице. И мне папа с мамой каждый день вкусностей приносили. И яблоки, конечно. Твердые, не мороженые, но что было делать? Я, лежа на кровати, все подбрасывал яблочко в потолок. Не яростно — чтобы оно в пюре не расплзлось на моем лице, а чтобы сок выпить можно через дырочку.

В больнице мне делали всякие больные уколы в глаза и в попу. Не знаю, чем они накололи мои доверчивые, как у колхозного буйвола, карие глазки, но видеть я стал очень хорошо. Правда, не вокруг себя, а назад, в прошлое. Наверное, очень больно было. Им. Мне. Нам.

Я и сейчас с охапкой пожухлых яблок стою на перроне у грустного вагона веселого поезда и жду, когда выйдут улыбчивая Натела, ничего не понимающая в яблоках, и ее папа, Гиви Михайлович Окуджава, уже все понявший и пытающийся простить.

Он стоит на подножке и на меня смотрит с надеждой, что я не прошу.

А я и не прощаю, батона Гиви. Спи спокойно, «брат беловолосый, стройный, добрый, молодой».

Я уже съел все яблочные косточки на земле, и яда их мне хватит до конца.

Жена моя покупает гордые своей красотой яблочки, а я люблю собирать пожившие уже, помягчевшие телом и потускневшие, как моя душа, и почерневшие, как моя память, фрукты.

ЦВЕТ ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ

В силу своей превосходящей всякие разумные размеры природной скромности все забываю рассказать, как обо мне лет двадцать назад в японской детской энциклопедии написали. Вообще-то, я не только рассказать забываю — о самом факте напрочь позабыл. А тут взялся перебирать книги — подрастающей младшенькой дочечке библиотеку составить — и мне эта энциклопедия японская возьми да попадись. Раскрыл я ее на нужной странице — все на месте, никуда не делось.

И после ожесточенной борьбы с одним из немногих своих недостатков — скромностью — решил сделать этот знаменательный факт всенародным достоянием, чтобы облегчить работу будущим биографам и библиографам.

Удовлетворенный сделанным, встал и прошелся по комнате, радостно похлопывая себя по бокам, как бы убеждаясь, что да, вот именно об этом представителе российского этноса решили поведать своим детям умные японцы.

Походив минут десять, вернулся к столу и задумался. Обнародовать-то обнародовал, но ведь не совсем правду написал. Точнее, неполную правду. И все из-за нее — сопротивляющейся еще недобитой скромности.

А полная правда состоит в том, что в той замечательной энциклопедии не про меня лишь одного написали, а про всю мою семью. И не просто написали, а посвятили моей семье две страницы — полный разворот — с биографическими подробностями и множеством цветных фотографий. И это все, что там было о России.

На этом можно было бы рассказ и закончить, но чувствую, что читатель мне не очень-то верит и будущие биографы и библиографы, глядишь, не удосужатся проверить этот факт, решив, что я в кои-то веки решил что-то придумать.

Поэтому я продолжу и обнародую все подробности, а подробности я придумывать не умею, это всякий знает. Я вообще ничего придумывать не умею — не наградил Бог талантом. Но может быть, для пишущего человека это и неплохо.

Сам я когда-то, еще до того, как попал в японскую энциклопедию, был страшный книголюб. Читал все, что под руку попадется. И все мне было интересно. Это потом я охладел к художественной литературе — перестал воспринимать сюжет. Прочту страницу, переверну ее и следующую начинаю как новое произведение, начисто забыв, что было на предыдущей. Окончательно разучившись читать, вынужден был начать писать, чтобы совсем не забыть буквы. А тогда, когда я еще был читателем, один только мой сумасшедший дядюшка превосходил меня по любви к печатному слову — он с упоением мог читать, скажем, школьный учебник физики или химии. Да ладно бы просто читать — прочитанное он потом подробно и безошибочно пересказывал.

В чем же тогда, спросите вы, было его сумасшествие? А этого разве мало? Я вот, будучи здравомыслящим, всякие учебники исключил из своего обихода еще задолго до окончания школы.

Но дядя Асхат отличался от нормальных людей не одним лишь запойным чтением учебников и специальной литературы, он еще совсем не ел хлеба. Понимаю, что это как раз, по мнению многих, не является признаком душевного заболевания.

ния, хотя я придерживаюсь другого мнения. К тому же он не просто не ел хлеба, а по убеждению. Дядюшка был убежден, что весь хлеб отравлен — яд специально добавляют прямо на хлебозаводах. Я уже ребенком был очень вдумчивым и любознательным, поэтому попробовал уяснить для себя систему его взглядов. На мой вопрос, почему же он ест все остальное, ведь никто не мешает добавить отраву во все продукты, он вполне резонно отвечал, что это сложно. Потому что разные люди едят разные продукты и травить все подряд слишком накладно. А хлеб едят практически все, поэтому достаточно яд подсыпать только в хлеб. Против этого мне нечего было возразить, а вопрос, зачем вообще нужно подсыпать яд, у меня почему-то не возникал — это казалось естественным и само собой разумеющимся. Другой особенностью дядюшки, из-за которой окружающие считали его нездоровым, были его больные ноги. Только попрошу не делать поспешных выводов о семейном безумии — я сейчас объясню. Дело в том, что дядюшка занимался самолечением. Чувствую — не убедил, а только укрепил в мысли о генном сбое в нашей семье, ибо самолечением у нас не занимается только мертвый. Но у дядюшки был весьма особый, не вполне обычный даже для самолечащихся рецепт: чтобы ноги не болели, он мазал их вареньем. Причем неважно каким — всякое годилось.

Написав это, я встал и снова прошелся по комнате, довольный, что болезнь дядюшки объяснил доходчиво и отвел от себя беспочвенные подозрения. Хотя подозреваю, что некоторые останутся думать, что мое место в психушке: собравшись рассказать про японскую энциклопедию, я умудрился съехать на измазанные вареньем ноги сумасшедшего дядюшки! Но ехидный читатель пробормочет, наверное, мне при встрече вполголоса, опасливо отводя глаза, что ничего, мол, это все где-то рядом. Ну, пусть тогда сумасшедшими японцев считает — я же не сам там про себя написал!

Нет, в следующий раз надо прежде чем писать, план составить. Я этого, правда, совсем не умею — в школе, когда объясняли, как составить план к сочинению, я как раз дописывал последнюю фразу самого сочинения. Да и лень. И вообще, как можно что-то планировать? Запланировал, скажем, человек в планетарий сходить, а вместо этого в вытрезвителе очутился. Все под Богом ходим...

Так, пора бы все-таки из вытрезвителя если не в японскую энциклопедию, так хоть в сумасшедший дом вернуться. В планетарий-то все равно не попасть.

Пока я тут путешествовал по разным интересным местам, понял, что варенье в качестве лекарства для больных ног тоже не может служить признаком сумасшествия моего дядюшки. Ведь миллионы моих соотечественников для этой же цели используют вместо варенья мочу, а некоторые даже не только к ногам ее прикладывают, но и пьют. Этих любителей мочи показывают на всю страну по главному телеканалу, чтобы они научили остальных, и никому в голову не приходит назвать их сумасшедшими. Хотя вряд ли кто-то будет спорить, что есть варенье куда приятней, чем пить мочу.

А по мне, так и ходить в церковь и просить исцеления у батюшки ничуть не эффективнее, чем использовать для этой цели варенье. И столь же безумно. Мне возразят, что молитва многим помогает. Ну, так и моему дядюшке варенье помогало.

Но его сочли сумасшедшим, хотя мочу он не пил. Он, правда, еще разговаривал своеобразно: негромко, медленно, с расстановкой. Но теперь-то после неоднократного общения с Беллой Ахатовной Ахмадулиной я понимаю, что это просто признак интеллигентности и большого ума. А тогда я этого не понимал, как не понимали и остальные жители поселка Химзавода.

К слову сказать, никакие из перечисленных особенностей моего дядюшки не были важны профессиональным психиатрам при вынесении диагноза. Для подтверждения

инвалидности раньше существовали (наверное, и теперь существуют) специальные комиссии, которые раз в два года вызывали больного, чтобы убедиться, что он за отчетный период не выздоровел и государственную пенсию проедает на законных основаниях. Причем неважно, по какой статье человек получил инвалидность, шизофрения у него или отсутствие конечностей — он все равно должен прийти и доказать, что не поумнел и руки-ноги у него не выросли. С безногими долго не разговаривали — посмотрят, что новая нога не выросла, и отпускают с миром. А вот инвалидов с конечностями экзаменовали серьезно. Каждый же хочет инвалидность получить, чтобы не работать. Так вот с моим дядюшкой у комиссии проблем не было. Двух минут общения хватало. Они задавали ему всего пару-тройку вопросов, причем не про отравленный хлеб или целебные свойства варенья.

Обычно диалог строился примерно так:

— На что жалуетесь, больной? Что болит?

Больной после минутной паузы с удивлением отвечает:

— Почему болит? Не болит...

— Зачем же вы сюда пришли?

— Венера привела! — с укоризной показывает больной на свою двоюродную сестру, мою маму.

— Значит, вы можете работать?

— Могу.

— Все, вы свободны, — не сговариваясь, решала комиссия и продлевала дядюшке инвалидность.

Пора и нам, пожалуй, закончить этот экзамен и перейти к заявленной теме.

Ах да! Япония, страна сакуры, хокку и детских энциклопедий.

Было это на излете второго тысячелетия. На этом излете я познакомился и быстро подружился с литературоведом и звукоархивистом Львом Шиловым. Нас объединила безумная (опять безумная!) идея создания музея. И вот как-то приезжает в Москву из Японии сотрудник тамошней телерадиокомпании NHK и большой друг Шилова русистка Хироко Кодзима. А раз Шилов мой друг, значит, и Хироко стала моим другом. Потрясающей эрудиции женщина, она и мне на многое глаза открыла. Да что мне — рядом со мной немудрено умным прослыть — она по своей эрудированности в области русской культуры заткнет за пояс многих профессоров российской гуманитарной академии! И что мне было особенно близко — она первой переводила на японский стихи Булата, еще в 1972 году. Очень тронула она меня, когда плакала в домишке в Переделкине, где совсем недавно жил Булат Окуджава и вещи на столе, казалось, еще хранили тепло его рук.

Хироко часто приезжала в Москву в командировку с кучей заданий от разных изданий и компаний. Я ей как-то помогал, и мы ездили с ней по разным городам, музеям и усадьбам, где она рассказывала мне много интересного об объектах ее интереса, будь это усадьба Блока или Чехова. Или в гости к кому-нибудь хаживали — к Юрию Норштейну, например, или к Эдуарду Успенскому.

Я так много времени проводил с Хироко, что думаю, во мне могли бы заподозрить японского шпиона. А может, еще и объявят — времена быстро меняются.

Иногда она приезжала с мужем-фотографом. И вот как-то они приехали вместе, и одной из целей командировки у них было сделать материал о простой, типичной русской семье. Для детской энциклопедии, в качестве статьи о России.

Со всеми другими их задачами мы как-то справились, загвоздка оставалась лишь с типичной русской семьей. И сколько мы ни бились, найти достаточно типичную,

да еще и русскую семью нам не удавалось. Найдем какую-нибудь русскую, так она нетипичной окажется, или вот, казалось бы, самая типичная-растипичная попадется — ан нет, не русская она. Уже заканчивалось время их командировки, а мы все искали, рыскали по переделкинскому поселку, пока наконец Шилов не вперил в меня пытливый взгляд.

— Кажется, я нашел... — задумчиво пробормотал он, и японцы, проследив за его взглядом, радостно захлопали в ладоши.

— Как же я сама не догадалась! — защелкала счастливая Хироко.

— Вы чего, ребята?! — забеспокоился я.

Я попытался объяснить, что мою семью, лишь сильно опившись sake, можно называть «типичной русской семьей», что это будет подлог и обман бедных японских детей, у которых сложится совсем неправильное представление о России. Но никто даже слышать не хотел моих возражений.

Весь следующий день мы посвятили фотосессии — снимали моих многочисленных домочадцев дома, во дворе, на даче, куда специально всех вывезли. Снимали мою машину «Волга», последний из отечественных автомобилей, который я сумел себе позволить в этой жизни. «Волга» и тогда не была типичной машиной типичной русской семьи, а всего лишь за несколько лет до этого частная «Волга» была чем-то вроде частного самолета сейчас. Исключение составляли люди, которые работали за границей и в «Березке» по чекам могли купить себе «Волгу». «Березка» — это такой магазин специальный был, где все продавали на чеки, а чеки — это такие специальные деньги, которые простым смертным иметь запрещалось. Кроме работавших за границей посольских работников и прочих специалистов, «Волгу» себе могли позволить еще академики. Ну и торговцы фруктами на рынке, конечно, куда мы, кстати, по дороге на дачу заехали с японцами, и там они снимали моих детей, пробующих немые фрукты.

В этот день я так вжился в образ, что стал чувствовать себя самым типичным представителем русского народа. Вот так я и попал в японскую энциклопедию. Не только я, а и мои жена, дети, тесть с тещей, соседи и собака.

Теперь, когда энциклопедия нашлась, я ее положу где-нибудь рядом с моим рабочим столом, чтобы иногда оживлять в памяти образы типичных русских. Текст, который сопровождает фотографии, мне недоступен, но, зная Хироко, уверен, что ничего плохого она не написала.

ЛЮБОВЬ ЗЛА

Бабушек у меня, как у любого нормального человека, было только две. Но в отличие от нормального внука, обе они были аномальные какие-то. Одна очень толстая и потому очень медлительная. Как динозавр в фильме «Миллион лет до нашей эры». Другая, наоборот, худая была, как Кощей Бессмертный. И очень быстрая. Она бежала по городу, как голодный гепард, успевая за день сделать несколько кругов. С такими бабушками мне ничего не оставалось, как стать совершеннейшим психом, благополучно переняв свойства характера обеих.

Пока одна думала, улыбнуться ли ей случайному прохожему или сразу на чай его позвать, а там, глядишь, и одарить его каким-нибудь старым тряпьем из кладовки, другая успевала весь город обежать и всех облаять.

Их невозможно было называть одинаково, поэтому одну я звал бабулей, а другую бабусей. Естественно, они друг друга терпеть не могли, хотя виделись, по-моему, всего лишь однажды.

На тридцатилетии моего папы виделись, которое произошло в саду у толстой бабушки. Зятя теща как раз очень любила, и к его приходу у нее всегда было припасено секретное в глубоких закромах старого серванта. И конечно, она с удовольствием проводила его тридцатилетие у себя в доме.

Эта первая и единственная встреча моих бабушек не прошла бесследно для нашей семьи, потому что под конец вечера они таки подрались. Да и как могло быть иначе, ведь они такие разные. Самой драки я не помню, мне было всего три года.

Все, все у них было по-разному, единственно общей была только любовь к внуку, а он, по капризу природы, случился у них один на двоих. Нет, были у них и другие внуки, но самый любимый, до беззаветности, только один. Надеюсь, умный читатель поймет, о каком внуке речь.

Сам-то я до сих пор не могу понять их выбора — ни при их жизни, ни после я не давал повода, чтобы меня любить. Не в пример другим их многочисленным внукам, я бывал дерзок и язвителен. Но правильно говорит народная мудрость: любовь зла, полюбишь и козла.

А может быть, они меня жалели больше других внуков, потому что я вижу плохо? Не знаю теперь.

Я уже рассказывал как-то, как с худой бабушкой мы любили тишину слушать, а теперь вспомнилось, как толстая бабушка меня к бизнесу приобщала.

Сама она очень предприимчивая была — на пенсию-то не проживешь. Зацветет сирень во дворе — она уже продает букеты на автобусной остановке. Поспеи яблоки — она пастилу крутит. Ничего не поспело — она на барахолке всяким хламом торгует.

Пастилу она делала в сезон, а потом весь год продавала возле школы. Не знаю, как правильно назвать ее продукт, но она называла это пастилой и делала ее так: собирала в своем саду фрукты, варила из них пюре, без сахара, без ничего больше. Это пюре она размазывала тонким слоем по противням, по доскам разным иставляла на солнце, пока не высохнет. Готовая продукция напоминала рубероид, только не черного, а красного, оранжевого, желтого цвета — в зависимости от цвета фрукта. И подобно рубероиду она сматывала свои лакомства в рулоны и куда-то прятала на хранение. Потом по мере необходимости доставала, ножницами резала на кусочки и шла на бойкое место, к школе или к магазину, продавать. Брала с собой раскладной стульчик, столик, куда выкладывала свое богатство.

Дети очень любили ее пастилу, и бизнес ее процветал бы, но часто у ребенка не было денег, а пастилы очень хотелось, и он стоял, не отходил, любуясь ее ассортиментом. Тогда бабуся давала ему пластинку пастилы бесплатно, приговаривая, что ничего, мол, завтра принесешь пять копеек, если будут.

Вот и меня бабуся, когда жил у нее, приобщила к наживе. Иди, говорит, внучок, собери ведро вишни, на лимонад заработаешь. Я тогда еще в школе не учился, но в лимонаде толк знал. Он разный бывал по вкусу и по цене, самый дешевый по семнадцать копеек за бутылку с учетом, что сама пустая бутылка стоила двенадцать копеек, которые можно было выручить обратно, выпив лимонад.

Соберешь ведро вишни, вынесешь на большак, продашь за три рубля и на обратном пути покупаешь бутылку лимонада.

Хотя тоже, конечно, непростое дело — пол-литровую стеклянную банку надо на шее приспособить на веревочке и ползать по дереву, пока не наполнишь. А вишня — это не арбузы и даже не грецкие орехи, поди наполни! Если только не думать в это время о чем-нибудь приятном. О лимонаде, например. А наполнил баночку — надо спускаться на землю и от приятных мыслей тоже вниз, чтобы пересыпать баночку в ведро.

А в ведре при этом вишни, кажется, совсем, не прибавляется, что тоже не способствует приятным мыслям. И так полдня — вверх-вниз, вверх-вниз, как панда какая-нибудь ненормальная, а вишни в ведре не прибавляется. Панда, оказывается, «может лазать по деревьям и спать на ветках, но обычно не делает этого».

Однако все кончается, даже место в ведре. Зато какое счастье обратный путь после удачного гешефта — идешь себе, ведром помахиваешь, в котором позвякивает бутылка с лимонадом.

А еще ведь и разные другие радости случались! Однажды я вообще чуть ли не в лотерею выиграл — прихожу домой с ведром и бутылкой, открываю последнюю, а там вместо лимонада какая-то гадость. Бабушка тоже решила попробовать, но горечи моей не разделила. Оказывается, там вместо лимонада оказался вермут за один рубль две копейки со стоимостью посуды! А бабушка моя была ценительницей крепленых вин. Как и все остальные обитатели нашего Химпоселка, за исключением одного лишь моего дедушки, который вместо дела читал Коран.

Сунула бабуся мне в руку монеток на две бутылки и обратно отправила в магазин за лимонадом — вдруг там опять перепутают. Тогда такие путаницы иногда случались: бутылки были одинаковые, а этикетки часто отклеивались. Но нет, два раза в одну лотерею не выиграешь.

Помню последние встречи с моими ненормальными бабушками, у которых я трюдолюбиво перенял все их ненормальности.

К одной я специально приехал из Москвы на один день, чтобы проститься. Ее дочка Вилия, которая, повзрослев, вдруг решила, что ее зовут Валентина, позвонила в Москву, чтобы сказать, что бабушка уже никого не узнает, даже ее. И мы с моим папой тут же прилетели.

Моя худая бабушка превратилась в мумию. Веса в ней было теперь, может быть, килограммов пятнадцать. Глубоко запавшие в открытый рот губы не шевелились. Обесцвечившиеся глаза смотрели в никуда. Мой папа присел к ней и взял ее за ледяную руку. А она никак не обозначила, что она жива и рада видеть своего старшенького. Никак. Бывшая Вилия сказала, что мама уже второй день даже воды не пьет и невозможно понять, жива она еще или уже нет.

Папа попрощался с мамой, и на краешек кровати присел я. Ее глаза оставались устремленными куда-то за потолок. Она меня не видела. Я взял ее руку и погладил. И вдруг она ожила, затрепетала, а из рта ее послышался какой-то клекот. И ее мертвая рука вдруг ожила — она крепко сжала мою. Ее двое единственных из не умерших в детстве четверых деток стояли и не верили своим глазам. Бабуля показала признаки жизни и, не выпуская мою руку, что-то клекотала, что-то хотела сказать. А я ей говорил, чтобы она не беспокоилась — я все слышу, все понимаю. Понимаю, что она хочет сказать. Врал, конечно. Что она хотела мне сказать?

Сейчас вспоминаю, как она, прижав к себе меня совсем маленького, в нашей общей постели шепотом рассказывала мне сказки. Шепотом, чтобы никто не услышал. Вдруг что-то не так скажет или соседям покажется, что не так сказала?

Смерти толстой бабушки я не увидел. Она умерла в одночасье. Помню только, как я приехал из Москвы на побывку, мы сидим у нее во дворе под виноградником, она держит меня за руку и улыбается. Улыбается, а по лицу ее бегут слезы. Она собирается что-то сказать, но не успевает. Она очень медленная, а мне ведь завтра уже на самолет.

ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ

Петру Трубецкому

За окном унылый летний дождик моросит, и за вечерним чаем бабушка с дедушкой внучке сказки рассказывают, каких она никогда раньше не слыживала, да и не услышит больше никогда. Бабушка говорит монотонным, неинтересным голосом, удивленно вертя в руках непонятно откуда взявшийся сырник. Забыла, что сама же их и испекла полчаса назад.

— Когда война началась и отца забрали на фронт, нам очень голодно стало. Мне было шесть лет, и мы с мамой и сестренкой четырехлетней пошли на поле колхозное, чтобы после уборки поля колоски и зернышки собирать, те, что не попали в комбайн. Эту сказку я никогда не рассказывала, потому что мне стыдно очень. Но тебе, деточка, я расскажу.

Действительно, почему ж не рассказать восьмимесячному ребенку, который ничего еще не понимает, даже о слове «мама» подозревает только. Он улыбкой своей неизменной ищет любви и понимания у бабушки с дедушкой, за что те свою восьмимесячную внучку очень любят. И бабушка от внученьки ничего не скрывает — поет и поет свою песню, как тот брадобрей.

Дедушка, правда, сегодня не в форме: сидит безучастно, и его недавно обритая голова с седым мальчишеским бобриком устало клонится набок, и глаза его, раньше всегда смеявшиеся, сегодня закрыты. Так что и не поймешь даже, смеются они сейчас или нет. Хотя... Смеются они, конечно, смеются. Дедушкины глаза не могут не смеяться, это даже восьмимесячный ребенок знает!

Бабушка монотонно и без эмоций продолжает исповедоваться восьмимесячному младенцу. А та — благодарный слушатель, улыбается любым словам бабушки.

— Вдруг налетел колхозный сторож с камчой. Я так испугалась, что совершила подлость, за которую мне и сейчас стыдно. И мне стыдно, что этот случай я в воспоминаниях своих опустила. Но тебе, внученька, я все расскажу! Я сказала сторожу, что это мальчик, с которым мы собирали колоски, меня подбил на это. А на самом деле было наоборот. Ему, как и мне, было шесть лет, но он был очень болен, внученька: у него была астма. И он был единственный ребенок у мамы. А у меня еще сестренка была...

Тут бабушка вдруг скривила лицо и запела. Ее внученька тоже любит петь в полный голос, но бабушкина песня ей сейчас не понравилась. И она тоже скривила лицо и заплакала. Тихо, плачем обиженной женщины.

Тут все спохватились: мама кинулась чайник греть, а бабушка вдруг заулыбалась лучезарной улыбкой. И даже дедушка приоткрыл измученные добрые глаза и погрозил бабушке пальцем.

Он сегодня первый день не вышел в свой любимый огород поработать. Еще вчера он выходил и внученьку с собой нес, чтобы похвастаться огородом. И она его очень одобряла. Да и как тут не одобришь — дедушка ее был не только в Подмоскovie выдающимся садоводом-огородником, но и в Узбекистане когда-то. Узбеки его так уважали, что приглашали на большие тои плов приготовить. При этом он занимал высокую должность главного энергетика главного узбекского предприятия. И коттедж его государственный умопомрачительный находился в самом центре города, в минуте ходьбы от площади Ленина. И в центре города многие, кто заставал пятичасовое утро, наблюдали с открытыми ртами, как один из главных людей города выпасает корову, еще без галстука, в кирзовых сапогах. И все узбеки, от пастуха до министра, не-

зависимо от возраста, звали дедушку восьмимесячной улыбчивой девочки не по имени и не по отчеству даже, а Рустам-акя. В переводе на русский это означает дядя Рустам.

Только Председатель Совета Министров Узбекистана называл дедушку на «ты». Потому что они студентами еще дружили, а годы спустя в соседних коттеджах жили. А еще мне помнится, как отец восьмимесячной внучки Рустама дочурку Гайрата на мотоцикле катал.

Рустам-акя снова прикрыл глаза, чтобы никто не видел, как тяжело ему умирается. А бабушка решила вспомнить что-нибудь повеселее из своего детства. Оказывается, колоски на колхозном поле они недолго собирали — мама заболела тифом. Что неудивительно, ведь воду они пили из арыка. Забегая очень сильно вперед, должен сказать, что неграмотные они были тогда, — я, например, в своем детстве воду из арыка пил не иначе как профильтровав через материю своих трусов.

Бабушка рассказывает, как мама их вела домой после работы. А четырехлетняя Фируза все плачет: зуб у нее болит. Ну и зашли по пути домой к врачу. Мама пошла с ребенком в кабинет, а сумку свою стеречь старшей оставила, шестилетней. Ну, шестилетними почти все из нас бывали — поет, пляшет, сумкой крутит будущая бабушка восьмимесячной улыбчивой внучки.

А в сумке возьми что-то да и разбейся. И потекло из нее. Оказывается, в сумку мама свой недоеденный обед положила — тушеную капусту. Она работала в детском саду, и там весь персонал кормили так же, как и детей коммунистического будущего. А мама свой обед решила для своих детей сберечь.

Ну разбила и разбила. Подумаешь — тушеная капуста! Но моя бабушка пришла в совершенное бешенство. Она бегом доволокла своих дочек до дому, нашла где-то жгут алюминиевой проволоки и принялась нещадно этим жгутом охаживать будущую бабушку. Она кричала:

— Ты хочешь, чтобы меня посадили, да?! Ты хочешь, чтобы меня посадили?!

Еле-еле ее соседки оттащили...

А дедушкина уставшая голова совсем безжизненно упала на грудь, и дальше бабушкиного рассказа он не слышал. И только рука его, лежащая на столе, продолжала держать чашку вечернего чая.

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Ольге Гусевой

1

В тот раз жена давила меня таки, уломала.

Из года в год все одно и то же — чуть осень на порог: поедем да поедем на Новый год в Лапландию живого Санта-Клауса детям показать. Я вначале пытался ход ее мыслей в правильное русло вернуть — дескать, не для того мы из московских холодов на Кипр уезжали, чтобы теперь искать сомнительных развлечений за полярным кругом. А она парирует, что нельзя же все время в невыносимой жаре сидеть, надо для разнообразия и в холода иногда съездить. Опять же младшенькая наша, родившаяся на Кипре, совсем снега не видела. Я ей на обидный эпитет «невыносимая» возражаю, что ошпаренных по статистике меньше, чем обмороженных, и что в гробу я видел такое разнообразие, и что не просто же так преступников в Сибирь ссылали, а не в Сочи.

Ну не люблю я зиму! На Кипре еще ничего, ее как-то можно терпеть. В конце концов, если уж очень приспичит, здесь можно в горы съездить снег посмотреть.

А в Москве я тридцать лет прожил, да так и не сумел привыкнуть. Особенно зимы меня угнетали. И чем дальше, тем больше. Вначале-то я еще и на лыжах бегал, и вообще мог по улицам гулять. Но постепенно не только лыжи забыл — старался зимой лишний раз из дому не выходить. Это же не только холодно, а еще сыкотно, скользко и темно. Темень особенно неприятна. Мне кажется, что в зимней Москве даже днем темно, а много ли там этого дня? Только-только заутрело, тут и обед уже, а после обеда сразу опять ночь настает.

А как можно забыть про страдания автомобилистов? Тогда автомобили у нас были не то что нынче, и, оставляя машину на ночь, нужно было с собой домой аккумулятор забирать, если хочешь утром завести машину. И еще горячей воды из дома надо было утром прихватить, чтобы немного отогреть двигатель, и лопату, чтобы машину откопать (тогда и зимы были не то что нынче). Я уж не говорю про стеклоочистители или в просторечье «дворники», которые тоже нужно было каждый раз с собой домой забирать, а то наутро их не будет. Многие и не ставили их вовсе, эти «дворники», держали их в бардачке на случай крайней необходимости, а на поводки надевали кулочки резинового шланга, чтобы стекло не царапалось.

А однажды я даже серьезно пострадал из-за этой проклятушей зимы. Это уже в конце моего студенчества было, когда я, учась в дневном институте, умудрялся еще и работать в двух-трех местах одновременно. И вот как-то возвращаясь после института или работы, я поскользнулся на гололедице прямо возле метро и неудачно плюхнулся на лодыжку подвернувшейся своей правой ноги. Боль нестерпимая, идти не могу. Хорошо, что до дому минут пять пути, доскакал как-то на одной ноге. Наутро нога распухла так, что ни в какую обувь не помещалась, и меня на машине отвезли в ближайший травмпункт. Там веселый или навеселе доктор осмотрел ногу и с шутками и прибаутками отправил меня на рентген. Получив снимок, он, не переставая веселиться, обозвал меня симулянтом и велел идти домой. Оказывается, перелома нет, только растяжение.

Через несколько дней опухоль спала, нога уже практически не болела. И в выходной я поехал с тестем на дачу. Электричкой поехали: зимой тесть свою машину из гаража не доставал, а я свою еще не купил. Прямого поезда до нужной нам станции не оказалось, и мы сели в ближайший, чтобы дожидаться своего уже на полпути. Выйдя на промежуточной станции, я от нечего делать решил прогуляться до газетного киоска. И тут чрезмерная любознательность, как это часто со мною бывает, меня подвела. Я поскользнулся и упал на ту же лодыжку, что и несколькими днями ранее. Она еще даже не совсем перестала болеть. С огромным трудом и не сразу я поднялся и, преодолевая адскую боль, повлекся назад на платформу, стараясь не симулировать и наступать на больную ногу. Не симулировать удавалось плохо, и двое прохожих дотащили меня, закинув себе на плечи мои руки.

Я, смущаясь, что подвел, сказал тестю, что, пожалуй, дальше я с ним не поеду, а вернусь-ка я лучше домой. Он не возражал. Кое-как я добрался до дому — спасибо сердобольным соотечественникам — и снова попросил соседа свозить меня в травмпункт. Хоть и стыдно было беспокоить эскулапов по пустякам, но очень уж нога болела.

Там дежурил уже знакомый мне постоянно веселый или навеселе травматолог. Он меня узнал и радостно поприветствовал:

— А-а-а, снова симулянт пожаловал!

Но не выгнал сразу, а, осмотрев ногу, опять отправил на рентген. На сей раз результат его порадовал — изучив снимок, он с удовлетворением похвалил меня:

— Молодец! На этот раз хорошо постарался!

Он пригласил меня порадоваться вместе с ним и показал на снимке, что лодыжка моя разбита теперь вдребезги. Доктор поинтересовался еще, чего это я, дурак такой, из Подмоскovie с этой ногой своим ходом добирался, а сразу не вызвал «скорую».

— Да неловко как-то было, вдруг опять ничего серьезного... Неудобно пустяками людей отвлекать! — промямлил я.

Он посмотрел на меня внимательно и спросил, не стукнулся ли я еще и головой при последнем падении? Я его радости разделить не мог, хоть и пытался, а он не мог понять, почему я такой скучный, похожий на ушибленного на голову, и не хочу веселиться вместе с ним.

Следующие три месяца я провел на костылях.

2

Все это хоть и не имеет никакого касательства к поездке в Лапландию, о которой я собирался поведать, но, возможно, как-то объясняет одну из причин, по которой я не люблю зиму.

Итак, в этот раз мне отвертеться не удалось. Тем более что теперь жена моя для верности еще и соседей на помощь привлекла. В том смысле, что и они тоже едут. Не понимаю, им-то зачем это надо было — они уже были там в прошлый Новый год, — но допускаю, чтобы мне досадить.

И не успел я оглянуться, как соседushка мой еще в начале октября уже нам домики зарезервировал за полярным, будь он неладен, кругом и автомобили зарентакарил. Отступать было некуда, пришлось ехать. В самом конце декабря вместо того, чтобы собирать урожай кумкватов и помело, я отправился в Хельсинки, да еще с пересадкой в Мюнхене. Как это все мучительно! Вот правильно же говорят: всему свое время. Когда-то был я молодым — мне за счастье бы любое путешествие! Но тогда не было никаких, разве что в соседний кишлак. А теперь езжай куда хочешь, а уже не хочется. Все не вовремя.

Глубокой ночью прибыли в Хельсинки, в аэропорту нашли свой автомобиль и поехали. У нас промежуточная точка ночевки была забронирована — коттедж в шести-семи километрах от Хельсинки. Там мы должны были дожидаться своих соседей, прилетающих завтра из Амстердама.

При выезде из столицы термометр в машине показывал восемь градусов мороза снаружи, что плохо, конечно, но терпеть можно. Но чем дальше мы продвигались на север, тем цифры на приборном щитке становились все тревожнее и тревожнее, пока не достигли тридцати двух градусов, причем со знаком минус, если кто забыл. И я совсем загрустил, вспоминая, как прозорлив я был, несколько лет уклоняясь от этого путешествия. Почему-то вспомнился старый анекдот про попугая, который на советскую власть вслух очень ругался, и хозяин его на пару часиков в холодильник запер. А потом, вынув почти окоченевшую птичку, спросил ласково:

— Ну что, сволочь, понял теперь, чем Сибирь пахнет?

Не знаю, понял ли попугай, но я, вспомнив анекдот, и Сибирь вспомнил, и то, как она пахнет. Дело в том, что я там когда-то жил. В самой что ни на есть сибирской Сибири.

Было мне тогда года четыре или пять. И жил я с родителями в глухой тайге в нескольких сотнях километров от Красноярска. Городок наш был, видимо, очень небольшой, потому что тайга начиналась прямо при выходе из подъезда нашего дома. И вот там снег был такой, какой я увидел в сердце Финляндии, — ослепительно-бе-

лый, чистый и честный. Никогда я потом такого чистого снега до Финляндии не видел ни в Москве, ни еще где бы то ни было. Все было белым вокруг моего подъезда и чистым, и лишь черные деревья чуть поодаль убредали в глухую тайгу, чтобы еще сильнее обнажить ту белизну вокруг, что так слепила глаза.

И вспомнив ту красноярскую тайгу, я понял, почему Булат Окуджава написал когда-то: *Там так же полыхают густые краски зим*. Раньше-то я думал, что это для красного словца как-то или для ритма — ведь летние краски намного богаче зимних. Но нет, летние богаче, действительно, у зимы их всего две, но какие же они густые!

Утром везет меня мама на саночках в детский сад, а я упрашиваю ее не наступать на еще никем не тронутый снежок — он такой ровный, гладкий, воздушный! Как он искрится в солнечных лучах, пробивающихся сквозь мощные кроны сосен и елей! Такую красоту, такую ровность и гармонию нельзя попить ногами. Мама уговаривает меня: снег только выпал, и если мы не будем топтать его, мы и вовсе от подъезда не отойдем. Хорошо, соглашаюсь я, но ты иди тогда по следам того, кто прошел уже до нас, чтобы не испортить остального снега.

3

Ехать по незнакомой стране поздней ночью за рулем после длительного перелета было тяжело. Прочитать, что написано на указателях, невозможно, даже если остановиться у щита и несколько минут шевелить губами, рискуя их вывихнуть. Очень уж эти финны себе язык особый придумали, без полбанки нет никакой возможности разобраться. Хорошо, хоть навигатор у меня с собой был, да и машины нынче не те, что прежде.

Время от времени я выскакивал из машины покурить, чтобы не заснуть. Несмотря на зимнюю экипировку, купленную мне перед поездкой, я понимал, что при такой температуре я в Финляндии недолго протяну, ну один-два раза выйду покурить еще — и все!

Наконец добрались до места промежуточного пристанища, но это уже утро было, что-то около девяти. Как раз и мороз ослаб до двадцати восьми. Управляющий открыл нам хорошо протопленный коттедж, показал, как пользоваться камином и сауной, и ушел праздновать Рождество. А я, вместо того чтобы тут же броситься в зовущее лono постели, кинулся обратно в машину — искать супермаркет. Надо же было купить чего-то, пока они все праздновать не ушли.

В супермаркете я обнаружил вопиющее отсутствие отдела винно-водочных изделий. Был, правда, довольно большой ассортимент пива, но крепостью исключительно до 4,7 градусов. А цена на пиво, надо заметить, чуть ли не зашкаливала за эти цифры. Нет, правды ради надо упомянуть, что и вина там были, и даже такие, что у нас принято называть шампанскими. Но достоинства их были еще ниже, чем пива — от нуля до двух градусов. Это мне показалось уже просто безнравственным, и я поспешил покинуть этот отдел, бормоча проклятия в адрес неразумных чухонцев.

На кассе возмущенному туристу объяснили, что настоящее спиртное у них в Финляндии продается в специальных, закрытых и огороженных от нормальных людей отделах, и мне нужно поспешить именно туда, пока они не закрылись. «Совсем так же, как свинину в Эмиратах, продают, сволочи», — думал я на бегу к вожделенному отделу. Но я не успел: по случаю Рождества отдел работал только до двенадцати дня.

Пришлось возвращаться и набивать телегу разным 4,7-градусным пивом, чтобы было чем скрасить долгожданную дорогу до постели и рождественскую ночь.

4

...Мама отвозила меня в садик на саночках ранним-ранним утром, а потом они с папой садились на поезд, и он увозил их куда-то еще дальше нашего красносельского Красноярска, причем куда-то под землю. Названия нашего городка я не помню, наверное, его и не было вовсе, но где-то в глубинах почти высохшего колодца моей памяти мерцают слова «Девятка» и «Красноярск-26». Видимо, одним из этих и был наш городок, а может, и обоими сразу.

Родители возвращались с работы очень рано, уже в два часа дня поезд выбрасывал их снова в городок. Они обедали в ресторане, забирали меня из садика, и мы шли гулять. И все в городе нам улыбались. И все нам везде давали бесплатно. И что это были за вкусности! Я прожил длинную жизнь в Советском Союзе, но ничего подобного больше не видел. И потом, когда увидел другие страны, все равно ничего из того, что было у нас, больше не встретил. Это был коммунизм, там, где мы жили. Или рай, в котором надеются оказаться те, кого не удалось соблазнить коммунизмом. Вся невероятная зарплата жителей городка шла им на сберкнижку, а повседневная жизнь обеспечивалась специально выдаваемыми талонами. Ими можно было расплачиваться везде, даже в парикмахерской.

А потом у меня вдруг резко стало падать зрение. Или нерезко, но родители совершенно случайно заметили, что я плохо вижу. Я даже помню этот момент, как я из нормального человека вдруг превратился в очкарика. Сидим мы однажды вечером дома с папой и мамой, и папе вдруг вздумалось научить меня пользоваться часами. Спрашивает он меня про стрелки висящих на стене часов, а я, оказывается, и сами часы-то с трудом различаю. Повели меня в поликлинику, а там и говорят, чтобы увозили сына отсюда поскорее.

И отправили меня тогда к бабушке в Узбекистан.

5

Утром погода смиростивилась: было всего около двадцати градусов. А днем приехали наши кипрские соседи, мы допили с ними пиво и завтра готовы были продолжить путь уже вместе.

Оставшиеся до места назначения триста километров мы преодолели быстро. На месте нам выдали по домику на семью и повезли на снегоходе кормить оленей. И хотя мороз совсем ослаб, градусов до десяти, я чувствовал себя очень неуютно, обдуваемый в лицо на большой скорости колючим снегом.

Олени, конечно, были очень славные, не скажу такого про своего соседа, из вредности загнавшего меня сюда. Завтра была запланирована поездка на собаках, от которой я категорически отказался заочневшими и онемевшими губами. Потом я еще один раз свозил семью к Санта-Клаусу за сто шестьдесят километров от нашего стойбища и впредь отказался выходить из коттеджика. Ну, если только до магазина.

А детишки мои и супружница веселились от души! На лыжах и санках катались, снежками кидались, сосульки грызли и пугали меня бенгальскими огнями. Особенно в новогоднюю ночь они все с ума посходили. Сосед мой купил где-то арсенал небольшой, но гордой страны и устроил фейерверк в финском небе, пугая старых и мудрых оленей, и меня, и собак ездовых, тоже превосходящих по мудрости моего соседа и оттого мне близких.

И мы хоть и жались в сторонке, но тоже были счастливы. Счастливы глядеть на них, молодых, хохочущих и грызущих сосульки и пускающих в небо снопы огня. Мудрые олени, правда, беспокойно поводили рогами, а ездовые собаки в мелкой дрожи лънули к моим больным и нуждающимся в их тепле ногам.

Но это не мешало нам радоваться и скулить от радости, что мы видим такое счастье. И сейчас не мешает, если что.

ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ЕВРОПАМ

Святославу Гусеву

1

С друзьями мне необыкновенно повезло.

Сами мы не местные, поэтому смотрим на этот мир глупыми и дружелюбными глазками щеночка породы бигль.

Смотреть-то не на что, конечно, а у меня еще, как по заказу, глазки биглевые для чего угодно приспособлены — ну, там капли закапывать или очки носить — только не чтобы видеть. А еще я мечусь по глобусу, как щеночек мечется по комнате в поисках сахарной косточки.

Но друзья меня любят и таким почему-то. И ладно бы какие-нибудь там обычные друзья, но у меня все очень талантливые и где-то даже особо одаренные.

Неделю назад звонит мне один из самых любимых моих друзей. Он из разряда особо одаренных, хоть и живет, будучи гражданином Кипра, в Германии, а работает в Люксембурге топовым менеджером. С соответствующим жалованьем и уважением в самолете. Сам же при этом русский.

Но не перечисленное только, даже то, что он русский, говорит о его безграничной талантливости. Он еще и замечательный философ, поэт и прозаик. И это далеко не все, в чем он замечателен. Что меня особенно радует — он не старый еще. Если бы я вовремя начал половую жизнь, он мог бы быть моим сыном.

И вот он звонит мне из своей Германии и говорит, что в своем кипрском доме кое-что забыл и не мог бы ты, дружище, мне это привезти?

— Дык как же, — растерялся я, — так неожиданно... А на когда билет-то брать?

— Да билет я тебе уже взял, на завтра. Квартиру подмел, портрет Марка Кнопфлера в твоей спальне повесил, яблоч в чужом саду насобирал. Ты прилетаешь во Франкфурт, в аэропорту я тебя буду ждать. На всякий случай буду с книжкой про Булата Окуджаву в руке, а то ведь, знаю, на мужские лица ты не обращаешь внимания, а с некоторых пор уже и женские только через бинокль можешь разглядывать. Но книжку свою ты, конечно, не пропустишь!

Ошарашенный его прытью, я продолжал тормозить:

— Все это так неожиданно... Сомневаюсь, что Ритуля...

Но он не дал мне закончить:

— Зная, что Ритуля надолго тебя не отпустит, я взял обратный билет на рейс через два дня. Но только уже из Голландии. Извини, ничего походящего из Германии не было. В Голландию я тоже тебя на своей машине отвезу, по пути послушаем музыкальные новинки твоего детства.

Мне возразить было нечего:

— Ну, раз так, я пошел бриться. А можно мне в зоомагазин там зайти на минутку?

— Тебе можно все! Можешь там даже залезть в аквариум, я попробую договориться. А вообще-то, прости за интимный вопрос, зачем тебе зоомагазин?

Я застеснялся и, понимая идиотизм своего вопроса, сказал:

— Ты знаешь, здесь у нас на Кипре не всякие рыбки есть. Может быть, я там что-то новенькое куплю.

— О, все понял! Сейчас я билет твой переделаю, чтобы с багажом можно было.

В назначенный час моя благоверная доставила меня с собачкой в корзине в аэропорт. Именно собачку я и должен был привезти в Германию. Жена долго уговаривала меня не потерять паспорт, не особо на это надеясь.

Я ее успокаивал, что паспорта даже доставать нигде не стану — у меня есть карточка гражданина Евросоюза. А она, оказывается, имела в виду потом, когда я уже потеряю карточку.

Место в самолете мой друг выбрал с умом — на последнем ряду. Не только со мною рядом — на шесть рядов вперед никого не было. Я с наслаждением и незаметно для стюардесс снял туфли, которые мне Ритуля купила когда-то для презентации моей книжки в Центральном Доме литератора в Москве. Сегодня я надел их во второй раз. И, наверное, в последний. В мирной жизни я ничего другого, кроме пляжных шлепанцев, не ношу.

И вот я сижу, задыхаюсь в наморднике, хоть и бигль, и после туфель немножко стянул маску с носа на подбородок. Но немецкие стюардессы не дремлют, одна подскочила и улыбается:

— Херр, не будете ли вы столь любезны, чтобы надеть маску, как положено?

— Оф кос, оф кос! — заверил я ее в своей лояльности, хотя мне не очень понравилось такое обращение. В конце концов, мы не так близки. Да и никто из моих знакомых не мог успеть ей что-то наговорить про меня, тем более что это все неправда.

Она, улыбаясь, отошла, а я, будучи еще и глуховат, не рассчитал возможностей молодых немецких девчонок и проворчал ей вслед почти все, что знал из немецкого языка:

— Ярбух фюр психоаналитик дас ист фантастиш!

Она обернулась на меня с глазами из фильма ужасов, но неожиданно поняла, что я русский, и моментально успокоилась.

Потом эти красавицы начали разносить напитки. И я, конечно, опять вляпался. Дело в том, что я очень давно живу и помню, что в самолетах раньше кормили и даже напитки раздавали бесплатно. Больше того — мы без масок раньше ходили. Думаю, младшие мои внуки так же не будут верить этому, как младшие дети мои не верят, что раньше не было мобильных телефонов.

Ну так вот, разносят напитки. И я, разумеется, не отказался: очень хотелось снять маску. Не заставят же они меня в маске пить!

И когда ко мне подошли, я, виляя хвостом, как бигль, изъявил скромное желание выпить некоторое и даже ничтожное количество пива. Дива очаровательно улыбнулась, обнажив жемчужные зубки, и нежной ручкой балерины протянула мне баночку:

— С вас три евро, херр!

Марлевая маска слетела с моего лица:

— Вы что, девоньки, совсем обалдевши?! Да я знаю места, где за такие деньги меня неделю поить будут до потери пульса!

А она мне, непреклонная такая:

— Извините, херр, в перечень предлагаемых нами услуг потеря пульса не включена. Вот коза! Не могли позаботиться о нормальном перечне!

Такого удара я не ожидал даже от немцев. У меня всего четыре евро было запланировано на поездку, пока меня не встретит мой друг. Нет, конечно, в подкладке трусов у меня были зашиты еще семьдесят евро на случай, если удастся попасть в зоомагазин.

Но не такие мы люди, чтобы честь свою ронять на международной арене, и я хладнокровно, как Штирлиц, протянул ей обе мои монеты по два евро.

Девушка посмотрела на мои монеты, как на змею у себя в постели, но овладела собой и выдала:

— Хееерр! Мы не принимаем кэш! Позвольте вашу банковскую карточку.

— У меня нет банковской карточки! — развел я передними лапами, не переставая вилять хвостом.

Собеседница стала заваливаться в обморок, но не буду же я ей объяснять, что есть, есть у меня банковские карточки и даже целая коллекция. Другое дело, что денег на них уже много лет не бывало, и я даже позабыл их ПИН-коды.

На помощь пострадавшей от общения с русским путешественником поспешила ее коллега и заверещала, что, дескать, х.. с вами, дорогой наш херр, давайте ваши наличные. В виде исключения пойдем вам навстречу.

Я ее любил в эту минуту и даже раздумывал, не поделиться ли мне с ней глоточком пива. Хотя... там всего-то 0,33, одному мало. И я протянул ей две сильно нагретые моим горячим сердцем монеты по два евро.

Она замотала головой так, как будто я ей предложил вступить в половую связь.

— Твою мать, что опять не так?! — уже желая не пива, а водки, вскричал я.

Оказывается, я должен дать без сдачи — один евро они не могут мне вернуть.

Я понял, что этот самолет вряд ли сядет, но постарался не беспокоить психов:

— А давайте, девушки, мы сделаем вид, что я вам не четыре евро дал, а три! Вот я же вижу — их три! И не надо мне никакой сдачи!

В ответ девушки забрали банку пива с моего столика и ушли, не вступая в коррупционные переговоры.

Им нужно было развозить напитки для остальных пассажиров, и они были настроены очень решительно. Однако, дойдя до середины салона, авиадивы вдруг застопорились и стали совещаться.

Они были далеко от меня, да и неважно — я в немецком не силен. Но я точно знал, что говорят они обо мне — их нечаянные взгляды выдавали.

Не договорившись, они вызвали по радиосвязи старшую. Старшая примчалась, и совещание продолжилось. Потом старшая ушла — не иначе как канцлеру Меркель пошла звонить.

Мне было очень неловко: столько хлопот принес!

Наконец старшая вышла с банкой холодного пива в руках и направилась прямо ко мне:

— Это вам, херр!

На мои благодарности и предложение принять хотя бы два евро она замахала руками и убежала.

Я пил соленое пиво. Потому что со слезами оно перемешалось. Немцы, конечно, очень правильные люди, но не это главное. Главное, что они — люди. И вид несчастного старика, у которого они отняли баночку пива, не позволил им дальше безукоризненно выполнять свои строго регламентированные должностные инструкции. И они скинулись втроем по одному евро, чтобы ничего не нарушить.

2

Когда я вышел из самолета во Франкфурте, я не сразу вспомнил о другом моем атрибуте, который, оказывается, как и туфли, был специально куплен на один раз для презентации моей книги в ЦДЛ.

Нет, Ритуля моя не такая непрактичная — она была уверена, что для презентаций книг ее мужа следует иметь два костюма: на утренние и на вечерние заседания. И я ей за это бесконечно благодарен. Непременно нужна женщина, которая мало того что рядом с тобой, так еще и уверена, что ты гений. И ни в коем случае нельзя ее в этом разочаровывать. Тогда даже бездарный человек может сделаться талантливым — перед женой обманщиком оказаться неудобно.

<...>

Однако вернемся к атрибуту, о котором мне пришлось вспомнить, — к брюкам. Жена настояла, чтобы я их надел, а то в шортах немцы меня не поймут, тем более что у них там всего десять градусов тепла.

Я ей пытался возражать:

— А что, в штанах меня немцы сразу за своего примут?

— Нет, конечно, но хотя бы на короткое время тебе удастся усыпить их бдительность.

Усыпить немецкую бдительность не удалось. Презентационные штаны падали с меня, как осенние листья с дерева — неторопливо, но неуклонно. Мне надо было останавливаться всякий раз, чтобы подтянуть их, потому что одна моя рука была занята сумкой от ноутбука, в которой были недоеденный сэндвич и пара запасных носков, а другая — корзинкой с собачкой, забыл, какой породы, но хорошей — очень мелкая. И останавливаться нужно было заранее, чтобы совсем не оконфузиться.

Когда мы улетали в Москву на презентацию моей новой книги, на меня впервые надели эти не желающие скрывать мою сущность брюки. Но тогда они были с подтяжками, и им пришлось безропотно выполнять свою функцию. Нет, с брюками тогда все получилось нормально, но в аэропорту вылета обнаружилось, что я уехал в домашних шлепанцах. Жена сокрушалась, что недоглядела, но, к счастью, еще не успел отъехать провожавший нас мой друг Феликс, а у нас с ним один размер. Так что Феликс обратно в Лимасол уехал в моих шлепанцах. И это очень благородно с его стороны, потому что он всякий раз, проигрывая мне в нарды, упрекает меня в антисемитизме:

— Вот не любите вы нас...

На что я ему неизменно отвечаю:

— А за что вас любить-то? Христа нашего распяли? Распяли зачем-то!

На что он смиренно соглашается:

— Да, Рустамыч, с Христом вашим мы погорячились немного...

<...>

И вот теперь, поминутно подтягивая брюки и беспокоясь о трусах, я отстал от общей толпы выходящих из самолета. Зал обезлюдел, и я, целиком сосредоточенный на штанах, забрел куда-то и неожиданно встретил стюардесс с нашего рейса. Увидеть меня снова так скоро они не были готовы и прибавили шагу. Я поспешил за ними, уговаривая не спешить, — я не стану больше просить у них пива. Но они не поверили и перешли на бег. Так мы и выбежали неожиданно с ними из зоны прилета в зал ожидания. Они кинулись было искать полицию, но я уже потерял к ним интерес — мне надо было найти встречавшего меня друга.

Но друга нигде не было. Я позвонил по телефону, друг не ответил.

Вышел покурить на свежий воздух — вот она, Германия! Я, вообще-то, бывал здесь уже, и не только в Западной, но и в Восточной. То есть давно здесь бывать начал, живу-то очень давно.

Но почему меня никто меня не встречает? Хожу взад-вперед — и вдруг звонок:

— Я знал, конечно, с кем имею дело, но все-таки прости за излишнее любопытство, ты где?

— Что значит где? Стою на улице, тебя жду, курю, мерзну... Я тебе звонил, а ты не ответил.

— А по какому номеру ты звонил? Ладно, неважно, но как ты сумел выбраться на улицу без паспортного контроля в режимном аэропорту?

— Так я... это... за стюардессами шел... И почему без паспортного? Там очень интересовались, откуда я, не веря моим кипрским документам. Пришлось признаться, что русский.

— Все, стой, где стоишь, я сам тебя найду. А где ты стоишь-то? Дай хоть какой-нибудь ориентир.

— Ну, здесь стойки для регистрации пассажиров...

— Как, как тебе удалось с этажа прилета попасть на этаж вылета?! А впрочем, извини за глупый вопрос, сейчас я тебя найду. Только никуда не уходи, даже если опять встретишь стюардесс!

— Да куда я пойду, у меня штаны падают!

Мой дорогой друг довольно быстро нашел меня, усадил в свой роскошный «мерседес», и мы полетели по прямому, как мои мозговые извилины, автобану к нему домой за триста километров от аэропорта. Для нашей встречи мой друг припас банки яблочного вина и по пути домой продемонстрировал мне, как его машина сама управляется с дорогой, пока мы управляемся с вином.

Когда мы добрались до его дома, было уже около трех часов ночи. Сейчас его семьи дома не было — их он тоже забыл на Кипре. Но со мной его домочадцы ехать отказались, сказав, что они лучше сядут в следующий автобус, то есть в самолет. Потому что среди них есть маленькие дети и хотелось бы доехать до Германии без приключений. Я вынужден был признать их желание разумным и полетел один с собачкой.

И вот мы вдвоем с моим другом в их роскошной квартире с внутренним двориком, куда выходят двери почти всех комнат. А дворик в средневековом стиле: какие-то мечи, алебарды по стенам развешаны, вертела для жарки кабанов на костре и мешки с углем. И мебель соответствующая. Из современных вещей только джакузи.

Пока мы осматривали диковинную квартиру, вино уступило место ящику пива.

Сразу поспешу охолонить желающих обвинить меня в непрофессионализме: дескать, кто же пьет пиво после вина — градус же надо повышать, а не понижать! Не надо меня поучать — про градус я одновременно с азбукой узнал. Нет, не из самой азбуки, конечно, но узнал. Из накопленного к тому времени жизненного опыта.

Так вот, у них там все чудно, не только стюардессы в самолетах. Вино, которым потчевал меня хозяин, оказалось на два градуса слабее пива.

Однако что это я все о пиве и вине, как будто в мире нет больше ничего интересного! А то еще подумает кто-нибудь, что я пьющий. Я мог бы сейчас и про другое что-то интересное вспомнить, но водку мы решили не пить, потому что с утра пораньше для меня была назначена насыщенная экскурсионная программа. Друг специально приготовил мне веревочку — штаны подвязать.

Поэтому в пятом часу утра мы уgomонились, чтобы встать пораньше и продолжить мое знакомство с самой западной из Германий. Даже пиво допивать не стали. Потому

что на всю мою любознательность был отведен только один день — утром следующего дня мы должны были уже выезжать в аэропорт, причем в Голландию.

Но хозяин попросил меня все же не будить его раньше девяти утра, зная мое пристрастие к раннему пробуждению.

Это один из главных моих талантов — просыпаться в назначенное время без всякого будильника. Даже если я спать лег за полчаса до этого. И обычно я себе назначаю очень ранний час для просыпания. Очень страдал я в своей жизни от окружающих и зачастую бывал бит за этот свой талант, пока не понял, что люди завистливы и не терпят чужих достоинств. Например, в раннем детстве меня оставляли пару раз под выходной на ночевку в семье сестры моего папы — моей тети, значит. И я в шесть утра в воскресенье начинал всех приводить в чувство. Потому что папа всегда говорил мне, что те, кто спит после шести утра, это уже больные люди. А нормальные люди встают не позже пяти. Меня перестали приглашать на ночевку.

Папы уже нет, и я теперь никого не бужу, а когда мне хочется продуктивно поработать, я просыпаюсь в три часа, и это самое лучшее время для тех, кто понимает. Никого рядом нет, никто не мешает.

Перед сном я, так счастливо и неожиданно оказавшийся в Германии, ознакомился еще и с одной из ванных комнат гостеприимного хозяина, где запросто могли бы проводить заседания Малого Совнаркома, куда так торопился герой Ильфа и Петрова, что не сумел дожидаться окончания первой брачной ночи.

Принимая душ в этой ванне, я почему-то вспомнил, как мне папа, когда мне было девять лет, пообещал по рублю в неделю за каждый неизгрызенный ноготь. Хороший бизнес. И я почти отрастил их, но тут меня родители в ванну загнали, чтобы я отмок как следует — цыпки на руках и ногах моих свирепствовали. И я долго отмокал, час, наверное. Все ногти успел сгрызть до основания и в кровь. Мама, увидев меня, разрыдалась и отходила меня первым, что попало под руку, — шлангом от стиральной машины.

Вот тебе и бизнес! Уговор-то был только о поощрении, о шланге ничего не говорилось.

3

Утром мы позавтракали на скорую руку и выдвинулись пешочком по городку прогуляться. Маленький — всего шесть тысяч жителей — уютный городок, где мой друг живет с семьей, находится на самом, как я уже сказал, западе Германии, километрах в двадцати от Люксембурга.

Было воскресенье, и все, буквально все было закрыто, даже булочные и киоски. И людей тоже не было на улицах. Тем лучше — ничто не портило моего впечатления. А впечатление у меня было такое, что все вокруг — это какая-то дореволюционная открытка, раскрашенная щедрой на краски детской рукой. В этом маленьком кишлаке в семистах километрах от Берлина все выглядело сказочным, как в диснеевских мультфильмах. И древняя крепость на холме, и старый костел, и река, протекающая через центр городка в глубокой расщелине, с водопадами и запрудами, и лепящиеся друг к другу домики один краше другого — все было иллюстрацией к какой-нибудь сказке братьев Гримм.

Я испытал счастье от увиденного в никому не известном, но не забытом Богом городке и проникся бесконечным уважением к его жителям. Всюду цветочки — и на окошках, и возле дверей в квартиру. Ну, хоть бы где-нибудь один малюсенький окурок бросили, чтобы не так сильно меня расстраивать.

Да-да, расстраивать! Ибо душа у меня очень большая и вместительная, и я могу одновременно испытывать и безмерное счастье, и безысходное горе. А последнее чувство все больше и больше брало верх в моей душе.

Я вдруг представил себе русскую деревню в семистах километрах от Москвы, и слезы навернулись на глаза. Я на слезы очень богат, потому и смеюсь всегда, чтобы обмануть читателя. Неудобно же мужику плаксою выступать.

Боже, да за что же нам это все?! Я, конечно, знаю за что, но не хочу сейчас эту тему развивать, тем более что бесполезно.

Очень хорошо помню, как младшим еще школьником я начал задавать неудобные вопросы учительнице. А она мне незлобиво, как несмышленишу, объясняла, что очень большие потери мы понесли в войне, поэтому долго восстанавливаемся. <...>

А когда я подрос, то, помимо вопросов, решил однажды преподнести учительнице по русскому языку и литературе магнитофонную катушку с песнями Булата Окуджавы, записанными с радио «Немецкая волна»¹.

Учительница вернула мне катушку через несколько дней и ничего не сказала, но у нас с ней установился негласный уговор: она меня больше никогда не вызывает к доске, а я больше не задаю никаких вопросов. И получилось не очень хорошо: пока все учились, я читал какие-то посторонние книжки. Целый пласт советской литературы прошел мимо меня, любителя чтения.

Впоследствии я несколько раз попадал впросак, не читав советских классиков, но запомнив их имена. Помню, в перестроечные годы, увидев в журнале анонс запрещенного романа Гроссмана «Жизнь и судьба», решил его не читать и обосновал свое решение в разговоре с тестем:

— Что уж там такого запрещенного мог написать этот из года в год выпускавший книги сталинский писатель?

Тесть задумчиво мне ответил:

— А между прочим, напрасно ты... Я помню его роман «За правое дело» — очень хороший!

Я про себя подумал, что книгу с таким названием под страхом смерти в руки не взял бы, но ладно, доверюсь тестю, гляну несколько страниц, хотя времени жалко. Это было время, когда во всех толстых литературных журналах печатались произведения, запрещенные ранее в СССР, — только успевай читать.

И вот наконец вышел журнал «Октябрь» с началом романа сталинского писателя Гроссмана «Жизнь и судьба». Я прочитал и был так потрясен этим романом, что Василий Семенович Гроссман навсегда стал бесконечно и нежно любимым моим писателем.

В другой раз я вообще опозорился с ног до головы. Как-то раз мы с моим новым знакомым Львом Алексеевичем Шиловым, директором дома-музея Корнея Чуковского, прогуливались по Переделкину, и он мне показывал самые первые дачи и очень интересно рассказывал об их обитателях, ибо сам был одним из первых жителей этого писательского поселка, еще ребенком, конечно.

И вот в одном месте он показывает мне:

— А здесь была дача Лидии Сейфуллиной, вы знаете такую писательницу?

— Ну как же, как же, — заблистал эрудицией я, — помню-помню такую советскую-просоветскую писательницу! Все они в бездну канули!

Лев Алексеевич неопределенно хмыкнул, и мы пошли дальше. А потом я узнал случайно, что Шилов все детство и юность прожил именно в этом доме Сейфуллиной, потому что был ее внучатым племянником! Мне было так стыдно перед ним, что я даже подумывал прекратить с ним дальнейшие отношения.

¹ Включено Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Пожаловался на свою судьбу-злодейку тестю, а он еще масла в огонь подлил:

— А между прочим, напрасно ты... Я, помню, в юности еще читал ее повесть «Вири-нея», и она мне очень понравилась!

Однако далеке же нас занесла прогулка по маленькому немецкому городку, где теперь обосновался мой друг! Ну, чтобы два раза не ходить, я уж и про экзамен по научному коммунизму вспомню, тем более что путь наш дальше лежит на родину научного коммунизма — в город Трир.

Этот экзамен происходил в самом конце институтского обучения, можно сказать, заключительный аккорд. И вот на этом экзамене я недолго готовился, изучая выпавший мне билет, а посидев для приличия пять минут, смело направился к профессору. Увидев приближающегося меня, тот побледнел и забормотал молитвенно:

— Только не это, пожалуйста, только не это, у меня же дети!

Сблизившись с ним на известное нынче масочное расстояние, я интимно сообщил ему, что «Империализм и эмпириокритицизм» Владимира Ленина давно не перечитывал, но очень хотел бы поговорить об этой работе. Именно это было первым вопросом в моем экзаменационном билете.

— Отлично, юноша, отлично! Давайте вашу зачетку!

— Как, уже все? Но тут же еще два вопроса есть!

— Зачетку, быстро давай зачетку!!! — заскрежетал зубами нетерпеливый преподаватель.

А я не сдаюсь:

— Там в третьем вопросе про пятиэтажные дома, так называемые хрущобы, и я хотел бы...

— Ах, чтоб тебе провалиться в этих хрущобах! — шепотом вскричал профессор, но не выдержал и вступил в полемику. Он доказал мне, что строительство этих домов было очень правильным решением:

— Ты забыл уже, что тогда все в бараках жили? Эти дома были большим шагом вперед!

Я вынужден был согласиться, но сделал еще попытку продолжить разговор — он мне очень нравился, этот лектор по научному коммунизму:

— А почему немцы не жили в бараках?

Но профессор уже вывел «отл.» в моей зачетке и предложил мне убираться по-доброму-поздорову, пока цел.

Почувствовав изменение моего настроения на задумчивое, друг сказал, что здесь мы уже все посмотрели, теперь поедем в другое место — в город Трир, он здесь рядом.

— Ты же должен помнить со школы: там родился твой любимый Карл Маркс! — поспешил он меня порадовать.

— Ух ты! А нет ли у вас здесь поблизости городка, где родился мой любимый Пол Пот или хотя бы тоже любимый Йенг Сари?

Гостеприимный хозяин хотел было мне возразить, что последние — это все-таки не то же самое, что Карл Маркс, но вовремя остановился, поняв, что я не соглашусь. Не только эти двое, а все, кто проникся учением Карла, придя к власти, погубили свою страну.

Я действительно очень рад был увидеть и городок, где родился призрак коммунизма, и дом, где он родился. Еще бы понять, как он до всего додумался.

Но Трир и без Карла очень интересный город. Оказывается, это старейший город в Германии, основанный еще до нашей эры римским императором Октавианом. Очень зачесалось сочинить большую книгу об этом городке, но, во-первых, мы все

осматривали галопом по европам, не имея времени на подробности, а по-хорошему там надо пожить хотя бы с полгода. А во-вторых — и это главное, — краеведение не входит в сферу наших научных и литературных интересов. Жадность — хорошая штука, но надо попытаться дописать до конца хоть один рассказик, прежде чем начинать сто новых. Это моя беда — не знать ни в чем меры.

Уже вблизи Трира мы миновали большое поместье, в котором когда-то жил школьный друг Карла Виктор Вальденэр, сын крупного промышленника. Это была богатейшая семья, а Карл Маркс, как мне помнится из школьной программы, был из бедной семьи и всю жизнь был чуть ли не нищим, и если бы не покровительство Энгельса, жить бы ему под мостом в коробке от телевизора.

В поместье Вальденэра нынче большущий краеведческий музей, и мы собирались обязательно его посетить, но невозможно объять необъятное, тем более за один день.

Мы подъехали к дому, где родился и жил неистовый Карл. Да, если в таких домах жили бедняки, то и богатым быть не надо!

Теперь здесь музей Карла Маркса. И это было единственное, что было открыто в Трире в такой ранний час. Но в музей Карла Маркса мы не пошли, постояли рядом. Некогда нам — многое посмотреть надо успеть. Да и позавтракать уже следовало бы. Но негде — все пивные в Трире еще закрыты, один музей Карла Маркса работает.

Ну, походили мы еще, посмотрели на красоты и примечательности. Друг мой, эрудит редкий, все рассказывал мне, все рассказывал... А я, раскрыв пасть и не забывая повиливать хвостом, слушал его, успевая принохиваться к проплывающим мимо сосисочным, которые по-прежнему были закрыты, хотя там уже давно румянились баварские и прочих немецких земель сосиски. Оказывается, они в 12.00 открываются, а нам, нелюдям, позавтракать вздумалось в 11.50.

Наконец нам удалось найти какую-то пивную в ближней от музея изобретателя коммунизма подворотне. Мы взяли по кружке и набрали по вотсапу или бог его знает как наших московских друзей. Они не сразу поверили, что мы с ними из-за угла Марксовой квартиры разговариваем — ведь буквально вчера я жаловался им из Лимасола, что с Кипра теперь до смерти, видимо, не выеду. И мы не сразу поняли, что они из разных квартир в Москве с нами выпивают, каждый из своей. Мы сидели на улице, и колючий осенний ветер пытался нам испортить момент, но нам было очень тепло с друзьями, и мы были счастливы видеть их радостные лица! Хотя я-то, конечно, мало что видел в маленьком экране его огромного телефона.

Но я знал, что все мы вчетвером рядом, и поэтому мне было тепло.

4

Позавтракав так поздно, самое время было уже и об обеде позаботиться. А здесь в Трире для этого есть особое заведение, главная пивная Трира, а возможно, и Германии — Битбургер. Но нельзя же все время только пить и есть, в основном пить, надо же и о духовном позаботиться.

И мой друг, пренебрегая свершениями Октавиана, повел меня показать местный книжный магазин. В маленьком городишке огромное здание — книжный магазин! Мой друг утверждает, что магазин четырехэтажный, я же насчитал только три. Наверное, от холода пальцы мои гнулись плохо. Но все равно здорово, особенно на фоне того, что друг мой меня согревал байками, что скоро на всех этажах этого магазина будут продаваться мои книги. Я капризничал и спрашивал, почему еще и не в подвале и на крыше тоже.

Он устал от моих капризов и предложил перейти к обеденной программе.

В Битбургере — огромном ресторане — нас посадили сначала на веранде. В основном зале мест не было. Заканчивалась первая волна коронавируса, и люди праздновали. Мой друг сделал заказ и, по-моему, сильно погорячился. Я пытался вырвать меню из его рук, но я же старенький, а он молодой, он победил!

Пришла официантка и шепнула моему визави, что для нас столик в основном зале освободился. Мы, раскланиваясь, а я еще и виляя хвостом, перешли в основной зал. Это был особый шик — зал, стилизованный под старинный пивзавод. Не всем завсегдатаям здесь предлагают столик.

Дружище мой был на вершине счастья — вот, вот самая главная достопримечательность! Сейчас мы будем кушать свиную рульку в аутентичной средневековой обстановке и запивать соответствующим пивом!

Еще не успели принести наш заказ, как я запросился обратно, на веранду. Все, и официанты тоже, были обескуражены, но я попытался извиниться, что не вижу ничего в полумраке. И это бы еще полбеда — я просто физически плохо себя чувствую, когда нет яркого света. Я, может быть, потому и на Кипр переехал, что мне жизненно необходим яркий свет. И чтобы никаких темных очков! Ох, как не хватало мне света в России!

Естественно, всего, что заказал мой друг, мы съесть не смогли, и я попросил вернуть нам с собой.

— Завтра перед отлетом позавтракаем, — бормотал я неслышно, — а что останется, я собачкам на Кипр заберу. Если собачки не доедят, на пляж отнесу — там много кошек.

Мы много еще где побывали в этот единственный мой экскурсионный день, и я сделал для себя много интересных открытий. Например, проезжая городок Метлах, богатый своей историей производства керамической плитки, я наконец понял, почему плитку, которой были выстланы все туалеты в школах и больницах Советского Союза, называли метлахской.

Кругом-бегом, конечно, летали мы, ибо друг хотел показать все. Зоопарк потрясающий мы посмотрели из окна машины, а про ботанический сад он мне на пальцах рассказал.

А напоследок мой друг повез меня зачем-то на какое-то озеро. Утопить, наверное, решил, не иначе. Понимаю, беспокоило и хлопотно с таким, как я. А он — человек сильно занятой. Но он очень добрый, мой друг, — вместо того чтобы медленно опускать меня в кислоту серную или азотную, видно, решил кинуть меня в красивое немецкое озеро. Я бы предпочел последнюю из кислот, ибо производил ее в юности на известном химическом комбинате, и мне была даже за это назначена досрочная пенсия за вредность, которую я уже десять лет должен был получать! Опять надурили.

А оказывается, мой дружище посильнее что-то удумал. Давай, говорит, пройдем вокруг этого озера. Толстенькие мы с тобой и пообедали к тому же, не говоря уже об алкоголе — надо бы сбросить несколько калорий. Я ему:

— За что? Я же тебе собаку привез!

Но он настаивал, уверяя, что санитарный вертолет будет барражировать над нами, и если что, мне не дадут умереть.

Мы прошли вокруг озера, и оказалось, что это нетрудно мне было. Потому что рядом был друг хороший, с которым можно любые озера, горы и другие препятствия преодолевать.

Только потом он признался мне, что это озеро культовое для их семьи и они часто все вместе, включая малолетнего Максика, гуляют вокруг него. И ему хотелось

провезти меня этим маршрутом как члена своей семьи, пусть и не самого удавшегося. В семье не без урода.

Господи, если бы это озеро и все другое, что увидел сегодня, я видел бы с детства, может, и из меня бы приличный человек вырос! А не чудище, помешанное на падающих трусах.

5

Опять ночью толком не поспали, а ни свет ни заря выдвигаться надо в Голландию, или, как теперь принято называть, в Нидерланды. Там с утра аэропорт меня ждет, а еще неподалеку от аэропорта мой друг зоомагазин выискал, который открывается в девять часов утра, и мы успеем в него заехать.

Дорогой я опять пытался дремать, а ведь мой друг за последние трое суток спал совсем немного, только-только на одни сутки сна хватит.

Он очень устал от приема такого высокого гостя и мог бы сказать, не кривя душой, что в зоомагазин мы уже не успеваем, заедем в другой раз. Но я всегда говорю, что мои друзья — лучшие люди на земле. Он все правильно рассчитал: хоть и ехать нам было четыреста километров, к магазину мы подъехали как раз к открытию. Торопясь в аэропорт, мы ворвались в магазин так стремительно, что испуганные голландцы попрятались под прилавки.

Я пошел осматривать местные аквариумы и обалдел — оказывается, эти голландцы не только розы умеют разводить и помидоры! Какие же все-таки они талантливые! Обожаю талантливых людей и не люблю бездарных. Последние все завистливые какие-то.

Глаза мои разъехались в разные стороны, пытаюсь разглядеть все и сразу, а друг мой уже нервничал и подталкивал меня, уговаривая сделать выбор.

Я совсем потерялся и начал тыкать пальцем в первый попавшийся аквариум:

— Этих!

— Сколько?

— Две! А лучше четыре! Нет, шесть! Давайте десять!

Пока испуганная продавщица вылавливала первых рыб, я перешел к следующему аквариуму:

— И этих шесть! Нет, лучше семь!

На четвертом аквариуме мой друг осторожно поинтересовался:

— Мы еще летим куда-нибудь или здесь будем разводить твоих рыбок? Я попробую арендовать пару аквариумов.

— Ай, погоди ты, не мешай! — раздраженно ответил я, переходя к восьмому аквариуму, минуя три. — Вот этих еще четыре!

Наконец ему удалось направить меня к кассе. Продавцы спросили, далеко ли нам везти рыбу — кислород накачивать в баллоны?

Узнав, что ехать рыбкам на Кипр, они опустили руки:

— Это вряд ли... Так далеко рыбки не выдержат. А вы их как везти собираетесь?

— Так в чемодане же, в багаже! Как же еще?

— Вы это всерьез? — всполошились продавцы.

— Какие могут быть шутки? Я всегда так возил с птичьего рынка в Москве!

На этом диалоге друг мой почувствовал себя очень неловко. Он жалел, что не может теперь уже сделать вид, что он здесь ни при чем, что он просто зашел хомячку се-

мечек купить. В Германии его за такое, может, и в тюрьму посадили бы. Наконец он понял, что пора заканчивать с этими голландцами, выложил на прилавок пустой чемодан, раскрыл его и сказал тихо:

— Складывайте!

Перепуганные продавцы решили, что это ограбление, и кинулись к кассам, но он остановил их:

— Рыбу складывайте! Ту, что мой друг наловил.

Четыре пакета с водой и рыбой как раз заняли весь чемодан, любезно предоставленный моим другом. Я начал было отпарывать подкладку трусов заранее приготовленным лезвием «Нева», но, оказывается, мой друг уже за все заплатил.

Мы вышли из магазина, и я укорил его, что так нечестно, но он на это возразил, что мы торопимся в аэропорт, а я ему своим приездом уже столько денег сэкономил, что никакая рыба ее не перекроет, даже не в аквариуме, а в сейнере.

Я задумался: за потраченные на меня деньги можно купить не одну собачку, а личную псарню в пригороде Лондона. А я же еще не уехал!

Погрузив чемодан с рыбой в багажник, мы тронулись дальше и добрались до аэропорта раньше, чем ожидали. Даже до отлета моего оставалось еще три часа. Но мой друг не поспешил восвояси: у него на час дня была запланирована видеоконференция, поэтому он заранее, еще вчера, забронировал номер в гостинице прямо тут же, в аэропорту, чтобы проконтролировать мое отбытие.

Он направил меня в двери аэропорта, и мы расцеловались, пренебрегая масками и перчатками.

Он, конечно, очень устал, мой дорогой, мой любимый друг после почти трех суток без сна, которые выпали на его долю из-за неумения правильно выбирать друзей, но вот теперь и ему предстояло отдохновение. Ведь когда меня много, это мало не покажется.

Растроганный, я вошел в аэропорт и принялся обходить его взад и вперед, ибо до отлета и даже до регистрации была еще уйма времени. Рыбки в чемодане поплескивали, но я этого не слышал, увлеченный незнакомыми сортами пива в аэропортовой лавке.

Но я-то старый опытный путешественник, если по скромности умолчать, что опытейший и старейший, поэтому сказал себе:

— Пиво пить мы дома будем, а сейчас только попробуем!

Пиво было изумительное! И главное, градус приличный!

Наконец открыли регистрацию моего рейса, и я первым ее прошел и сдал в багаж чемодан со своими питомцами, шепча им над весами:

— Ничего, ничего, вы не расстраивайтесь! Через пять-шесть часов мы с вами снова увидимся и будем счастливы!

Мы увиделись с ними через сорок восемь часов, но я в этом не виноват! Эти голландцы странные какие-то, ну ей же богу!

6

Странность голландцев заключается в том, что на рейс я не попал.

Здесь, прежде чем рассказывать про то, что было дальше в этих странных Нидерландах, надо бы немножко отклониться, чтобы развеять некоторые, хоть и не совсем беспочвенные, подозрения дорогих читателей насчет моей адекватности. Я имею в виду, конечно, новых читателей — старые давно уже никаких иллюзий по этому вопросу не питают. Тогда почему развеять? А потому, что многие думают, что это у меня благоприобретенное, а на самом деле я всегда был такой, увлекающийся, что ли...

Однажды, мне было тогда восемь лет, а сестренке моей один год, наши родители ушли в гости, а нас оставили одних. Сестренка тихо-мирно себе спала в родительской комнате, а я так же мирно улегся у себя перечитывать в одиннадцатый раз мою любимую «Школу» Гайдара, запасшись бутылкой воды из-под молока и полубуханкой черного хлеба. И вот я читаю себе, читаю, никого не трогаю — и вдруг в окно стучат так, что стекло вот-вот лопнет. Перепугался я не на шутку, да и кто бы не перепугался — квартира-то у нас тогда была на третьем этаже!

А тут еще, оказывается, сестренка орет, хрипит уже у себя в комнате: «Маляка, аккой! Маляка, аккой!» В смысле, просит меня открыть ее дверь. Тоже, наверное, испугалась настойчивого стука в окно. Бросился я к окну и слышу оттуда, из темноты, голос нашего папы:

— Марат, проснись! Марат, проснись!

Чертовщина какая-то! В ужасе я бросился к двери из квартиры, а за ней плачущий голос моей мамы:

— Альфиюша, не плачь, доченька! Я здесь! Я здесь!

Тут я наконец понял, что это действительно наша мама, и отпер дверь.

Родители ворвались в квартиру и не убили меня сразу, ибо подумали, что я действительно так крепко уснул, что не слышал, как они в течение часа колотили в дверь, как папа, высунувшись с балкона соседской квартиры, колотил в окно шваброй, как пиццала моя сестренка, скользя и падая на своих какашках.

А я не спал — я читал книжку! И будучи честным октябреньком, не замедлил это выложить своим родителям. Папа посмотрел на меня тяжелым взглядом, присел на корточки ко мне близко-близко и спросил срывающимся шепотом:

— А что же ты не открывал нам, сыночек?!

— Не слышал...

Лучше бы я этого не говорил, ибо в следующее мгновение я, и так уже перепуганный всем за сегодняшний вечер, увидел, что он хочет меня ударить.

Он не ударил меня тогда, но еще несколько лет после этого случая не хотел верить, что я не спал, чтобы не допустить мысли, что сыночка им Бог послал ненормального.

Поверил только, когда я начал выкидывать другие коленца.

И я не знаю, почему так беззаветно любили меня родители всю жизнь. Может быть, из-за того, что к слепым глазкам их сыночка оказалась приложенной еще и не совсем нормальная головушка?

Хотя нет. Вот сестренка у меня вполне здорова и очень успешна — с королевой Англии встречается. Но и ее папа любил до самозабвения. Последний пример хочется привести того, как слепа и безрассудна бывает родительская любовь.

В последние свои дни папа капризным стал — запахи любые ему досаждали. Сиделка руки мылом помыла — невыносимо резкий запах, на кухне бульон ему варят — тоже нехорошо.

И вот за день до ухода папы дочка из Англии прикатила так надушенная, что меня сила ее ароматов просто с ног валила. И вечером мы подошли к нему пожелать спокойной ночи, зная, что это уже в последний раз. Альфия наклонилась над ним поцеловать, и он улыбнулся:

— Ты так приятно фиалками пахнешь, доченька!

А когда наклонился я, налившийся сегодня какой-то разной гадостью, подвернувшейся под руку, он опять расплылся в улыбке:

— А ты, сыночек, хорошего вина сегодня выпил! Молодец, не пей другого.

Ну так вот, эти голландцы странные очень, повторяю.

Прошедший все регистрации, я нашел свой выход на посадку и уселся ждать. Ждать надо было долго — я очень заранее пришел. Чтобы избежать всяких случайностей, сел прямо у стойки выхода на посадку.

Достал из сумки от лаптопа купленный еще на Кипре и недоеденный в самолете сэндвич, свою любимую электронную книгу и расположился поудобней. Почему электронная книга у меня любимая? Потому что там буквы можно любого размера делать, и если сделать самые крупные, я вполне могу читать.

Умудренный богатым жизненным опытом, Гайдара читать не стал. Читал «Бесов» Достоевского. Но теперь мне не восемь лет, и я время от времени поглядывал на табло, чтобы не пропустить посадку. И в эти секунды я думал о рыбах: как они там, не страшно ли им? Их уже, наверное, загрузили в самолет.

Наконец на табло появилась информация о моем рейсе, но служители еще не пришли, и посадка не началась. Я еще несколько раз отрывался от книги, раздумывая о Ставрогине и о рыбах одновременно. В последний раз я с удивлением увидел табло пустым. Без информации о моем рейсе.

Сердце мое похолодело: только не это, только не это!!! Оказалось — это.

Я подскочил к служителям и стал возмущаться:

— Как же так?! Вы что, не видели, что я прямо около вас сидел?

— Видеть-то мы видели, сэр, но откуда нам было знать, зачем вы тут сидите?!

— Но хотя бы по радио вы могли вызвать меня по фамилии?

— Да мы оборались по радио, уже весь аэропорт навсегда запомнит вашу фамилию! Могли бы шваброй в окошко постучать, подумал я, но спорить перестал.

Через час мне вернули мой поплескивающий чемодан, и я, морально раздавленный, поплелся в отель к моему другу, так удачно выбравшему меня для ответственного дела. К счастью, отель находился прямо тут же, в здании аэровокзала. Если это счастье...

Друг мой несколько не удивился, увидев меня. У него как раз была видеоконференция, поэтому он даже ни о чем не спросил, лишь рукой указал на кресло. Но и по окончании конференции он почему-то ничего не спросил, а стал сразу что-то искать в компьютере.

Через несколько минут он откинулся на спинку кресла:

— Завтра, к сожалению, на Кипр прямых рейсов нет. Есть с пересадкой в Афинах, но это уже из Бельгии, утром рано надо вылетать.

— Мы что, сейчас едем в Бельгию? — заискивающе спросил я, не забывая вилять своим биглевым хвостом.

— Да, только поужинаем здесь в одном хорошем индонезийском ресторане. Места я уже заказал.

— Погоди, погоди, а в Бельгии-то что?

— Я забронировал тебе отель вблизи аэропорта и зоомагазина. Надо будет тебе с утра успеть туда заскочить кислорода рыбкам подкачать. Я, к сожалению, должен сегодня ночью в Германию вернуться. Очень надеюсь, что хотя бы до Афин ты долетишь, а там уже не так далеко.

Да, но сначала мы поужинали в хорошем индонезийском ресторане. А что это за блажь такая — в Нидерландах ужинать в индонезийском ресторане? Оказывается, раньше Индонезия была колонией Голландии, и с тех пор метрополиты полюбили кухню своих вассалов. И это очень здорово и хорошо! Ибо сам я обожаю азиатскую кухню и с трудом терплю европейскую. И не один лишь я в выигрыше — думаю, индонезийцы, обосновавшиеся в Европе и потчующие местных аборигенов своей стряпней, тоже довольны.

Мне немало лет, и я уже бывал в ресторанах. Но этого индонезийского ресторана в Голландии мне не забыть. Нас посадили так, что мы оказались одни. Совсем одни, на много сотен километров. Нас никто не беспокоил, и света было ровно столько, чтобы я видел лицо моего друга напротив. И звуков никаких лишних, лишь сверху, или снизу, или с боков — отовсюду еле слышалась аутентичная музыка.

Блюд было немного — шестнадцать или восемнадцать, я не смог посчитать.

И так тепло было — волшебное даже. Мой друг, вместо того чтобы переобуться в кирзовые сапоги и ими отбить на мне чечетку за мой идиотизм, смотрел на меня с нежностью, слушал мой обычный бред — ничего нового — и улыбался.

Я причитал и извинялся, что так его подвел. А он успокаивал меня, уверяя, что ему все равно очень выгодно обошелся привоз его собачки. Озвучить в цифрах размер своей выгоды он отказался. Сказал, что выгода его вообще не подлежит исчислению.

Поздно ночью мы добрались до моего бельгийского отеля. На прощание расцеловались, несмотря на пандемию, а я даже прослезился. Ну почему, почему мне так незаслуженно везет на друзей?!

Проводив друга, я вернулся к стойке регистрации. В этом отеле прямо у ресепшена барная стойка есть и на ней два краника разливного пива.

Радужный хозяин отеля спросил:

— Какого вам налить, дорогой гость?

— Сначала одного, а потом другого, пожалуйста. У вас же там два краника, я не проглядел чего-то?

Хозяин понимающе кивнул. Пока он наливал, я вышел на улицу. Как все красиво! Как все счастливо!

Пиво в Бельгии... Я, вообще-то, на Кипре пива не пью практически — там нет съедобного пива. А в Бельгии... А в Бельгии оно еще прекрасней, чем в Голландии, не говоря уж про Германию, хотя невозможно поверить, что такое возможно.

В три часа ночи я лягу спать наконец, зная, что вставать мне в шесть. Я не боюсь — у меня биологический будильник. И утром, проснувшись, я первым делом открою чемодан — как вы там, мои хорошие? Рыбки, ослепленные ярким светом, будут недовольно шуриться и говорить мне матерные слова.

А одна сдохнет или от тягот перелета, или просто увидев мое лицо. Потому, что балованные они, эти голландцы! Она Химпоселка в городе Чирчике в шестидесятые годы прошлого столетия не видела. Поглядел бы я тогда, какое бы у нее лицо стало! Может, тоже очутился бы.

КНИГОЛЮБ

Максимилиану Гусеву

В раннем детстве меня терзала одна жестокая любовь. То не была любовь к аквариумным рыбкам или к щеночку, хотя их я тоже любил. И даже не к противоположному полу, хотя неравнодушен я был к нему, сколько себя помню. Но это тема отдельного романа или даже многотомного собрания сочинений, а сейчас я не об этом. Тем более что и эта любовь блекнет рядом с главной моей любовью.

Самая страстная моя любовь случилась вообще к неодушевленному предмету. Это была «Азбука» 1964 года издания. Большая такая, красочная, праздничная, с портретом улыбающегося вождя Н. С. Хрущева на первой странице. Я так любил эту книгу, что засыпал с нею и просыпался, поглаживая под подушкой ее прохладное тело дрожащими от вожделения пальцами. Я знал ее наизусть — каждую ее картинку, каждую

буковку, но все равно вдумчиво перелистывал все ее страницы каждое утро, опасаясь увидеть следы какого-то вмешательства, пока я спал.

Вскоре мои родители вынуждены были отправить меня в другой город к чужим людям, и весь полет в самолете я просидел, обняв свою «Азбуку».

Чужие люди оказались вовсе не чужими — это была семья папиной младшей сестры. У нее были свои две дочки и муж, и все они приняли меня очень радушно. Старшая дочь моей тети была на полтора года старше меня и попыталась было навести свои порядки: поставить мою «Азбуку» на общую полку. Но встретив мощный отпор, быстро отказалась от своей затеи.

А младшая сестренка была еще совсем маленькой и все время удивлялась в своей кровати, что это за братик такой у нее появился с огромной книгой на животе, которую он не выпускает из рук, даже когда кушает. Очень ей хотелось эту книжку посмотреть и пощупать, и она плакала, потому что брат ей категорически книжку не давал.

Тетя книголюба относилась к нему не просто хорошо, а старалась даже лучше, чем к своим детям. Но даже она не выдержала капризов своей малышки:

— Ну, дай ты ей посмотреть свою книжку, ничего она с ней не сделает!

— Нет, она ее порвет!

— Да не порвет же, нет, она только посмотрит!

Она порвала ее сразу, даже смотреть не стала. И тут с книголюбом, обычно спокойным и дружелюбным ребенком, редко плакавшим, приключилась настоящая истерика. Всполошилась вся семья. Тетя кричала, что она заклеит книгу так, что даже видно не будет. А я кричал, задыхаясь:

— Не надо!!! Не надо мне больше этой книги!!!

Муж тети кричал, что сейчас же побежит и купит племяннику такую же новую книгу. Она будет даже лучше, не такая затрепанная.

— Нет!!! Не надо мне больше никакой другой книги!

Все смешалось в доме Облонских, и только маленькая виновница переполоха недоумевающе хлопала своими круглыми черными глазенками, пытаясь улыбаться то одному, то другому члену семьи.

...Через пару лет приехали родители придирчивого книголюба, забрали его к себе и родили ему родную сестренку. Семье нашей быстро дали квартиру в новом доме в новом микрорайоне, и даже библиотека там была. Родители были очень заняты по работе и не уследили, как старшенький их к библиотеке лыжи наладил.

Не забыть мне того праздничного настроения, с которым впервые перешагнул я порог библиотеки. Все здесь было волшебное — бесконечные стеллажи книг, освещение и даже запах.

Но меня сначала не хотели записывать — не уверены были, что я уже умею читать. Я заволновался:

— Как же так?! Я очень хочу «Волшебника Изумрудного города»!

«Волшебник» был весь на руках, и мне предложили другую книжку, которой я обрадовался не так сильно, но все равно.

Через месяц я прочитал все книги в детском отделе, и библиотекари, с ужасом в глазах встречавшие мои чуть не ежедневные появления, были вынуждены перевести меня во взрослый отдел.

Книги я носил тяжеленными авоськами — деморализованные библиотекари специально для меня отменили лимит одноразового забора. Сначала я читал чуть ли не все подряд, особенно про советских партизан и разведчиков, ведь Жюль Верн, Гулли-

вера и Робинзона в библиотеке было мало. И все равно каждая новая книга для меня была праздником!

У себя в комнате я прятал книжки в разных местах. Потому что родители пытались бороться с моим нездоровым пристрастием. Справедливости ради надо заметить, что они не по глупости считали мое увлечение нездоровым, окулисты тоже не одобряли такой прыти в чтении книг: мои глаза надо было беречь.

А что мне было делать, как не читать? В футбол я не мог играть из-за сложных и дорогостоящих очков. Вот я и читал все время: при приготовлении уроков, при приеме пищи и при обратном процессе, вместо ночного сна. У меня был фонарик, с которым я читал ночью под одеялом. Однажды папа фонарик нашел и истоптанно растоптал его ногами.

Потом, через много лет, когда я уже доживал свои последние годы в Москве и уже разучился видеть, что написано в книгах, я себе все равно устраивал книжные праздники. Иногда ходил в громадные Дома книги с мириадами книг, целый день перебирал эти мириады трясущимися руками и выходил из магазина нагруженный, как вьючное животное. Да, читать я их не мог, но обложки-то еще видел!

Домашние, конечно, поругивали за бессмысленные покупки, но устало.

Однако я сильно забежал вперед.

Сестренке уже было три года, и родители наши, поняв вдруг, что теперь они — интеллигенция, решили определить сыночка в музыкальную школу, тем более что все хвалили его вкус. Для поступления в музыкалку нужно было выдержать соответствующие экзамены, и книголюб очень надеялся, что провалится. Но не повезло. Для поступления достаточно было набрать тринадцать баллов из тридцати шести возможных. тридцать шесть — это так, для планочки. Их никто никогда не набирал — ни Бах, ни Бетховен, не говоря уже о Генделе. Ну, тридцать два иногда бывало.

Книголюб набрал все возможные тридцать шесть баллов, и в музшколе чуть ли не драка случилась между преподавателями за право обладания таким гениальным учеником. Забегая вперед, должен их пожалеть, ибо дрались они напрасно: книголюб согласился учиться музыке только потому, что по дороге в музыкальную школу был магазин «Военная книга». Я давно и хорошо знал этот магазин, потому что какое-то время даже жил в этом самом пятиэтажном доме, внизу которого располагался военнокнижный магазин. Как раз в семье вышеупомянутой тети жил. Поэтому я давно знал, что там и гражданские книги продаются, и даже детские. А когда мы там жили с тетей, я больше другим отделом интересовался, тем, где продаются игрушки. Ух, как сердце замирало, когда я разглядывал это волшебное великолепие!

Теперь же после уроков музыки я бежал, ломая ноги, в книжный отдел давно любимого магазина. В музыкалку я ходил два раза в неделю, и родители давали мне в эти дни по двадцать копеек. По пять копеек на автобус туда и обратно и еще десять копеек на пирожок. На эти десять копеек нельзя было книжку себе купить в «Военной книге», а копить я никогда не умел, но трехлетней сестренке можно было купить даже две — они были по пять копеек. Но я всякий раз, зайдя в магазин, твердо знал, что куплю Альфию только одну книжку, а в следующий раз куплю себе пирожок и еще одну книжку сестренке. Но не получалось с пирожком никак — я спускал все деньги, как Достоевский в Монако.

Я ей читал новые книжки, сам получая удовольствие. И от чтения, и от того, что она впитывала все, что я читал или говорил, как губка, довольно скоро сама научилась читать.

Прошли годы, и мы с сестренкой оказались совсем в других временах и странах. Так сильно в других, что порой мне кажется, что лишь приснилась мне моя странная жизнь. Книжек я давно уже не читаю, потому что не вижу, что там написано. Хотя сняв очки, хоть надев. Но обложку еще вижу и люблю перебирать их у себя на полках. А запах!

В этом запахе остались в моей памяти Гулливер и Робинзон Крузо, волшебник Изумрудного города и Ластик Перышкин с его чернильницей. И я не устану их гладить и нюхать. И читать. Но только теперь уже ушами.

Накидаю в телефон библиотеку, воткну наушник в левое ухо и иду ходить-бродить по улочкам и переулочкам. И как всю жизнь во всем у меня бывало, никакого удержу в этом я не знаю. Иной раз по пятнадцать километров нахаживаю, увлекшись хорошей книжкой, ноги в кровь сотру и не замечаю.

Да, пока не забыл. Читатель, возможно, спросит, почему это я наушник в левом ухе ношу. Не мода ли нынче такая? Нет, это потому, что правое ухо мое слышит уже почти так же хорошо, как чувствует себя моя съеденная бездомными собаками правая почка. Или как видит правый глаз.

— О чем писать? — терзается начинающий писатель.

А заканчивающий посмеивается:

— Сынок, начни с левого уха!

Всему времечко свое. Да, лить дождю есть время и наблюдать за этим дождиком. И я счастлив! Счастлив, что видел этот дождик и любил его.

И вот уже и ноги побаливать стали, и спина, и вообще вдруг вижу — конечная остановка. Присяду-ка я, отдохну немного, сидя книжку послушаю. Присел, а тут уже и мой последний троллейбус подкатывает, шинами шуршит вкрадчиво, фарами зазывно мне помигивает.

Надо бы наконец отвлечься от книги, выключить наушники и подумать о том, каким будет короткое путешествие на последнем троллейбусе. Но некогда мне — очень хочется дослушать последнюю аудиокнигу, поэтому наушник из уха я не вытаскиваю, судорожно считая минуты, когда чтец замолчит наконец. И тогда я пойму, что все это мне действительно приснилось — жизнь моя и смерть моя, как сказал поэт.

Леонид БЕЖИН

ДОЖДЛИВАЯ АЛЛЕЯ,

или Десять донесений Департаменту полиции
о композиторе Скрябине, строительстве храма
в Индии и мистерии на конец времени

Роман*

Параграф десятый ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ

Мой сосед, сидевший под большим солнечным зонтом в низком, поло-
сатом лонгшезе рядом со мной, демонстративно похлопал себя по карманам, адресуя
мне досадливое недоумение, вызванное безрезультатностью этого жеста. После это-
го он вынул изо рта еще не зажженную и не раскуренную сигару, чтобы она не меша-
ла говорить, и спросил, не находя подходящей случаю вежливой формы и в то же вре-
мя не желая быть невежливым:

— Извините, спички... угм... угм... Не найдется?

— Да, да, извольте... пожалуйста... — Я протянул ему спичечный коробок. — Можете
оставить у себя. У меня с собой есть еще такой же...

— Благодарствую. Впрочем, у меня тоже есть...

— Зачем же вы попросили?

— Чтобы обеспечить себе предлог с вами заговорить. Вы меня не узнаете?

Я мельком взглянул ему в лицо, как смотрят в том случае, если заранее уверены,
что видят человека впервые. Но что-то зацепило мое внимание, и я посмотрел при-
стальнее, стараясь вспомнить, где я его все-таки видел.

— Граф Арбенин?

— Он самый. Вот решил побывать в Индии, тем более с такими приятными
попутчиками...

— Следите за нами?

— Я, как тот ревизор, — с секретным предписанием...

— Однако вы несколько изменились...

— Маскарад... что поделаешь. Маскарад...

— Усиками обзавелись, благородная проседь в волосах появилась...

Леонид Евгеньевич Бежин родился в 1949 году в Москве. Окончил Институт стран Азии и Аф-
рики при МГУ. Защитил диссертацию по классической китайской поэзии. Ректор Института жур-
налистики и литературного творчества. Автор романов «Сад Иосифа», «Мох», «Деревня Хэ», «Ко-
стюм Адама», «Тайное общество любителей плохой погоды», а также книг о Данииле Андрееве,
старце Федоре Кузьмиче, Серафиме Саровском и др. Был ведущим телепередачи «Книжный
двор» и радиопередачи «Восток и Запад». Вел ряд журнальных проектов. Лауреат премии име-
ни М. А. Шолохова (1990), Бунинской премии (2015). Член Союза писателей России.

* Продолжение. Начало: Нева. 2025. № 5, 6.

— Усики наклеены. Ну а проседей своя, след возраста и переживаний... Работа, знаете ли, нервная, как у гончей на тяге. Но давайте сразу к делу, благо никто нас не видит, и можно спокойно потолковать.

— Что ж, давайте...

Мы оба повернулись в лонгшезах: он в мою, а я в его сторону.

— Прежде всего верните деньги, которые вы получили от Киплинга.

— Собственно, почему?

— А потому что эти деньги вручили ему мы. На расходы, на благотворительность, на разные прихоти.

— С какой это стати?

— А с такой, что знаменитый Киплинг — наш тайный агент, тоже своего рода гончая на тяге. Он давно был завербован английской разведкой, причем через масонскую ложу, в которую Редьярд вступил еще молодым человеком. Попутно он сейчас оказывает услуги и другим разведкам мира, в том числе французской и российской, оправдывая это тем, что мы как-никак союзники по Антанте. Мы ему хорошо платим, но иногда он слишком транжирит. Вот приспичило ему раскошелиться на ваш проект.

— Что ж в этом плохого?

— Хм... — Арбенин чиркнул спичкой и стал раскуривать сигару. — Получается, что вы будете рушить старый мир и монархическую Россию на наши деньги, а это, согласитесь, абсурд.

Я вернул ему деньги, пожертвованные Киплингом.

— Возьмите...

— Скрябину об этом ни слова, ни даже полслова, поскольку он слишком догадлив, хотя, казалось бы...

— Не беспокойтесь.

Прежде чем спрятать деньги, Арбенин не отказал себе в удовольствии задержать на мне изучающий взгляд.

— А жаль небось возвращать денежки?

— Вы в свою очередь тоже не беспокойтесь.

— Ладно, не хмурьтесь. Доложите обстановку, хотя я кое-что уже знаю.

— Что докладывать... я обо всем пишу в донесениях.

— И все-таки потрудитесь доложить.

— Что ж, Мистерия завершена; проект Храма пока еще в работе. В Индии по приглашению мадам Безант мы намерены прежде всего посетить Адьяр, штаб-квартиру Теософского общества.

— Разрешение на покупку участка земли у вас есть?

— Есть. Англичане нам выдали.

— Ловко.

— Никакой ловкости в этом нет. Просто в Англии Скрябина знают и относятся к нему с большим почтением.

— В каком же месте участок?

— В разрешении указывается, что на берегу Ганга. Место точно не оговаривается. Таким образом, нам еще предстоит выбрать и согласовать с местными властями.

— Мадам Безант, которая встретит вас в Адьяре, я надеюсь, подскажет вам место поживописнее, со всеми красотами природы. Ну а когда свадьба?

Арбенин вопросительно посмотрел на меня, а я — на него с тем же выражением, показывающим, что можно спрашивать о том же, имея в виду совсем другое.

— Какая свадьба, простите? О чем вы?

Он не выдержал и опустил глаза, как при игре в гляделки.

— Я имею в виду... дату Мистерии.

— Нет, мне кажется, вы имели в виду нечто другое...

— Вы ошибаетесь. Мои намерения точно совпадают с моим вопросом.

Не получив от него удовлетворительного ответа по существу, я стал терпеливо разяснять Арбенину частности, ему хорошо известные и не относящиеся к затронутой им теме:

— Видите ли, Скрябин не раз повторял, что не он творит Мистерию. Он только знает, что Мистерия должна быть и что она будет. Его же задача — возвещать о ней и ей содействовать. Его музыкальные сочинения, и прежде всего «Поэма экстаза», Седьмая соната и «Прометей», есть одна из форм этого содействия. Ими, как он выразился, «пробивается что-то в мире, производится ускорение процесса». Но сам процесс целиком во власти высших сил. Поэтому точную дату назвать невозможно.

— Ну а приблизительную? — спросил он без всякого интереса.

— По словам Александра Николаевича, примерно через год.

— Значит, годик Скрябин у нас еще поживет, а там посмотрим...

— Все-таки вы намерены?... — Я глазами обозначил нечто, не желая доверять это нечто словам.

— Милый мой, все зависит от того, как будут развиваться события. — Арбенин затянулся сигарой и выпустил кольцами дым, словно развитие событий неким образом соответствовало их прихотливому рисунку. — Представьте себе, возведен Храм, медные апокалиптические трубы пронзительными возгласами возвестили о начале великого действия. Мистерия, так сказать, набирает обороты, народы торжественно шествуют к Храму... как это отразится на раскладе сил в мировой политике? Кому это окажется выгодно? Кому будет на руку, так сказать? Германии? Англии? Франции? А может быть, России? Если и впрямь матушке России, то Скрябин у нас — герой, мы его на руках носить будем, к наградам его представим, орденами всю грудь увешаем. Ну а если Германии? Тут уже иной разговор... — Дым от сигары на минуту скрыл его лицо. — Или, скажем, большевики между собой решат: ага, в Индии творятся великие дела, вершится Мистерия и все такое, а чем мы хуже! Давайте-ка мы воспользуемся выгодным моментом и в России тишком революцию устроим! Раздуем, так сказать, пожарчик! И — пожарче, пожарче, извините за тавтологию. Как тогда быть? Тут уж Скрябин для нас враг — еще похуже кайзера Вильгельма. Какие уж тут награды! Творец Мистерии теперь должен быть похищен и, зашитый в мешок, аэропланом доставлен сюда. Возможен также, сколь это ни печально, выстрел из-за угла, капля яда в кофе, разрыв бомбы или гранаты, брошенной ему под ноги. Ну, и дело с концом!

— Но ведь Мистерия возвещает «воскресение мертвых и жизнь будущего века»! А вы о какой-то там выгоде для той или иной страны... о какой-то гранате...

Арбенин взмахом руки отогнал дым, сползший с лица, как мыльная пена.

— Не будьте наивны. В будущем веке тоже встанет вопрос, кто сильнее, кто будет господствовать над миром и диктовать ему свои законы. Развернется война за рынки. Развитые страны снова начнут захватывать и грабить колонии, опустошать земные недра, добывать варварским способом уголь, выкачивать нефть, рыскать в поисках золота. А если так, снова начнется золотая лихорадка, вспыхнет жажда обогащения, а с ней вернутся подкупы, убийства, подлоги. Словом, повторится та же история...

— Тогда зачем же?..

— Что зачем же?

— Ну, дематериализация, гибель старого мира и рождения нового?

— Милый мой, нет ничего нового под солнцем! Это еще Екклесиаст изрек, и никто его не опровергнул.

— После таких слов руки опускаются, ничего не хочется делать. Да и жить не хочется.

Арбенин удовлетворенно затянулся сигарой, словно мое признание придавало ей вкуса.

— Нет, батенька, будьте любезны... вы еще поживите. Вы нам очень нужны. У меня к вам такой вопрос. Вопросец этот давно витает, но пора его наконец задать. А не скрывается ли за Мистерией какое-либо тайное, сверхмощное оружие? Вы в ваших донесениях нигде на это не намекаете, но вдруг?.. Представляете, что было бы, если б это оружие попало нам первым в руки? Сразу не отвечайте, подумайте... и возьмите назад отобранные мною деньги. — Арбенин полез в карман за портмоне и попутно пообещал: — Вы получите еще втрое, вдесятеро, в сотни раз больше, если откроете нам секрет тайного оружия или хотя бы попытаетесь выведать его у Скрябина. Ведь он, шельма, знает! Наверняка знает, этакая бестия! Главное, чтобы этим секретом не завладели наши враги: кайзер Вильгельм, масоны или, как их там... тео... антропо... софы. Не случайно вокруг вас увивается этот Киплинг. Он наверняка получил задание от одной из разведок. А то ишь — детишек берет на руки, сказочки им бебекает! Киплинг, Киплинг... будьте с ним осторожны. И подумайте, подумайте, — повторил свою просьбу Арбенин и щелчком пальца стряхнул на палубу пепел от сигары, который сразу унесло ветром.

Параграф одиннадцатый ВЫВЕДЫВАЕТ

— А славный нынче денек! — воскликнул Киплинг, снимая свои круглые очки, чтобы подставить лицо солнцу (хотя оно и так было шоколадного цвета от загара), и приближаясь ко мне с морским биноклем в руках. Я стоял на верхней палубе и кормил чаек, с криками отнимавшими у меня из рук кусочки оставшегося после завтрака хлеба. Киплинг встал рядом, как солдат встает в строй. Он тоже достал хлеб и стал бросать чайкам, чтобы они ловили его на лету или выхватывали клювами из воды. Затем он поднес к глазам бинокль. — Смотрите, акула! А вот дельфины... их здесь много, в Аравийском море... А вот кто-то вроде кальмара или осьминога... Словом, море живет своей неведомой нам жизнью. А там, — он махнул рукой за сверкающий морской горизонт, — уже угадываются очертания моего родного Бомбея. Не хотите взглянуть? — Он протянул мне бинокль и закинул на шею ремешок, чтобы я не выронил его из рук. — Вот уже скоро берег, и мы с вами простимся. Господин Скрябин такой недоступный, а с вами я за три недели освоился и к вам привык. Признаться, немного жаль расставаться. Я в Бомбее родился. Может быть, зайдете, попросту, без церемоний?.. Я заварю для вас лучший цейлонский чай. — Он протянул мне гляцевитую карточку в изящной виньетке. — В каком отеле вы намерены остановиться? Советую «Тадж-Махал»: все удобства, отлично кормят, добротный колониальный стиль, дорогие, но весьма искусные жрицы любви... будете довольны.

— Вряд ли я воспользуюсь их услугами...

— Ах вы, скромняга! В Бомбее не так уж много развлечений, и все они быстро прискучивают...

— Я не привык скучать...

— Да, да, у вас же такое дело... Простите, но я краем уха слышал... Мистерия и все прочее. Вы романтик, как, наверное, и господин Скрябин. Вы мне очень милы и сим-

патичны. Хотелось бы продолжить наше знакомство. К тому же вы так хорошо говорите по-английски.

— Благодарю.

— И это не дежурный комплимент. Меня в Бомбее до шести лет воспитывали местные слуги, и я почти не знал английского языка. Выучился ему только в Лондоне. Меня отправили туда, чтобы я поступил в закрытый пансионат.

— Зато теперь у вас образцовый английский — своего рода эталон во всех отношениях.

— Теперь мне следует вас поблагодарить за столь лестный отзыв.

— Это не только мой... все критики наперебой твердят.

— Что критики!.. Они в литературе мало что смыслят. Кстати, эта ваша Мистерия... — Киплинг как бы вымерял шажки и выискивал, с какого бока лучше подступиться к Мистерии.

— Да-да, я внимательно слушаю... — Я намеренно его не перебивал, оставляя ему простор для маневра.

Но он посчитал момент не слишком удачным, чтобы маневрировать.

— О чем-то хотел спросить и, представьте, забыл... Эх, вот уже и память подводит старую гвардию...

Я ему услужливо подсказал:

— Может быть, вас интересует, каким образом Мистерия уничтожит старый мир? Так сказать, наше оружие... наш арсенал?..

— Ах, оставим это штабным генералам!.. Хотя если вы мне как писателю раскроете секрет, я буду вам весьма признателен...

— Что ж, извольте. У нас есть сверхмощное, тайное оружие... — Я не отказал себе в удовольствии исподволь понаблюдать, каким всплеском отзовется брошенный мною камушек.

Киплинга хватило лишь на то, чтобы с минуту выдерживать равнодушное молчание, и он воскликнул:

— Какое? Какое? Я сгораю от нетерпения.

Я не стал испытывать его несколько суетливое нетерпение и сразу ответил:

— Любовь. И не к жрицам любви, а ко всему человечеству.

— Bravo! Иного ответа я не ожидал. — Киплинг сразу скис и заскучал: он был явно разочарован. — Так я буду ждать вас в гости... вот хотя бы завтра, ближе к вечеру. Поболтаем о чем-нибудь под тенью пальм — в том числе и о тайном оружии, ха-ха. — Он высоко поднял брови, шутки ради придавая тайному оружию то значение, которого этот предмет — в силу своей ничтожности — явно не заслуживал.

Параграф двенадцатый

В БОМБЕЕ

Как советовал Киплинг, мы остановились в отеле «Тадж-Махал», но не с видом на море (от этих видов мы за три недели порядком устали), а с новой для нас возможностью обозревать улицы города, пестрящие всякой экзотикой, иглохнуть от доносящегося снизу гула и грохота.

— Вот ваша Индия Духа, разноголосая, гортанная, зазывная, базарная, — говорил я Скрябину, открывая окна, в которые доносились гудки пароходов (гостиница была рядом с портом), слитный шум толпы, пронзительный скрип повозок, мычание быков, щелканье бичей и гортанные крики погонщиков.

К тому же в воздухе висело облако пыли, носились мухи, оводы и слепни, тянуло смрадом от коровьих лепешек, конской мочи, вылитых из окон помоев и застоявшихся после недавнего тропического ливня луж.

— Подождите... Индия Духа еще впереди. Вспомните «Сказание об Индийском царстве»: «А посреде моего царства идет река Едем из рая». Вот оно как — прямо из рая!..

— Так вы полагаете, что попали в рай?

— Если рай есть некое совпадение, тогда — да, я в раю.

— Какое совпадение, позвольте спросить?

— Ну, как вам сказать... совпадение человека с собственным предназначением, назначенным ему свыше. Если угодно, с замыслом о нем Всевышнего. Я, к примеру, совпадаю в этом замысле с Индией — не как с географическим понятием, а как с духовной идеей, которой я посвятил жизнь и всеми силами служу. Идеей — Мистерии. Ведь она не вымышлена мной, а мне открыта через посетившее меня откровение. А зачем ее открывать и вообще огород городить, раз не мне ее осуществить? Каждому творцу дается именно та идея, какая ему предназначена: Бетховену — идея Девятой симфонии, Вагнеру — «Нибелунгов». А мне — это. — Скрыбин обозначил руками некий круг, заключавший в себе предназначенную ему идею. — У меня есть ряд веских данных так думать, но я не все могу и не все имею право высказать. Впрочем, меня и не каждый поймет — разве что избранный круг самых близких единомышленников и друзей. Имеющий уши да слышит...

— Ваша мудрость — эзотерическая?

— Да, дорогой мой, так это принято называть... Но не скажу, что я уж такой убежденный, непоколебимый мудрец. Человек потому и прозван мыслящим тростником, что на ветру он трепещет, колеблется, сомневается. Вы знаете, у меня бывали приступы отчаяния, когда мне казалось, что я не напишу Мистерии, — это самые ужасные минуты моей жизни. Это — минуты слабости и малодушия, но это-то парадоксальным образом доказывает мне, что я прав. И видите... Мистерия написана, и мы в Индии для того, чтобы построить Храм. Средства для этого есть, место мы выберем. Проект у нашего архитектора, как он уверяет, почти готов. Самые ужасные минуты становятся самыми счастливыми...

Скрыбин был во всех отношениях прав. Генри Вуд, наш архитектор, сразу с дороги заперся у себя в номере для «завершающих штрихов», как он выразился. Он надеялся к завтрашнему дню закончить проект, чтобы явить его сначала нам, а потом — в Адьяре. И обещал нам, что «впечатление будет грандиозное» и мы все чуть ли не «попадаем со стульев».

Скрыбин на столь эксцентричные обещания сомнительно покачивал головой: ему не совсем нравилась подобная манера выражаться, но... у каждого гения свои причуды, и главное, конечно, результат.

У Киплинга я так и не побывал, хотя он жил тут неподалеку, как объяснил мне портье, глядя на его визитную карточку (да и без всякой карточки всякий в Бомбее знал, где именно обитает великий писатель). У того же портье мы узнали, как из Бомбея добраться поездом до Мадраса, а там нанять коляску до Адьяра. Оказалось, что все это также сравнительно (по индийским масштабам) близко — чуть более тысячи километров.

Поэтому мы заказали билет на завтра и даже не стали распаковывать чемоданы.

Лишь Наталья Валерьяновна у себя переделалась в новый дорожный костюм, строгий и элегантный, сшитый по английской моде, пригодный и для пеших прогулок,

и для верховой езды, поэтому похожий на амазонку, с вложенным за голенище сапожка хлыстиком. Он был загодя приготовлен ею специально для Индии, а также предназначался для торжественного случая — показа завершенного архитектором проекта.

ДОНЕСЕНИЕ ПЯТОЕ

Параграф первый

ПРЕЛЮДИЯ

Господа полицейские! Я собирался начать это донесение с подробного отчета о показе Генри Вудом проекта Храма — как события важного и значительного. То есть без всяких прелюдий сразу взять главную тему и раскрутить ее, как раскручивают барабан, на который намотан корабельный канат. Но знаете, как бывает... Вам, полицейским, это хорошо известно. Вы устремляетесь в своих поисках и преследовании за этим самым важным и значительным, но тут такая досадная мелочь...

Даже не канат — тоненькая (и не разглядишь!) ниточка, не намотанная на катушку, а плавающая в воздухе и послушная малейшему дуновению ветерка. Да что там ветерок: кто-то чихнул, и плавунию отнесло на несколько шагов.

И вот эта ниточка к вам прилипла...

Прилипла, прицепилась к вашему рукаву. Казалось бы, сушая мелочь, полная ерунда, пустяковина. Вам бы ее только снять, отцепить, щелчком этак сбить, словно гусеницу, она же — никак, прицепилась и — словно намертво.

Тогда вы невольно к этой ниточке присматриваетесь. Вы пристально ее изучаете, исследуете, даже подносите к глазу лупу с десятикратным увеличением — в пору хоть лизнуть ниточку за кончик и попробовать на вкус.

И вдруг оказывается, что она (кто бы мог подумать!) прямехонько выводит вас на тайный масонский заговор, за которым вы давно и безуспешно охотитесь, на козни иностранных разведок, на заложенную под фасад государственной власти адскую машину, готовую к взрыву (огонек уже побежал по бикфордову шнуру) или что-нибудь в этом роде.

Словом, не ниточка, а нить Ариадны, помогающая выбраться из запутанного лабиринта ложных догадок и гипотез...

Вот так же случилось и со мной. Я собирался приступить к своему очередному донесению о столь важных и значительных событиях, за которыми угадываются ни больше ни меньше как судьбы мира, а тут к рукаву прицепилось — вывернулась откуда-то сценка. Ну, совершенно пустячная, даже ничтожная, но за ней... не скажу, что масонский заговор или козни разведок (хотя не исключено, что и они тоже), но события столь же грандиозные, как и сама Мистерия.

Поэтому как мне эту сценку не привести, не описать хотя бы бегло, коротко, в несколько штрихов. Словом, без прелюдии (а прелюдия — излюбленный Скрябиным жанр) тут не обойтись. И я ее сочиню если не талантом (таланта сочинять музыку у меня нет), то хотя бы чихом...

Параграф второй

НОВЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

За билетами на поезд мы отправились втроем: Скрябин, Наталья Секерина и я. В нашей компании не хватало Генри Вуда, без которого мы скучали, лишенные его общества. Но он и на этот раз остался в номере, поскольку явно не собирался спать этой ночью,

готовая к утреннему показу свой проект. Нас он по-прежнему к себе не пускал, ссылаясь на своего любимого Констебла, писавшего пейзажи в окрестностях фермы, где он вырос.

По словам Генри (за их истинность и правдивость я не поручусь, но как выдумка они меня ничуть не смущают и вполне устраивают), Констебл никому не позволял приблизиться к этюднику и даже отпугивал любопытствующих истошным ослиным криком, когда писал маслом на пленэре. А если его пытались урезонить, ссылаясь на принятый церковью обычай: Вербным воскресеньем священники оглашают внутренность собора ослиным криком, памятуя о том, что Иисус торжественно въезжал в Иерусалим верхом на осле...

Билеты мы взяли без всякого труда, поскольку, кроме нас, особых желающих их приобрести не было. Билеты стоили дорого; платить за них деньги — было прихотью, доступной здешним богатым и состоятельным англичанам. Большинство же местных жителей предпочитало обойтись без лишних трат, втиснуться в вагон, где-нибудь незаметно пристроиться со своими пожитками и как-нибудь исхитриться, чтобы увернуться от контролеров и проехать зайцем.

Если контролеры все-таки поймают за уши и уличат, сослаться на свое происхождение из местных — темношеих — зайцев и поплакаться им в жилетку, утерев патристические слезы. Авось и пронесет...

И вот уже с билетами в руках мы стоим чуть поодаль от кассы. Билеты до Мадраса у нас на поздний вечер — согласно проставленной дате, поезд отходит в 25.10. Да, да, такая странная дата: на самом деле должно быть 23.10, но тройка читается как пятерка.

Нас с Натальей Валерьяновной это развеселило. Мы долго смеялись по поводу того, что милостью здешних богов и местного печатающего устройства со слепыми цифрами нам подарен лишний час в сутках, и стоит подумать, как его лучше использовать... И лишь Скрябин с его пифагорейством и чуткостью к различным значениям цифр и не думал смеяться. Напротив, он со всей серьезностью произнес:

— Интересно, хорошо ли пропечаталась шестерка в дате этого года...

— Какая шестерка, дорогой?

— Ну, сейчас же у нас тысяча девятьсот шестнадцатый год. Вот я и спрашиваю про последнюю шестерку в этой цифре.

— Почему именно про шестерку?

— Потому что после нее следует семерка...

Мы подумали, что это сказано не совсем понятно... ну, да ладно, решили не заморачиваться и не вдаваться в подробности. Мы стали вглядываться в билеты (Наталья Секерина даже достала маленькие дамские очки и, не надевая, приблизила к глазам). И выяснилось, что шестерка читается как семерка. Как тут снова... если не рассмеяться, то хотя бы улыбнуться несколько натянутой и принужденной улыбкой!

— Получается, что мы живем не в девятьсот шестнадцатом, а в девятьсот семнадцатом году! Теперь у нас отняли целый год! Я не согласна!

— В таком случае «двадцать пять точка десять» — это месячная дата, двадцать пятое октября. Что она нам сулит? — спросил Скрябин, уже склонившийся к какой-то мысли и собиравшийся осторожно подвести к ней нас.

Мы тем не менее артачились и сопротивлялись:

— Мы не провидцы, предсказывать не беремся...

— А я возьмусь предсказать, хотя вас ничто не обязывает со мной соглашаться, — сказал Скрябин с той опьяненностью во взгляде, которая появлялась, когда он уже был не с нами, а помыслами уносился куда-то вдаль. — Это дата начала моей Мистерии. Мистерия для оркестра, света и хора в семь тысяч голосов начнется двадцать

пятого октября семнадцатого года. С этой даты можно вводить новый календарь, как во времена французской революции.

— Вы в самом деле так считаете? — спросил я, словно Скрябин мог считать как угодно, но не все это следовало принимать за истину.

— И ты из опечатки в билете делаешь такой вывод? — подхватила Наталья Валерьяновна, но Александр Николаевич в ответ промолчал — промолчал так, словно наши вопросы еще не содержали чего-то мало-мальски существенного, что заставляло бы на них ответить, а сами мы не казались ему теми, с кем можно было обсуждать такие темы.

И лишь после долгой паузы он, словно возвращаясь к нам из заоблачных странствий, тихо и как бы нехотя произнес:

— Не забывайте, что у меня свои отношения с цифрами.

— Вот как! Ты у нас второй Пифагор... — Наталья Валерьяновна наставила на Александра Николаевича свои маленькие дамские очки.

— Ну, не знаю, какой там Пифагор... но цифры мне многое открывают. Говорят, что рукописи моих сонат часто похожи на математические таблицы. — После еще более долгого и сосредоточенного молчания, которое мы, готовые с ним спорить, почему-то не решались прервать, Скрябин словно бы невзначай добавил: — Все-таки я родился на Рождество, а умер, как вам хорошо известно, на Пасху. Согласитесь, это что-нибудь да значит

— Известно, известно. Можешь не повторять, — сказала Наталья Валерьяновна, суеверно избегавшая любых упоминаний о его смерти.

Параграф третий В ПАРИКМАХЕРСКУЮ

Утром следующего дня мы собрались в прокуренном номере у Генри Вуда, чтобы присутствовать на обещанном им торжественном показе. Нам предстояло увидеть будущий Храм и вынести свои авторитетные суждения о завершенном проекте. Такая ответственная выпала нам роль, и мы с Натальей Валерьяновной слегка робели. Ну, какие мы авторитеты! Что мы смыслим в архитектурных изысках! Тем более что Генри не раз повторял, что подобных храмов в мире еще не было.

Наталья Валерьяновна (кажется, ее била легкая дрожь) наклонилась ко мне и прошептала: «Какой ужас! Я не знаю, что сказать! Решительно не знаю, как на экзаменах в гимназии! Что бы там ни было, буду только хвалить — вот и все! Пусть он считает меня восторженной дурушкой!» Я ей так же тихо посоветовал заранее об этом не думать и не стараться заготовить умные фразы: как скажется, так скажется.

И лишь Скрябин намерен был высказаться по существу и не сомневался в своей оценке. Александр Николаевич с утра выставил в коридор ботинки, чтобы прислуга их отзеркалила, и велел принести из стирки лучшую сорочку. Он успел побывать в лучшей парикмахерской (парикмахерским на борту парохода Скрябин почему-то не доверял). Там его подстригли после трехнедельного плавания, подровняли ему усы и бородку, освежили пахучим колониальным одеколоном, и он, довольный собой, не упускал случая хотя бы искоса взглянуть на себя в зеркало.

Взглянуть и тотчас отвернуться, словно и не думал на себя смотреть, и без того уверенный, что он — комильфо. Так Александр Николаевич готовился к встрече. Можно даже не добавлять, какой именно, поскольку теперь, когда Мистерия закончена, встреча у него одна — с его будущим Храмом.

Все-таки он так ясно видел этот Храм в мечтах, а мечта для Скрябина — не туманное нечто, а один из способов действия. Он не раз говорил (и я это слышал, а затем записал), что мечта — это творческий полет, созидание: она движет миры. Поэтому в его высказываниях о проекте Храма не может быть никакой дипломатии: как есть, так он и скажет.

И — не ошибется.

Проект будущего Храма лежал на столе — большой лист чертежного ватмана, свернутый в трубочку и стянутый резинкой. Кстати, было замечено, что резинка — от пухляка с лекарствами. Видно, архитектор после безумных ночных бдений был вынужден считать успокоительные капли, стекающие по надломленной спички в чашку...

Во всяком случае, к такому выводу мы пришли, тихонько посоветовавшись с Натальей Валерьяновной (спичка валялась тут же на столе). А Генри тем временем убажбал нас тем, что старался вести себя как гостеприимный хозяин, получше усадить, угостить заранее заваренным и разлитым по чашкам зеленым чаем и, казалось, менее всего заботился о своем детище. Генри словно бы вовсе забыл о нем и, если бы ему напомнили, изобразил бы на лице искреннее недоумение, вызванное тем, что кого-то всерьез заботят такие пустяки и интересуют какие-то там проекты.

Но на самом деле если он о чем-то и помнил, так это о стянутом резинкой ватмане, а все прочие действия совершал автоматически, как заведенный и пущенный в ход болванчик, раскланивающийся на разные стороны и сияющий улыбками радужного гостеприимства.

Когда мы втроем наконец расселись и взяли в руки чашки, Генри отрешенно затаих, чтобы с него сошел весь этот напускной ажиотаж. Он глубоко вздохнул, прошептал: «Господи, помилуй», словно решаясь на отчаянный шаг, и произнес почему-то по-русски, с трудом выговаривая слова:

— Господа, начало! Прошу внимания!

Мы же еще не успели настроиться на серьезный лад; все наперебой пытались шутить и остроумничать:

— О, Генри говорит по-русски! Он ради торжественного случая выучил одну фразу...

— Однако где-то мы эту фразу слышали. Подождите, подождите... Это же фраза Треплева из «Чайки»! Генри у нас обожает Чехова, как и вся Англия!

— Да, да, так говорит Треплев у Чехова — перед началом своей декадентской пьесы.

Тут Генри прервал нашу болтовню тем, что дернул аптечную резинку с ватмана и развернул его перед нами, приложив к стене и разглаживая ладонью так, чтобы ватманский лист снова не свернулся.

— Ну вот, так сказать, мое нечто... ха-ха-ха! — Смешок у него был нервный. — Любуйтесь! Треплев фиглярствует перед Ниной Заречной!

При этих словах у Натальи Валерьяновны выпала из волос и звякнула об пол шпилька, и она схватилась за голову, опасаясь, что это испортит ей прическу. Я нагнулся и поднял с пола шпильку.

Сам Генри при этом отвернулся, явно не желая любоваться вместе с нами и оставая за собой право взглянуть на свой проект чуть позже — как бы со стороны, нашими несведущими глазами.

Мы же все оторопели, взирая на его художество. Мы ожидали чего угодно, но только не этого. В лучшем случае это был черновой набросок, а в худшем — явная мазня с кляксами, подтеками и размывами туши.

Мы недоуменно и растерянно переглянулись. Однако положение обязывало: мы должны были высказаться, вынести экспертную оценку. Значит, следовало взять себя в руки и выдержать роль до конца.

К тому же мы были вынуждены соблюдать приличия, ведь Генри наш спутник и товарищ. Поэтому мы не отваживались прямо назвать это мазней, а искали более обтекаемые выражения:

- Тоже что-то декадентское...
- Треплев! И здесь чеховский Треплев!

И лишь Наталья Валерьяновна, поначалу намеревавшаяся расточать похвалы Генри, вдруг сорвалась:

- Это не Треплев, а какой-то кошмар! Ужас что такое! Уберите это с моих глаз!

И тут мы по неловкому движению Генри (рука у него чуть дрогнула) заметили, что листов на самом деле два (нижний лист скрывается под верхним). Это нас слегка озадачило, и мы приумолкли. Генри, казалось, спиной чувствовал наши взгляды и нас подзадоривал:

- Что же вы! Обличайте, ругайте, насмешничайте, а я послушаю!
- Но то, что ты нам демонстрируешь... извини нас...
- Смелее! Я — бездарность! Я ни на что не способен! — воскликнул он, призывая нас особо не стесняться в выражениях.

Это нас одновременно и смутило, и отрезвило.

- Но это какая-то... маскировка. Похоже, ты что-то от нас прячешь...
- Я — от вас?! Прячу?!

Он выронил первый лист, спланировавший на пол и свернувшийся в трубочку. И тут перед нами во всей непередаваемой красоте возник тщательно вычерченный на втором листе рисунок Храма. Мы обомлели. Это было истинное чудо. Это была невыразимая симфония, но симфония не звуков, а линий, сливавшихся в целостный — звучащий — образ.

Образ прекрасного Храма с полушарием купола, освещенного ниспадающим на него столпом света и отражавшегося в воде. И это отражение придавало ему самую совершенную, по мнению Скрябина (Александр Николаевич не уставал это повторять), форму — форму идеального шара.

- Боже, какое чудо! — восхищенно прошептали (пролепетали) мы в один голос.

— А какой из этих двух рисунков лучше? — спросил Генри с самым невинным выражением лица. — С кляксами или без клякс?

- Они оба прекрасны! — вырвалось у нас.

Генри Вуд ликовал. Генри был счастлив.

— А теперь смотрите... — Он сблизил два листа ватмана. — Ведь на самом деле это один рисунок... Убедитесь же... один!

- Да, и вправду один... — растерянно согласились мы.

— Но совершенство первого стало для вас очевидным, когда я показал вам второй, вовсе не такой... — Генри повременил с последним словом — повременил до тех пор, пока мы не осознаем значение всех предыдущих слов, и наконец произнес: — Не такой совершенный.

После этого он, чувствуя потребность в движении и каком-то действии, оглянулся по сторонам, взял шляпу и стал раскланиваться, собираясь нас покинуть.

— Куда вы?! — разом воскликнули мы, опасаясь, что он на нас обижен и вряд ли нас теперь простит.

Он пожал плечами, удивляясь вопросу, который, по его мнению, можно было и не задавать. Но все-таки ответил:

- Как это куда! В парикмахерскую, конечно! Теперь я могу себе это позволить!

Параграф четвертый

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

Наше решение посетить Адьяр было не только символическим актом приобщения к теософской мудрости, но и имело практическую сторону.

Мы трое (Скрябин, Наталья Секерина и я) — за исключением Генри Вуда — в Индии были впервые и, естественно, никого тут не знали. Не владели мы и языками, чтобы общаться с местными жителями. Английский знал лишь я один, и Наталья Валерьяновна кое-что помнила по гимназии. То, что Скрябин на основе санскрита пытался изобрести универсальный язык для народов, участвующих в Мистерии (как уже говорилось, свои находки он вписывал в особую тетрадь), вовсе не свидетельствовало о его углубленном знакомстве с санскритом. Это были чисто лабораторные опыты или даже, точнее, его фантазии, похожие на вымышленные языки детей, понятные лишь им одним.

Кроме того, санскритом пользуются, чтобы читать древние рукописи, а не разговаривать в уличной толпе, не торговаться на рынках и прочее. Разговор же ведется на хинди, урду, прочих языках и наречиях, которых в Индии великое множество. К ним же Скрябин в своем познавательном усердии и не приближался.

Его отец был склонен к языкам и быстро их выучивал, но Скрябин этой склонности не унаследовал. Свои идеи он записывал прежде всего нотами, а потом уже словами. И вообще, Скрябин, по своему обыкновению, грезил Индией Духа и имел весьма смутные, расплывчатые и приблизительные представления об ее истории, географии и бытовом укладе.

Александр Николаевич наивно удивлялся, что коровам разрешают лежать посреди мостовой и все машины, экипажи, повозки и велорикши вынуждены их объезжать, — удивлялся, пока я ему не объяснил, почему к ним так относятся, и он не воскликнул: «Да, да, я где-то читал, что коров почитают как священных животных, но не предполагал, что до такой степени!» Я ненамного опередил Александра Николаевича в познаниях о стране царя Бхараты, чьим именем названа поэма «Махабхарата», а Наталья Валерьяновна помнила эту страну лишь по картинкам из гимназических учебников.

Правда, у нас было любезно нам выданное, заверенное печатью рекомендательное письмо от Министерства колоний, где туманно обозначалась наша миссия (сообщалось, что мы прибыли для совершения религиозных церемоний) и указывалось несколько адресов, по которым мы при необходимости можем обратиться. Но это не обеспечивало нам нужных связей и не могло служить ориентиром в тех кругах, от которых мы зависели.

Полагаться же на Генри мы не могли, поскольку он свои прежние связи растерял, возобновить же их не было никакой возможности.

Да и какие там связи — пшик!..

Скитаясь по дорогам Индии, он больше дружил с уличными факирами, аскетами, шарлатанами и фокусниками, чем с деловыми людьми. Архитектурные проекты для Генри были чем-то вроде хобби, не приносившего ему особых заработков, а просто подогревавшего тщеславие, и он подмахивал контракты на строительство, сидя в притонах и побулькивая изогнутым кальяном.

Да и вообще, эксцентричный джентльмен на лондонский манер, облюбовавший себе уголок под Вестминстерским мостом, человек фантастический и иллюзорный, как он сам себя называл, Генри был соткан из собственных причуд, иллюзий, эксцентричных выходов и появлялся всюду так же внезапно, как и исчезал.

Словом, для нас это был ненадежный вожатый, и нам оставалось полагаться лишь на мадам Безант. Она в этом смысле была гораздо надежней. Разборчивая в дружбе, она к тому же имела настоящие связи, была опытным дипломатом и могла свести нас с нужными людьми. Мистерия ее заинтересовала еще в Швейцарии, где она нас посетила, провела у нас полдня, обо всем расспросила (все нужное выведала), всего наобещала и одарила своим чутким вниманием.

Причины были ясны: мадам хотела нас очаровать, обаять, приручить, как приручают собаку ласками и подачками. И — взять на поводок. Я бы даже позволил себе смелую метафору: взять Мистерию на поводок теософии. Может быть, я цветисто выразился, но господа полицейские меня поймут и простят (по французской поговорке: кто поймет, тот...). Уж они-то мастера использовать всякие поводки, причем обладают умением пристегивать их так незаметно, что и не заметишь, как ловко тебя ведут на поводке, направляя (коленкой подпихивая) в нужную сторону.

Параграф пятый СДАВАТЬСЯ

— Простите, могу я сюда поставить мой саквояж? — спросил вошедший следом за мной пассажир, и мне пришлось подвинуть ноги, чтобы освободить ему место, хотя мне это было не слишком удобно: колени упирались в какой-то ящик, а на нем были пирамидой сложены картонные коробки, грозившие вот-вот на меня обрушиться.

Тем не менее я сказал:

— Пожалуйста. Будьте любезны.

— А присесть разрешите? — Он пристально на меня взглянул, хотя я не то чтобы отворачивался, но старался на него не смотреть.

— Если у вас билет на это место, то спрашивать разрешения, мне кажется, совершенно излишне.

— Да, именно на это. Можете убедиться... — он протянул мне билет.

Я бесстрастно взял его в руки и при этом заметил, что и на его билете тройка тоже не пропечатана и выглядит как пятерка. Поэтому я позволил себе выразиться слегка загадочно:

— Судя по вашему билету, у нас в сутках двадцать пять часов.

— Извините, не понял...

Я сделал неопределенный жест, означавший, что эту едва затронутую тему можно оставить без внимания, не вдаваясь в подробности.

— Не столь существенно...

Он тем не менее оглядел свой билет с обеих сторон, стараясь установить, чем он вызвал мое неудовольствие.

— И все же хотелось бы знать...

— Просто тройка пропечаталась у вас как пятерка. Получается, что мы отправляемся в двадцать пять часов и четыре минуты.

— Ах вот оно что! Да, действительно... билетный кассир нам прибавил лишний час. Так сказать, авансом на будущее.

— Почему авансом?

— Ну, может быть, в будущем веке время как-то изменится, и сутки обогатятся лишним часом. А может, и вообще... время исчезнет...

После этих слов мне захотелось на него посмотреть, но я сдержался, чтобы потом не чувствовать себя обязанным вести бесконечные разговоры, а хотя бы некото-

рое время поспать. Тем более что и мои попутчики уже засыпали в своих креслах чуть поодаль от меня.

— Не исключено, — сказал я, предлагая ему закончить разговор на этой фразе.

Но он разохотился, почувствовав во мне терпеливого собеседника:

— А насчет Индии вы правы, — произнес он, хотя я насчет Индии никак не высказывался. — Все порядком обветшало, потускнело и поистерлось. Индия уже не та, что была раньше. Нам, пишущим, это особенно заметно.

— Так вы писатель? — спросил я, по-прежнему не поворачиваясь, но все же с некоторым интересом, вызванным тем, что в Индии не так уж много писателей, чтобы оставить этот факт без внимания.

Он заскромничал:

— Ну, уж так сразу... писать можно и железнодорожные справочники.

— И все-таки мне кажется... — Я повернулся, всматриваясь в его лицо, затененное козырьком морской фуражки. — Вы — Киплинг!

Он был приятно польщен тем, что его наконец узнали.

— Да, имею честь быть вашим знакомым. Что ж вы меня не навестили в Бомбее?

— К моему величайшему сожалению, не удалось. Сплошные хлопоты! Времени совсем не было. А вы каким образом здесь?

— Еду в Адьяр.

— Если не секрет, с какой целью?

— Сдаваться.

— Сдаваться? Перед кем? Такому известному писателю не пристало...

Он заверил меня предупредительным жестом ладони, что не следует торопиться с суждениями об известных писателях. Иногда и они вынуждены выбрасывать белый флаг.

— Я бы не сдался перед врагом — перед теми же немцами, если бы они ворвались в наши окопы и все такое, но перед женщиной... к тому же столь умной и образованной... — Мне оставалось лишь догадываться, кого имел в виду Киплинг. Но поскольку я оказался не слишком догадлив, он сам назвал имя женщины, перед которой не мог не сдаться: — Госпожа Безант давно меня привлекает в сумрачные теософские дебри, а я все противлюсь и отказываюсь. Убеждаю ее, что не готов к столь высокому посвящению. Но вот теперь решил сдаться и вступить в Теософское общество.

— Поздравляю. Что же вас заставило?

— Христианин из меня плохой, в церкви я почти не бываю, так, может быть, теософ получится более-менее сносный.

— Вы знаете, мы ведь тоже едем в Адьяр.

— Что вы говорите! — Киплинг постарался изобразить лицом (и даже снял свои круглые очки), что услышанное было для него откровением. — Какое совпадение! И тайное оружие у вас с собой?

— Какое тайное оружие? — спросил я недоуменно, с трудом припоминая, что на пароходе имел неосторожность упомянуть о чем-то подобном.

Он поспешил меня успокоить и погасить мое недоумение:

— Шутка, и не более того. Анекдот!

— Похоже, анекдот ваш с каким-то двойным дном...

— Что вы! Он вообще без дна — бездонный... — сказал Киплинг и посмотрел на меня внушительно — так, словно готов был повторить сказанное, поскольку с первого раза я вряд ли мог понять во всей глубине его смысл.

Параграф шестой ИЗ СООБРАЖЕНИЙ ТАКТА

По случаю нашего приезда госпожа Безант решила не устраивать торжественного приема, а велела накрыть чай на маленькой уютной веранде, за круглым столом, но только принести из главного зала готические стулья, обтянутые черным бархатом, с витражными врезами в высоких спинках. По ее мнению, эти стулья соответствовали статусу таких знаменитостей, как Скрябин и Киплинг, а заодно и остальной нашей компании придавали некую особую значимость и даже таинственность, столь ценную в теософских кругах.

Скрябин и Киплинг (на пароходе они держались слегка отчужденно, не выказывая заметного намерения сблизиться) в поезде уже успели хорошо познакомиться и освоиться друг с другом, пока мы из Мадраса ехали в Адьяр, и к ним на правах творческой личности присоединился Генри Вуд. Он, впрочем, довольно чопорно, высокомерно и несколько неуклюже выказывал им свое расположение, поскольку никак не мог попасть в тон, присущий истинным знаменитостям, и держаться с ними на равных.

Скрябин же и Киплинг были в восторге друг от друга. Они сразу нашли общий язык и весело болтали о всякой всячине (я не успевал переводить), не только о погоде и красотах Индии, но и не отказывали себе в удовольствии немного пофилософствовать. Для заинтересованных лиц из соответствующих ведомств привожу тезисы их беседы. Сразу отмечу, что политики они не касались. Киплинг, естественно, признавал лишь политику Англии — в том числе и колониальную.

Скрябину же это было чуждо — не потому, что Александр Николаевич из противоречия, продиктованного патриотическими чувствами и побуждениями, возвеличивал политику России, но потому, что политику он вообще откровенно презирал. Скрябин не разговаривал: «Вы требуете от меня полной откровенности? Извольте. Я откровенен в моем презрении к политике».

Александр Николаевич считал деятелей разных кабинетов лишь марионетками, которые механически повторяют то, что предписано им свыше (открывают рот и двигают руками), не оказывая никакого влияния на ход мировой истории.

По мнению Скрябина, историю творят невидимые миру избранные — те, кто постиг великий закон аналогии Гермеса Трисмегиста, сформулированный им в Изумрудной Скрижали: внизу, как наверху. В разговорах с Киплингом Скрябин несколько раз обмолвился, что нынешняя война, при всем ее кровопролитии, должна рассматриваться положительно и даже приветствоваться, поскольку она призвана пробудить человечество и подготовить его к грядущей Мистерии.

Немного поговорили они и о последних научных открытиях квантовой механики, радиоактивности, гипноза, которые Скрябин всячески приветствовал, поскольку эти открытия свидетельствуют об истончении материи, подобном тому, как истончается по весне, делается ноздреватым и прозрачным тающий лед, и тем самым предсказывают возможность полной дематериализации.

На этом собеседники оставили науку и политику, но охотно развивали свои мысли о жизни и искусстве. Причем Александр Николаевич обнаруживал немалые познания в английском искусстве и литературе. Более того, он высказывал весьма смелые суждения на этот счет. И эта смелость пробуждалась в нем всякий раз, когда он позволял себе — под тем или иным предлогом — коснуться любимого предмета. Вот тогда-то он и блистал, и я чувствовал себя, как эквилибрист, ловя на лету различные предметы и облекая их в формы, свойственные английскому языку.

Суждения Александра Николаевича (надо отдать ему должное) были в равной степени навеяны творчеством его именитого собеседника и собственным отношением к грядущему вселенскому катаклизму. К примеру, он называл Маугли предвестником будущего — в том смысле, что только после дематериализации и наступления нового века людям удастся достичь такой гармонии с природой и животным миром, какую воплощал человеческий детеныш Маугли.

И Киплинг, весьма польщенный как автор, наделенный способностью заглядывать в будущее, со Скрябиным, конечно, соглашался.

На веранде, смотревшей окнами в сад, за которым угадывался живописный берег реки Адыр, они заняли места рядом, учтиво уступая друг другу право сесть первым. А мы трое — Наталья Валерьяновна, Генри Вуд и я — пристроились напротив, чтобы смотреть на них во все глаза и ловить каждое произнесенное ими слово. Правда, Генри Вуд чувствовал себя обойденным всеобщим вниманием и слегка ревновал, хотя это, к счастью, не нарушало царившей меж всеми нами гармонии. Но это так... к слову.

У меня при этом была и собственная цель (отчасти продиктованная графом Арбениным) — не упустить то, что будет сказано о России как о великой державе и ее роли в грядущих событиях. Но на этот раз Скрябин из соображений такта (или каких-то иных соображений) об этом не распространялся. Разве что вскользь упомянул не без свойственной ему ускользящей тонкой улыбки, что у России роль, как всегда, особая, ведь семь холмов Москвы не случайно напоминают римское семихолмие, сама же столица так и зовется Третьим Римом.

Этой улыбкой он придавал мессианству России оттенок некоего вежливого компромисса, который никоим образом не оспаривал столь же твердое и непререкаемое убеждение собеседника в мессианстве Англии.

Киплинг, оценив все оттенки высказывания Скрябина, даже снял свои круглые очки, как бы мешавшие видеть собеседника со всеми присущими ему благородными достоинствами, и привстал со своего готического стула, чтобы крепко пожать Александру Николаевичу руку. При этом он произнес, что ему выпала честь пожать руку, написавшую «Прометея», а Скрябин к этому добавил:

— Не только «Прометея». Теперь уже можно сказать, что и Мистерию.

— О, Мистерия — это динамит, заложенный под старую Европу, — подхватил Киплинг, и при этих словах на веранду через маленькую дверцу вышла хозяйка штаб-квартиры Теософского общества — уже знакомая нам по Швейцарии мадам Безант.

В знак приветствия мы все дружно поднялись с готических стульев.

Параграф седьмой

МЕСТО ВЫБРАНО

— Кто тут собирается взорвать старую Европу? Помните, что революция и тем более террор нам чужды как метод преобразования мира. Теософия никогда не встанет на этот ошибочный путь.

Анни Безант вышла к нам энергичной и при этом несколько семенящей походкой, словно одетая в узкое кимоно, вынуждавшее сдерживать переполнявшую ее энергию, мельчить и не убыстрять шаги, чтобы не лишать свою походку грации и очарования. А это с возрастом становилось все труднее. И любое излишнее усилие грозило создать нежелательную для нее видимость, что она скрывает свой возраст и молодится.

При этом следует отметить, хотя такая деталь может кому-то показаться лишней (все-таки мое донесение — не отчет об открытии модного магазина), мадам Безант была не в кимоно, а в длинном лиловом платье со слегка обозначенным турнюром.

Это платье походило на те балахоны, которые некогда носила Блаватская, несколько грузная и одутловатая, с глазами слегка навывкате, словно у страдающей базедовой болезнью.

Я могу судить о внешности Блаватской, поскольку ее портрет висел над нашим столом, и бывшая хозяйка Адьяра пытливо гипнотизировала каждого из гостей своим тяглым взглядом (это производило, признаться, несколько неприятное впечатление).

Таким образом, платье нынешней хозяйки Адьяра мадам Безант ненавязчиво подчеркивало, что она верна заветам своей наставницы, хотя оно было сшито по ее собственной фигуре.

Фигура же мадам Безант, несмотря на возраст, не утратила изящества, словно бы выточенная из индийской слоновой кости и благодаря своей живительной свежести олицетворявшая весну (недаром ее имя на санскрите читалось как Васанта — Весна). К тому же платье Анни Безант было украшено подаренными ей драгоценностями из заветной шкатулки, каждое из которых имело символический смысл и соотносилось с теми или иными теософскими понятиями.

К примеру, серебряных колец за запястье было семь — по числу тех Семи Рас человечества, о которых много писала ее наставница Елена Блаватская. Скрыбин это заметил и, целуя руку хозяйке, произнес с интригующей многозначительностью, призванной подчеркнуть его осведомленность:

— Догадываюсь, что число семь выбрано не случайно.

— Вы правы, — согласилась мадам Безант не без сознания того, что права всегда и во всем она, а другие способны лишь в той или иной степени приблизиться к ее правоте. — Может быть, скажете, что именно оно символизирует?

— Если исходить из учения «Тайной доктрины», то наверняка — Семь Рас.

— Bravo! Вы большой знаток «Тайной доктрины»! — Она заплодировала, а Скрыбин в ответ сдержанно поклонился.

— И не только знаток, но и продолжатель. «Тайную доктрину» я читал с карандашом в руке. Моя Мистерия — это во многом воплощение теории Семи Рас, каждая из которых олицетворяет ту или иную сторону единой Мировой Души. Народы шествуют к Храму, и каждый народ — носитель свойств той или иной Расы человечества, уподобленный ей духом, психической организацией, цветом кожи и телом. И сам характер моей музыки, сопровождающей это шествие, соответствует фольклорным основам и интонациям каждой из семи Рас. Моя музыка вбирает — вплетает их в себя посредством сложного контрапункта, развивает и преображает. Такова идея храмового действия.

— А проект Храма у вас уже есть? — спросила хозяйка Адьяра, всегда стремившаяся к тому, чтобы любая идея приобретала письменную форму.

Александр Николаевич с особым удовольствием ответил:

— Да, благодаря нашему архитектору Генри Вуду проект уже готов. — При этих словах Скрыбина Генри сначала почему-то сел, а затем привстал, а Наталья Секерина покраснела за него, как за смущенного и растерянного ребенка, призванного заявить о себе в присутствии взрослых.

— Прекрасно. — Анни Безант благосклонно оценила и скромность архитектора, и стыдливый румянец его патронессы. — Надеюсь, вы мне позволите взглянуть на проект?

— По первому вашему желанию...

— Впрочем, я заранее нахожу его замечательным. Между прочим, моя девичья фамилия — Вуд. Мой отец Уильям Вуд был врачом, — сказала хозяйка Адьяра и почему-то сама засмущалась и залилась стыдливым румянцем. — Не знаю, зачем я это

говоря... Наверное, от застенчивости и вечных сомнений в себе. Все мы, пишущие книги, в себе сомневаемся. Не правда ли, господин Киплинг?

— Истинная правда, мадам, — согласился тот, наслаждаясь своей известностью, благодаря которой ему не пришлось ждать, когда его вновь отрекомендуют хозяйке: мадам Безант если и помнила его, то весьма смутно.

— Впрочем, могут быть и другие причины помимо моей застенчивости, — сказала госпожа Безант, относя другие причины к числу тех незначительных причин, которые не нуждаются не только в объяснении, но и в упоминании о них и не заслуживают внимания столь изысканного общества, как общество ее гостей.

Параграф восьмой

ТАК УЖЕ БЫВАЛО

После того как мы стоя приветствовали хозяйку (и мужчины целовали ей руку), поддерживая с ней непринужденный разговор, все снова церемонно расселись за круглым столом и слуги принесли чай. Мадам Безант посчитала себя обязанной сказать то, что было бы всем приятно, а ей тем более, поскольку она любила делать приятное другим:

— Я очень рада, что оказалась в избранном обществе, среди моих друзей, и старых, и, особенно, новых. — Она выразительно посмотрела на Киплинга, явно относя его к новым друзьям, чем несколько смутила и озадачила гостя, успевшего всем внушить, что его приезд вызван стремлением возобновить старую дружбу и ради этого даже вступить в Теософское общество.

Тут Генри Вуд не совсем кстати заметил, желая оказать услугу Киплингу:

— Господин Киплинг, как он сам признался, приехал к вам с поднятыми руками...

Лицо Анни Безант несколько вытянулось от удивления.

— Простите, не совсем поняла...

— Ну как же, как же! Джозеф Редьярд намерен сдать. — Генри назвал оба имени Киплинга, тем самым желая усилить эффект от огласки его намерения.

— Сдаться? Передо мной? В каком смысле?

Киплинг беспокойно заворочался на стуле, собираясь исправить досадную оплошность Генри, но тот опередил его:

— Насколько я могу судить, в нашем знаменитом писателе созрело решение... вступить.

— Куда вступить, боже мой?!

— В Теософское общество, конечно же!

— Ах, я хотел использовать это как предлог... — пытался объясниться Киплинг, попавший в неловкое положение.

— Почему же? Мы охотно вас примем... Вам даже не придется заручаться рекомендациями. Я сама все устрою...

— Благодарю, благодарю. Мы после вернемся к этой несколько щекотливой теме, — заверил Киплинг, явно желая, чтобы эта тема больше никогда не возникла. — Я просто хотел... быть поближе к Мистерии. — Он стремился перевести внимание всех на Скрябина как творца мистериального действа.

— Мистерия близка нам идейно. Я думаю, что Елена Петровна Блаватская, будь она жива... — Анни Безант преданно воззрела на портрет Блаватской как на живого человека, — приветствовала бы будущую Мистерию. Впрочем, она и сейчас приветствует, — добавила хозяйка Адьяра, словно бы получив невидимый знак от своей

наставницы. — Приветствует, я уверена. Знаете, что, господа? Давайте завтра расскажем друг другу свои сны...

— Вы полагаете, что...

— Я полагаю, что Елена Петровна во сне нам явится. Если не всем, то хотя бы некоторым, отмеченным ее особым доверием... Так уже не раз бывало.

— Что ж, мы готовы, — заверил Скрябин.

— В таком случае простимся до завтра. А сейчас с дороги вам надо отдохнуть. Комнаты для вас приготовлены. Слуги вас проводят, — произнесла Анни Безант голосом, свидетельствующим о том, что и она несколько устала после такого напряженного разговора. И прежде чем гости разошлись по комнатам, она, словно внезапно вспомнив о чем-то не столь интересном для всех и касающемся лишь одного Скрябина обратилась к нему: — Господин композитор, позвольте вас задержать на минутку... — А когда тот учтиво приблизился, шепнула ему на ухо с выражением лица, искусно скрывавшим от всех содержание сказанного: — Вас ждет сюрприз. Правда, не знаю, насколько он будет приятным...

Параграф девятый ЕМУ ДОКЛАДЫВАЮТ

Анни Безант повела Александра Николаевича в гостевой флигель, построенный еще при Блаватской и ее сподвижнике Генри Олкотте, но они поднялись этажом выше комнат, приготовленных для Скрябина и его свиты. Там они прошли по сумрачному коридору, гасившему шаги толстым слоем пыли на паркете (слуги здесь, похоже, не убирали), и остановились возле одной из дверей, выбранной с учетом того, что за ней явно кто-то был и по некоторым признакам угадывалось обжитое пространство.

Анни Безант постучалась в дверь особым стуком, похожим на условный пароль. Стук не столько зывал к тому, чтобы ей открыли, сколько предупреждал, что в комнату войдут (это не должно было стать неожиданностью). Вместо того чтобы и дальше сопровождать Скрябина и вместе с ним переступить через порог, она приостановилась и произнесла по-французски:

— Дальше вам лучше одному... Здесь я вас оставляю...

Александр Николаевич нашелся с ответом, выдававшим его растерянность:

— ...Как Вергилий оставил Данте на горе Чистилища перед входом в Рай.

Мадам Безант улыбнулась, отдавая должное его находчивости, но скорее из вежливости, по обязанности хозяйки, и не преминула при этом заметить:

— Аналогия не совсем уместна. Все-таки Рай — это нечто другое хотя бы потому, что вас ждет встреча отнюдь не с Беатриче...

— А с кем же?

— Сейчас узнаете...

— А переводчик мне не понадобится? — спросил так же по-французски Скрябин, отыскивая глазами меня, маячившего в отдалении и готового при необходимости приблизиться (он просил меня на всякий случай всегда быть рядом).

Мадам Безант ответила принужденной улыбкой, означавшей, что не только не понадобится, но даже будет лишним.

— Не беспокойтесь. Русского языка вполне достаточно.

Тем не менее я подошел, повинувшись угаданному мною желанию Александра Николаевича взять меня с собой — туда, в обжитое пространство за дверью.

— Вы не возражаете? — указывая на меня глазами, порядка ради спросил он у Безант.

Хотя она могла бы возразить, но все-таки, немного подумав, возражать не стала.

— Воля ваша, но только меня просили... Впрочем, решайте сами. — Она развернулась и ушла, подавая пример того, как следует считаться с деликатными обстоятельствами, не допускающими присутствия посторонних (в посторонние был прежде всего зачислен, конечно же, я).

В ответ на это я спросил Александра Николаевича:

— Может, мне тоже следует удалиться?

Но он дождался, когда шаги мадам Безант затихнут в конце коридора, и молчаливым знаком попросил меня войти следом за ним, но только после небольшой паузы.

Он мягко толкнул дверь (Александр Николаевич не любил резких движений), а я остался за дверью и услышал донесшийся изнутри изможденный возглас измученной ожиданием женщины:

— Саша!

Одновременно с этим последовало:

— Танечка! Танюка, ты! — Танюкой он звал лишь свою вторую жену Татьяну Федоровну — «весталку», как нарекла ее первая жена Вера Ивановна. — Откуда ты, моя милая? Как ты меня нашла?

— Спустилась к тебе с высот Рая, как твоя Беатриче. — Эта реплика указывала на то, что отсюда был слышен разговор, происходивший за дверью (или же были применены особые усилия, чтобы его услышать).

— От кого ты узнала, что я здесь?

— Лучше спроси, от кого я узнала, что ты жив. Ведь ты мне об этом не сообщил. Ты вообще перестал обо мне думать!

Скрябин хотел возразить, что сейчас не время для подобных упреков, но вместо этого спросил:

— Ну, хорошо... и все же от кого, от кого ты узнала?

Татьяна Федоровна произнесла (возвестила и впрямь как весталка), почти беззвучно округляя губы:

— Я была на аудиенции у царя.

— У царя? Во дворце? Ты с ума сошла! Как тебе удалось?

— Я дошла до царя, добиваясь, чтобы наших детей признали законнорожденными. Меня долго к нему не пускали. Но все-таки царь меня принял и мне сказал, что ты жив. Я сначала не могла поверить. Вообще не понимала, что это значит. Но царь несколько раз с неприязнью в голосе повторил: «Он жив, жив, жив, этот ваш Скрябин!» Николай при этом даже не назвал тебя моим мужем. Он все о нас знает. Ему о тебе всё докладывают, в том числе и то, что твоя Мистерия закончена и весь этот грандиозный спектакль назначен на октябрь будущего года. Он даже подсказал мне, где можно тебя найти: «Вам следует побывать в Адьяре, этом осином гнезде». При этом посоветовал убедить тебя вернуться в семью и не губить Россию вместе с твоим другом Плехановым и этим немецким шпионом Лениным.

— При чем здесь Плеханов? И кто такой Ленин?

— Мне это неизвестно. Но только царь воскликнул, имея в виду тебя: «Ну, и нашел же он себе компанию! С такими-то учинять в России Мистерию...»

Весь этот разговор я слышал едва доносящимся из-за двери (специальных усилий я для этого не применял). Но тут Александр Николаевич обо мне вспомнил и решил позвать меня, чтобы все не выглядело так, будто я из-за двери подслушиваю:

— Можно... можно, дорогой! Входите! Присоединяйтесь к нам! Будьте любезны...

Я переступил через порог, озираясь по сторонам и поминутно кивая, чтобы Татьяна Федоровна, в мою сторону не смотревшая, меня наконец заметила и оценила мою деликатность.

— Ах, кто это? Зачем? Вы не могли бы на минуту?..

— Неудобно, Танечка... держать человека за дверью...

— Саша, но я не могу при посторонних...

— Это не посторонний, а мой близкий друг и помощник... Это его донесения, как я догадываюсь, попадают на стол царю. Благодаря моему другу мы, собственно, сегодня и встретились.

— Донесения бывают и в полицию, и... куда угодно. Что же нам теперь — молчать? — Татьяна Федоровна не могла преодолеть неловкость, мешавшую ей говорить в моем присутствии.

— Как дети? — спросил Скрябин, чтобы отвлечь ее внимание этим сакраментальным вопросом.

— Слава богу, здоровы. Ждут тебя.

— Разве ты им не сказала?..

— Я говорила, но они не верили и оказались правы. Саша, объясни мне, как это возможно? Ведь тебя, извини... похоронили...

— Так сразу этого не объяснишь. Но если коротко, я умер, но я — жив. Суть в том, что я должен был закончить Мистерию. И вот я ее завершил... Партитура у меня с собой. Партитура огромная на больших склеенных листах, но в ней все прописано: и оркестровые голоса, и танцевальные движения, и световое сопровождение. Правда, не всякий дирижер разберется. Видимо, стоять за пультом придется мне.

— А эта женщина, которая с тобой... кто это? — по-женски боязливо и неприязненно спросила Татьяна Федоровна.

— Наташа Секерина.

— Ах, Наташа! — произнесла она так, словно это имя разом проясняло все, что раньше было неясно. — Значит, для меня рядом с тобой места нет.

— Однако ты не понимаешь. Ты судишь слишком по-женски. Между тем пошел совсем другой счет. Мистерия создана, проект Храма закончен. Еще какой-нибудь год, и все свершится.

— Но свершится без меня... Получается, что я тебе не нужна.

— Нужна! Нужна! — поторопился воскликнуть Скрябин и вдруг убедился, что в подтверждение этого у него нет ни единого слова. Ни единого, даже самого незначительного, ничего не подтверждающего, — пожалуй, кроме одного, которое он хотел произнести, но потом засомневался и не произнес: — ...

— Какая аллея? — Татьяна Федоровна не столько услышала это слово, сколько прочла по едва шевельнувшимся губам Александра Николаевича.

— Ну, знаешь, во время дождя... — Он смотрел куда-то вдаль.

— При чем здесь дождь? Я говорю совсем о другом, а ты не слышишь... — Она опасалась, что он заговаривается. — Саша, не смотри так... посмотри на меня. Вы что-нибудь понимаете? — обратилась она ко мне — единственному, от кого могла ждать хоть какой-то помощи. — Помогите ему, если вы друг! Он бредит...

— Нет, вы ошибаетесь. Александр Николаевич пребывает в ясном сознании. Это не бред, — сказал я, словно на самом деле если кто-то и бредил, то это не он, а она. — Дождливая аллея — то последнее, о чем Александр Николаевич будет жалеть, когда начнется Мистерия и весь этот мир станет погружаться в бездну.

— Но почему он не пожалеет о детях, обо мне, наконец?

— Аллея ведет туда, в прежнюю жизнь...

— Ах, оставьте! Вздор! Вздор! Все это лишь образы, красивые метафоры, романтическая поэзия, хотя... ему никогда не удавались стихи. — На этом Татьяна Федоровна отвернулась и стала собирать разбросанные вокруг вещи, которым она не уделила

должного внимания, готовясь к встрече со Скрябиным. — Так что мне сказать царю? Ты к нам вернешься? Вернешься в семью? Или будешь только бродить в воспаленном воображении по своим дождливым аллеям? — спросила она и почувствовала, что при всем раздражении, досаде и обиде ей все-таки не следовало задавать этот вопрос. — Прости меня, прости! Не отвечай мне! Будем считать, что я ни о чем не спрашивала.

Параграф десятый СНЫ

Следующим утром, за легким завтраком на английский манер — с гренками и апельсиновым соком, мадам Безант вышла к столу последней.

За столом, украшенным низкой вазой с цветами, сидели обычные для Адьяра гости. Это были мы, приехавшие вместе со Скрябиным и державшиеся тесным кружком единомышленников, и прочие — разрозненные и, как нам показалось, несколько праздные посетители Адьяра из числа тех, кого зовут любопытствующими.

В основном это были дамы.

К их числу присоединилась и Татьяна Федоровна Шлецер: она тоже получила приглашение (Анни Безант многозначительно шепнула ей на ушко). Но при этом, сидя за столом, Татьяна Федоровна ни на кого не смотрела и старалась не привлекать к себе внимания.

Анни Безант извинилась за свое опоздание, хотя это не было опозданием, поскольку все — и она в том числе — пришли намного раньше положенного срока (завтрак начинался в восемь, а часы показывали только без десяти).

Мадам Безант села на стул, верная своей привычке прямо держать спину, но при этом правое плечо у нее было безвольно опущенным и поникшим, и не хватало сил, чтобы его также выпрямить и не позволить сползти с плеча вязаной шали, которую она тщетно пыталась поправить. Шаль все равно сползала, и хозяйка Адьяра устала с ней бороться и постоянно возвращать на место. В конце концов она смирилась с этим неудобством, всем своим видом призывая всех ее не осуждать и быть снисходительными.

Анни выглядела утомленной и невыспавшейся. Она сразу призналась, что легла лишь под самое утро, поскольку всю ночь не гасила настольную лампу, писала и не могла себя заставить отложить в сторону рукопись, хотя и знала, что за это придется расплачиваться.

— О чем ваша новая книга? — спросил кто-то, а все изобразили на лицах участие, словно и им хотелось задать тот же самый вопрос.

— Ах, если бы я могла это сказать! Когда пишешь, то никогда не знаешь, куда тебя унесет вдохновение, какие мысли тебя посетят. Не правда ли, господин Киплинг?

— Истинная правда, мадам.

— Наши мысли нам не принадлежат. Они посылаются нам свыше. Моя наставница Елена Петровна утверждала, что ею во всем руководят Махатмы, диктуют ей, когда она пишет... Я не смею претендовать на столь высокую честь, но тоже, позвольте вас заверить, не чужда руководства высшими силами. А что касается книги... Решила вернуться к индийской «Бхагават-гите», которой когда-то занималась, даже писала о ней, но, как это бывает, что-то упустила, в чем-то, может быть, и ошиблась. Вы ведь тоже ошибаетесь, господин Киплинг.

— Вне всяких сомнений, мадам. Даже чаще, чем вы.

— Позвольте вам возразить, что у таких прославленных беллетристов, как вы, не бывает ошибок, а бывают догадки, кои приводят к новым открытиям.

— Благодарю вас. Но боюсь, что вы преувеличиваете мои достоинства.

— Я одна могу преувеличивать, но вся Англия преувеличивать не может. Я в данном случае говорю за всю Англию и ее обширные колонии. — Под колониями Англии госпожа Безант имела в виду прежде всего себя: это был тонкий способ лести.

Сделав комплимент Кипплингу, хозяйка Адьяра, несмотря на усталость, не собиравшись пренебрегать прочими своими обязанностями и напомнила гостям о вчерашней договоренности:

— Однако давайте рассказывать сны... Поскольку я спала меньше всех, предлагая начать не с меня, а с кого-то еще. Может быть, вы, господин Кипплинг? — Она поймала себя на том, что Кипплингу уделяет слишком много внимания, чем могут быть недовольны остальные гости, и тотчас поправилась: — Впрочем, ваш голос мы уже слышали. Поэтому я попрошу... кого же я попрошу? — Она обвела изучающим взглядом всех сидевших, надеясь, что кто-то вызовется сам. Но поскольку волонтеров за столом не оказалось, мадам Безант была вынуждена кого-то назначить если не в приказном порядке, то в порядке некоего поощрения: — Прошу господина Генри Вуда. Поведайте нам ваш сон.

Но тут Кипплинг, чья кандидатура была названа и тотчас отвергнута, решил настоять на своих правах:

— Позвольте все-таки мне. Я видел во сне Елену Петровну Блаватскую, которая, наклонившись близко ко мне, произнесла: «Тайное станет явным».

— Что она имела в виду? Подождите, не записывайте, мой друг. — Упреждающим жестом руки она сделала знак старичку индусу в белой чалме, вызванному и незаметно севшему с краю для ведения протокола.

— Передаю, как есть. Может быть, я что-то не так расслышал. Но раз уж мои ошибки названы здесь догадками, то поделюсь одной догадкой, если позволит наша хозяйка...

— Будьте любезны, господин Кипплинг...

— Не идет ли речь о каком-то тайном оружии, которое вскоре должно обнаружиться?

— Вопрос к господину Скрябину...

Александр Николаевич уже готов был ответить, но что-то заставило меня вмешаться, и я, опережая его, произнес:

— Боюсь, господин Скрябин не уполномочен раскрывать некоторые секреты...

— Ах, значит, секрет все-таки есть! — Анни Безант как бы сорвала это восклицание с губ Кипплинга, собиравшегося произнести нечто подобное, но из вежливости уступившего право первенства даме.

— В наших руках лишь одно оружие — Мистерия, — все-таки произнес Скрябин, но этим никак не удовлетворил Кипплинга.

— Кажется, один из русских классиков, а именно Николай Гоголь, сказал: «Скучно жить на свете, господа». Вот и мне сейчас скучно... — признался он, своей улыбкой прося присутствующих простить ему эту слабость.

— Надеюсь, ваши слова не означают, что вам скучно в нашем обществе. Или, может быть, скука — признак истинного денди? Чайльд Гарольд лорда Байрона ведь тоже скучал...

Кипплинг поклонился с признательностью, показывая, что ему приятно в связи с собственной персоной слышать имя Чайльда Гарольда, но сказал о другом:

— Не хочу утомлять вас литературными примерами, но, помнится, Иван Иванович Гоголя поссорился с Иваном Никифоровичем из-за ружья, а мы с господином Скрябиным, наверное, поссоримся из-за какой-нибудь сверхмощной пушки или адской машины, которую он от всех прячет и... отказывается ее мне подарить. — Он усмехнулся, словно по своей капризной прихоти имел все основания рассчитывать на такой подарок.

— А вы эту пушечку все же желаете пополучить...

— Кто это сказал? — Киплинг надменно огляделся вокруг себя, словно ему мало было слышать и хотелось видеть того, кто позволил себе подобную дерзость.

— Ну, положим, я... — Я смахнул с плеча пылинку, чтобы выглядеть достойным взгляда самого (!) Киплинга.

— Ах, это вы! — Он вспомнил, что мы с ним почти друзья. — Что ж, вам прощается. Кто же вам приснился этой ночью?

— Полагаю, что, как и всем, — Елена Петровна Блаватская. Она мне шепнула, что с некоторыми писателями надо быть осторожнее, поскольку они... писатели. — Я выразил наивное удивление по поводу того, что одно и то же слово, будь оно употреблено вторично, по своей прихоти способно приобрести совсем иное значение.

Однако Киплинг этому ничуть не удивился.

— Ну как же, как же! Ведь я не писатель, а разведчик, состою на службе у секретных служб, охотящихся за военными секретами, — сказал он так спокойно и снисходительно, словно это был лучший способ внушить всем, что его можно осуждать, даже презирать и ненавидеть, но только сказанному им о себе ни в коем случае нельзя верить.

Он способен и не такое на себя наговорить.

Параграф одиннадцатый УСПОКОИТЕЛЬНАЯ ЯСНОСТЬ

Вслед за Редьярдом Киплингом и мной стали и другие присутствующие рассказывать свои сны. Особенно охотно предавались этому дамы из числа разрозненных (по нашей классификации). Они старались не упустить ни одной мелочи, поскольку она-то, — мелочь, даже самая абсурдная для дневного сознания! — по причудливой логике сна могла оказаться самой важной и знаменательной.

А знаменательность в Адьяре всегда была на первом месте, поскольку считалась воплощением принципа: внизу (здесь), как наверху (там).

Конечно же, всем снилась Блаватская: иначе и не могло быть. Вернее, могло, но только не здесь, в Адьяре, где незримое присутствие Елены Петровны угадывается на каждом шагу, и не надо быть мистиком, чтобы распознать его и наяву, и, особенно, во сне.

Кроме того, никому не хотелось чувствовать себя обойденным вниманием Блаватской, чье ночное посещение воспринималось как знак особой милости. Поэтому присутствующие утверждали, что им снилось, и этим было все сказано. Под этим словом подразумевалось, что снилось нечто не нуждающееся в уточнении, да уточнения никто и не требовал, поскольку язык многозначительных умолчаний по правилам Адьяра предназначался для узкого круга тех, кто все понимали без слов.

Поэтому утверждения «Снилось» было вполне достаточно для придания авторитетности своему сну, хотя под утро некоторые сны забывались вовсе или теряли те самые важные мелочи, без которых они утрачивали свою знаменательность и становились просто хаотичным мельканием различных картин и образов.

Тем не менее некоторым снилось нечто наделенное явным знаменательным (символическим) смыслом — в том числе и Скрябину, которому Елена Петровна, по его признанию, явилась под самое утро и поведала: «Свершится!» Но что именно свершится, не назвала, поэтому все стали строить догадки и выдвигать свои версии. И строили до тех пор, пока Анни Безант как верная ученица и последовательница Блаватской не внесла ясность, успокоительную и лестную для Александра Николаевича, мнительного по поводу разных предсказаний и прогнозов:

— Свершится, конечно же, Мистерия, ведь Елена Петровна явилась вам под утро, а Мистерия и есть утро будущего века. Причем она свершится в положенные сроки, которые Елена Петровна может и не знать, поскольку они ведомы только Богу, но ей известно от ангелов и вообще высших небесных иерархий, что эти сроки уже назначены и поэтому будут исполнены. У господина Скрябина есть свои догадки об этих сроках, но, подчеркиваю, только догадки. Не забывайте, что, по учению апостола Павла, мы видим небесное словно бы сквозь мутное стекло...

— Тусклое, — поправил Скрябин с любезной улыбкой, не ставящей под сомнение осведомленность Безант.

— Да, да, разумеется... сквозь тусклое стекло, так сказать, гадательно... — Анни Безант ответной и не менее любезной улыбкой поблагодарила Александра Николаевича за эту поправку.

Старичок в чалме спросил глазами, вносить ли сказанное в протокол, и Анни Безант ответила тихо, чтобы слышал только он и не слышали другие:

— Не надо, не надо... это лишнее.

Скрябин по своей мнительности заподозрил, что эти слова неким образом относятся к нему, и не без обидчивости произнес:

— И все же я сочту нелишним рассказать еще два моих сна, если, конечно, я всех не утомил и наша хозяйка не возражает.

— Да, да, мы вас слушаем. — Анни Безант убедительно тронула его руку.

— Мне снился длинный стол, накрытый ослепительно-белой скатертью. Но эта скатерть по логике сна постоянно оказывалась черной. Елена Петровна Блаватская как некая распорядительница рассаживала за этим столом прибывающих гостей, и ими оказывались все те, кого я когда-либо знал в жизни: по детству, по учебе в кадетском корпусе, по консерватории, по пребыванию за границей. Здесь были и моя рано умершая мать, и тетюшка Любовь Александровна, и мои консерваторские наставники: Сафонов, Танеев, Аренский, и Георгий Валентинович Плеханов, и мой швейцарский друг рыбак Отто, и многие другие, чьих лиц я даже не различал. И главное, за столом сидела сама Блаватская — как гостя. И в то же время, как это часто случается во сне, она же была и распорядительницей...

— Распорядительницей вашей жизни, — уточнила Анни Безант.

— Да, Елена Петровна сыграла огромную роль в моем духовном развитии. Но что означает сон?

— Ваш сон означает, что Блаватской поручено высшими силами устанавливать некую очередность среди тех, кого ждет воскресение. Поэтому она и рассаживает всех за столом, застеленным белой скатертью. Ей же как духовной водительнице, пусть даже в чем-то заблуждавшейся, назначено воскреснуть первой из тех, кто сопутствовал вам по жизни.

— Но почему же скатерть при этом оказывается черной?

Этот вопрос привел в затруднение нынешнюю хозяйку Адьяра, но я тотчас поспешил ей на помощь и произнес:

— А потому что воскресением поправа смерть.

За столом возникла гробовая тишина — так, что было слышно, как на окне колыхнется занавеска, а в пустом спичечном коробке скребется заползший туда жук.

Александр Николаевич нарушил молчание первым:

— В таком случае позвольте рассказать еще один знаменательный сон из числа обещанных мною. Во сне я увидел желтые пески и услышал голос: «Будь в Египте».

— Голос Блаватской? — спросил кто-то из дам.

— Нет, но это не суть важно. Когда-то мне казалось, что Мистерия должна свершиться в стране пирамид, на берегу Нила. Может быть, этот голос призывает меня туда вернуться?

— Ваш сон, дорогой Скрябин, следует истолковать совсем иначе, — запротестовала мадам Безант, вовсе не склонная менять Индию на Египет. — Призыв быть в Египте еще до вас услышал Владимир Соловьев, который, как вы знаете, туда спешно направился и в египетской пустыне узрел Вечную Женственность, или Софию Премудрость Божию. Вас же высшие силы призывают к тому, чтобы ваша Мистерия стала воплощением Всеединства, о котором размышлял Соловьев. Поэтому вам надлежит не то чтобы физически быть в Египте, а духовно быть с Владимиром Соловьевым, ведь вы его так цените, — сказала хозяйка застолья и, не позволяя Скрябину ей возразить, поспешила обратиться к гостям: — Господа, прошу внимания. Сейчас принесут особый чай, заваренный по секретным рецептам Адьяра.

Параграф двенадцатый КРИШНАМУРТИ УКАЗАЛ МЕСТО

Во время чая рассказывание снов продолжалось. Кому-то приснилась Блаватская, стоящая на краю отверстой могилы, и все принялись гадать, чья это может быть могила. Оказалось, что императрицы Екатерины Второй. Это всех озадачило: при чем здесь Екатерина? Кто-то даже спросил:

— Она что — из гроба встала?

Хозяйка Адьяра и этот вопрос не оставила без вразумительного ответа:

— А Екатерина здесь при том, что когда трубы небесные возвестят воскресение, царствующие особы, видимо, воскреснут первыми. Особенно если они умерли насильственной смертью, в результате заговора или дворцового переворота, как Павел. Император Павел, — сочла нужным уточнить она, поскольку до этого был упомянут апостол Павел.

— Но Екатерина, простите, умерла на стульчаке от апоплексического удара или чего-то подобного, — осмелился кто-то возразить, хотя хозяйка застолья восприняла это не как возражение, а, скорее, как дополнение к своим словам, возможно, не совсем уместное, поскольку стульчак не из тех предметов, о коих стоит упоминать за трапезой.

— Да, да, вы правы, — сказала она суховаато — строгим, взыскующим голосом, который более годился для того, чтобы уличить кого-то в неправоте.

— А вам что приснилось? — спросили ее сидевшие рядом, а сидевшие чуть поодаль повторили этот вопрос выражением своих лиц.

— Мне приснилось, что Елена Петровна берет меня за руку и ведет. Я спрашиваю ее: «Куда вы меня ведете?» И она отвечает: «К истине». — «К какой истине?» — задаю я новый вопрос. Она долго молчит, а затем произносит: «Истина всегда одна. Я веду тебя на Голгофу — вслед за Скрябиным, поскольку Голгофа и есть истина».

— Какой ужас! — не выдержал кто-то.

— Значит, вас и Александра Николаевича ждет Голгофа?

— Видимо, так. Правда, не знаю, как отнесется к этому Александр Николаевич и готов ли он вместе со мной взойти, так сказать.

— Я однажды уже взойшел. Так почему бы и еще раз не взойти? Смерти я теперь не боюсь.

— Ах, вы об этом... — Анни Безант решила упомянуть об известном ей и весьма загадочном обстоятельстве, связанном со Скрябиным, но не знала, как его следует преподнести и что с этим делать, чтобы не попасть в неловкое положение. Поэтому она в некотором замешательстве и с излишней поспешностью сменила тему: — Спе-

шу сообщить господину Скрябину и его единомышленникам, что место для Храма и всего мистериального действия выбрано, как вы и просили. И знаете, кто мне его указал? — Она обвела присутствующих победоносным взглядом.

Все стали высказывать свои догадки:

— Елена Блаватская?

— Почтенный Генри Олкотт, первый президент Теософского общества? Он тоже вам снится?

— Полковник Генри Олкотт мне, конечно же, снится, но в данном случае вы ошибаетесь. Место для будущего Храма мне указал мой воспитанник Джидду Кришнамурти, а ему можно верить. Причем указал не где-то в Египте, а на берегу священного Ганга.

— Ах, этот мальчик, наделенный необыкновенными способностями!

— Джидду уже не мальчик, ему двадцать один год. Он живет и учится в Англии, путешествует с братом по Европе, мы переписываемся — его письма очень нежны. Иногда Джидду бывает у меня в Адьяре, где он провел многие годы. Не скажу, что бывает тайком, но старается не афишировать своих посещений и не привлекать к себе излишнего внимания. Вот и сейчас он здесь. — Анни Безант немного выждала, чтобы улеглось волнение, вызванное этим сообщением. — Джидду от рождения обладает удивительным даром, когда-то замеченным Чарлзом Ледбитером, а теософия помогла этот дар еще больше развить. Подчас он творит чудеса, и я была рада привлечь его к подготовке будущей Мистерии. — Она задержала пристальный взгляд на Скрябине, внушая, что к нему эти слова относятся в первую очередь, и хлопком ладоней вызвала служанку, ожидавшую за дверью ее распоряжений. — Где сейчас Джидду?

— В саду, госпожа. Занимается медитацией.

— Попросите от моего имени его ненадолго прерваться и заглянуть к нам на веранду. И пусть он захватит с собой свои рисунки. Те самые... он знает.

— Слушаюсь, госпожа.

Служанка поклонилась и исчезла за дверью, а все присутствующие переглянулись так, словно их ожидала интригующая встреча с тем, о ком они были наслышаны, но кого еще ни разу не посчастливилось увидеть.

ДОНЕСЕНИЕ ШЕСТОЕ

Параграф первый

ВДАЛЕКЕ СИНЕЛИ ГОРЫ

— Мама, ты меня звала? — высоко звучащим голосом спросил смуглый, утонченно (слегка по-европейски) красивый, но несколько утомленного, болезненного вида молодой человек, открывая дверь на веранду, не поддавшуюся ему сразу и от примененного усилия зазвеневшую разноцветными стеклышками в ромбовых переплетах. Но заметив, что Анни Безант не одна, он смутился. Извиняясь, что не соразмерил звук своего голоса с собравшимся за столом обществом незнакомых ему людей, повторил эту фразу гораздо тише, наклоняясь к самому уху своей попечительницы (он называл ее матерью), чтобы не привлекать к себе излишнее внимание: — Ты меня звала?

— Да, мой дорогой. Извини, что отрываю тебя от занятий.

— Ничего страшного. Я только рад.

— Познакомься. Всех присутствующих я называть не буду, — Анни Безант просительно улыбнулась Татьяне Федоровне, словно чувствуя себя виноватой из-за того, что обстоятельства не позволяют ее немедленно всем представить, — но надеюсь,

что никого не обижу, если назову хотя бы одного. Господин Скрябин — тот самый, который собирается возводить Храм для будущей Мистерии.

Татьяна Федоровна ответной страдальческой улыбкой заверила, что она по свойствам своей натуры не умеет обижаться. Александр Николаевич тронул салфеткой губы и слегка приподнялся, как требовала церемония знакомства. Вошедший тоже назвал себя:

— Джидду Кришнамурти. Несказанно рад, даже счастлив, что представился случай с вами познакомиться. В Лондоне я был на исполнении вашего «Прометея». Я не поклонник европейской музыки, но от «Прометея» — под огромным впечатлением. Я сидел на галерке и плакал. Это не просто музыка, а музыка будущего.

— Благодарю. Мне, признаться, лестна ваша похвала, хотя лесть, наверное, не то чувство, которое должен испытывать истинный творец. Творчество видится мне одним из природных явлений, а природа безлична. К тому же «Прометей» для меня теперь пройденный этап, потому что я закончил Мистирию.

— Поздравляю. Я слышан о вашей Мистерии.

— И не только слышан, но и готов принять участие, — подхватила Анни Безант. — Джидду настолько прозорлив, что указал прекрасное место, где должен быть возведен Храм. Дорогой, ты захватил с собой рисунки?

— Да, мама. Вот это место на берегу Ганга... — Молодой человек стал показывать всем принесенные в папке рисунки.

— И не только прекрасное по своему живописному виду, но под этим местом заложен духовный магнит. Обратите внимание: на рисунках передано, как над этим местом трепещет и зыбится воздух под влиянием духовных вибраций. А это знаменательный признак. Помните, как сказано в моем любимом Евангелии от Иоанна: побелело поле — значит, близится жатва. Вот и выбранное моим сыном место готово к духовной жатве — строительству Храма для будущей Мистерии.

Все передавали рисунки из рук в руки. Дошла очередь и до нашего кружка (Киплинг, Генри, Наталья Валерьяновна и я) на них взглянуть. Выбранное Джидду место действительно было прекрасное: на берегу священной реки, где у самого спуска к воде штрихами карандаша Кришнамурти обозначил площадки для кремации, под пальмами; чуть вдалеке синели горы.

— О, это будет, как второй Тадж-Махал! — воскликнул кто-то.

— Не второй, а первый! — поправил Скрябин. — И при этом — последний, поскольку после мистериального действия наступит то самое предсказанное Христом время, когда поклоняться Богу все станут в Духе и Истине.

— Но в основание Храма должна быть заложена жертва, — сказала Татьяна Федоровна и, чувствуя на себе вопросительные и отчасти недоуменные взгляды, сочла нужным добавить: — Простите, я не представилась... — Она опустила глаза и тихим голосом назвала себя: — Незвестная...

Недоумение от этого только усилилось.

Анни Безант поспешила ей на помощь:

— Татьяна Федоровна Шлецер. Из России. — Присутствие Натальи Валерьяновны помешало ей назвать гостью из России женой Скрябина.

Но этого и не потребовалось. После услышанных от Татьяны Федоровны слов присутствующие стали ей наперебой возражать:

— Какая жертва?

— Простите, зачем?

— Жертва, да будет вам известно, уже принесена Христом.

— Не надо мне объяснять, кто такой Христос! — Татьяна Федоровна просительно, почти умоляюще всем улыбнулась. — Им принесена великая жертва, но я позво-

лю себе заметить, что нужна еще и маленькая, не столь значительная, — несколько сдавленным голосом, явно через силу произнесла она и исподлобья — низким взглядом (таким же низким, как ваза с цветами, стоявшая перед ней на столе) — посмотрела на Скрябина.

Александр Николаевич поспешил шепнуть, наклоняясь к ней:

— Таня, давай не будем.

Но Татьяна Федоровна в ответ лишь подняла тон:

— Да, маленькая, жалкая и ничтожная, как и я сама, незаконная жена великого композитора.

— Танечка... Танюка, прошу тебя!

Но она упрямо продолжала, не обращая внимания на его просьбы:

— Я с моими вечными охами, стонами и жалобами, мать его незаконнорожденных детей. Но без этой жертвы, уверяю вас, Храм не устоит. Уж вы меня простите, никак не устоит. И Мистерия не свершится. И эту жертву принесу я, как бы вы ее ни отталкивали и ни проклинали меня. Вернее, уже принесла. Вам, Александр Николаевич и Наталья Валерьяновна, остается либо тихо принять ее, либо отвергнуть и засунуть куда-нибудь подальше, как ненужную вещь. Выбор за вами, поскольку мне совершенно все равно, как вы с моей жертвой поступите.

Высказав все, Татьяна Федоровна замолкла. Но вместе с ней замолкли и все присутствующие — так что ей пришлось самой выходить из неловкого положения и выбирать другую тему, чтобы молчание за столом не выглядело слишком тягостным:

— ...да, духовный магнит... зыбится воздух... все зыбится...

Параграф второй

КТО РАЗВЯЖЕТ РЕМЕНЬ САНДАЛИЙ

Господа полицейские! Этот параграф моего донесения заслуживает особого внимания с вашей стороны, на которое я и рассчитываю. Прошу внимательно следить за моей мыслью, несмотря на некоторую сумбузность изложения.

После этого завтрака на веранде и нашего знакомства с Кришнамурти я стал кое о чем догадываться. Поначалу эта догадка выражалась поскребыванием подбородка, неопределенными покашливаниями и помыкиваниями, к тому же разделенными многоточиями, и имела вид бессвязных, обрывочных мыслей, кои и мыслями-то называть нельзя, поскольку они не складывались в нечто целое, а сводились к повторению одних и тех же словечек: «Эге... однако... знаете ли... м-да».

Но затем — по мере того, как я следил за выражениями, набегавшими на лицо мадам Безант, словно омрачающие тени от облаков на солнечную лужайку, — что-то для меня прояснилось. Из словечек возникла фраза о том, что мадам Безант вынашивает некие тайные намерения и далеко идущие планы. А там я и вовсе прозрел, и мне удалось проникнуть в самую сердцевину ее изощренной интриги.

При этом оговарюсь: я вовсе не считаю ее интриганкой, плетущей паутину всевозможных заговоров. И не собираюсь приписывать ей порочную страсть ко всяческим манипуляциям и спекуляциям, стремление к собственной выгоде и удовлетворению своекорыстных интересов, как это бывает свойственно женщинам, вовлеченным в политику (а ведь мадам Безант вовлечена, вовлечена!).

Нет, все это не ее стезя, и столь низменные цели ей чужды. Это позволяет мне сохранить к ней глубочайшее уважение как к умнейшей и образованнейшей женщине, к тому же пишущей прекрасные книги и преуспевающей по части филантропии, бескорыстного служения ближнему и, хочется добавить, дальнему, поскольку филиа-

лы Теософского общества разбросаны по всему свету и о всех них мадам Безант проявляет материнскую заботу.

Поэтому еще раз повторю: нет, не интриганка.

Но при этом мадам Безант... плетет паутину и раскидывает сети, по крайней мере, одной интриги и одного тайного заговора. Парадокс? Возможно, хотя объяснение этого парадокса весьма простое. Я бы даже добавил, обескураживающе простое: Анни Безант — женщина.

Не имеющая собственных детей, она без ума от опекаемого ею Джидду Кришнамурти. Анни Безант обожает его, преклоняется пред ним, наделенным столь явными духовными дарами, и — при всей разнице в возрасте — готова сидеть у ног своего воспитанника и, не сводя с него восторженных глаз, слушать наставления юного пророка. Словом, олицетворяет собою то, что выражено в названии одного из основополагающих жанров древнеиндийской философии — так называемых упанишад, название которых переводится: сидеть у ног Учителя.

Неудивительно, что при таком отношении Анни Безант прочит Джидду в Пророки, Мессии или, точнее сказать, Махатмы, поскольку этот титул объединяет значение двух предыдущих. Для того чтобы подготовить мир к явлению Махатмы или Мессии, она создала специальный орден, названный ею «Звезда Востока» и призванный распространять повсюду благу Весть, вторую после Евангелия. И все было бы замечательно, но тут появляется Скрябин со своей благой Вестью, тоже по счету второй, поскольку Александр Николаевич называет собственное учение о грядущей Мистерии новым Евангелием, себя же, соответственно, приравнивая к Мессии.

С Христом он при этом не соперничает, деликатно уклоняясь от такого соблазна, но для Кришнамурти он может стать соперником. Тем более теперь, когда они познакомились во время завтрака на веранде и Джидду повел себя столь неосмотрительно, со всей свойственной ему благородной горячностью ринувшись признать первенство Скрябина и чуть ли не заявив во всеуслышание, что не достоин, подобно Иоанну Предтече, развязать ремень его сандалий.

Анни Безант должна исправить ошибку своего любимца и лишний раз ему внушить, что именно он остается единственным и истинным Мессией. Более того (и в этом вся суть интриги), ей надлежит постепенно, осторожно и ненавязчиво оттеснить Скрябина от руководства подготовкой Мистерии и незаметно передать его полномочия Кришнамурти. При этом можно сослаться на то, что именно Кришнамурти наитием свыше указал место для будущего Храма, белый купол которого отразится в священных водах Ганга.

И вообще Мистерия свершится в Индии и озарит мир тем самым Светом с Востока, который возвещали древние мудрецы. Скрябин же, долго живший в Европе и по своему складу во многом чуждый России (об этом свидетельствует его музыка, близкая Шопену, Бетховену и Вагнеру, но никак не Чайковскому и не Римскому-Корсакову), пришел с Запада. Так пусть теперь он развязывает ремень сандалий Кришнамурти.

Разумеется, Анни Безант будет и впредь оказывать ему гостеприимство и всяческие услуги, рассыпаться перед ним в любезностях, встречать Александра Николаевича обольстительными, чарующими улыбками. Будет вести с ним возвышенные беседы, называть Скрябина человеком новой расы, выслушивать его откровения о дионисийстве, безумии и экстазе, но при этом неуклонно двигаться к своей цели...

Словом, за первенство в деле Мистерии еще предстоит пусть и некая, скрытая, потаенная, но все-таки борьба.

Окончание следует

Жюль БРЕТОН

Жюль Бретон (1827—1906) — французский художник-натуралист, известный своими изображениями крестьянской жизни во Франции. Также Бретон — автор нескольких поэтических сборников. Его художественному миру присуще пристальное внимание к природе, романтическое восприятие сельской жизни и быта крестьян, неподдельная любовь к каждой частичке живого. Предложенные вниманию читателя стихотворения на русский язык переводятся впервые.

ОСЕНЬ

Река спокойна. Утром на откос
Приходит смыть кровавые разводы
С ноги ольха. И тополь сеет в воду
Клочки то желтых, то седых волос.

Плёт хрупок, как гнездо бумажных ос:
Подует ветер — проступают соты,
А выше — лес: пинакли шишек, своды
И пенье птиц под небами впроброс.

Порою раздается крик высокий,
И дрозд, сорвавшись из сухой осоки,
Пронзает воздух, синий, как сапфир.

А контрапунктом к этой резкой ноте —
Крик зимородка, что крылом в полете
На дольки режет солнечный эфир.

ЗАРЯ

Земля еще влажна. Спросонья — тихо дышит.
Еще юна. Над ней дымят, как няньки, крыши.
В краю, где застит взор крестьянину листва.
Там в бороздах дрожит, как в складках юбки цельной
(Подол украшен льном, гвоздикой и люцерной),
Малютка рожь. Она, как первый зуб, нова.

Она — голодный рот, что в утреннюю пору
Кусает за соски набухшие Аврору,
И молоко течет, по небу, как туман.
Аврора-мать в ответ дитя целует в склоны,

Супругу-солнцу вслед бросает взгляд влюбленный,
И вечный муж над ней встает, истомой пьян.

Аврора ждет его на травяной постели,
Пульсируют лучи на светоносном теле.
А вслед заре встает проснувшийся бутон.
Ослабший после сна, он тянется, краснея:
Он тянет чашу вверх и листья вместе с нею —
Он молод, он смущен и, кажется, влюблен.

ЦИКАДЫ

Гуляет солнцепек в траве, от жара взмокшей.
В тот час, когда трещит по швам пшеничный злак
И на дневной покой уходит красный мак,
Не в силах совладать с бутона томной ношей;

Когда лениво все: и небо, и земля,
И вихрь прекратил полуденный свой ропот,
А темный лес сокрыл пернатый робкий шепот
От солнечных лучей, что молча жгут поля —

В тот час выходят петь бесстрашные цикады,
Бить в тысячи цимбал, качаясь во хлебах.
Цикада — виртуоз о тысяче смычках.
Работа мышц, игра, латунные раскаты.

Как зернышко, дрожит на пике колоска
И монотонный гимн возносит к небу, в просинь.
Потом хлеба сойдут, потом наступит осень
С холодной луной — подобьем ночника.

Но не прервется песнь, когда земля остынет.
Сойдут овес и рожь, цикад прогонят — пусть.
Им подойдет любой сожженный солнцем куст
Хотя бы в глубине безрадостной пустыни.

Любой иссохший куст, безлист, плешив и плох,
Цикада обживет, что изначальный колос.
К безумию готов растративший свой волос,
Открытый всем ветрам сухой чертополох.

Изорвано крыло. В предвестье новой бури
Все тело охватил молитвенный экстаз —
Направлен в небеса цикады медный глаз,
И отраженный луч летит назад, к лазури.

РУИНЫ

Взгляни на стариков. Скажи, что стало с ними?
Как ветхие плоды, тела внутри пусты.
Фасад — античный храм, руины в древнем Риме,
А сердце — форум, где завяли все цветы.

Но души средь руин общаются с другими.
Кругом — самшит и мох, иссохшие кусты.
И старики бредут в провинциальном ритме
По площадям, полны предсмертной красоты.

Не прочитать имен на портиках покатых:
Здесь каждый барельеф изъела ржавь заката,
Здесь соловьи молчат, их не заставишь петь
Среди сухих ветвей в бесславье и бесцветье.
Здесь радуги редки, здесь не сверкает медь.

Велик покой души, входящей в долголетье!

Переводы
Михаила СЕРЕБРИНСКОГО

Михаил Серебринский — поэт, переводчик (английский и французский языки), родился в 2000 году. Окончил филологический факультет ЛГУ им. А. С. Пушкина. Автор двух книг стихотворений и переводов («После империи», 2019 и «Желтый квартал», 2024), подборок в литературных толстых журналах («Звезда», «Нева», «Алтай» «Бельские просторы», «Балтика», «Перископ» и др.). Лауреат премии журнала «Звезда» (2025). Лауреат ряда всероссийских конкурсов, участник литературных фестивалей, литературоведческих конференций. Стихотворения переводились на китайский язык. Живет в Санкт-Петербурге.

Марина ПЕРОВА

РАССКАЗЫ

ЖАР ЗЕМНОЙ

Самый жаркий день за последнее столетие случился вчера. На термометрах не хватало шкалы — она заканчивалась на сорока. Воздух как будто сгустился, и его раскаленные волны покачивались, кружа головы отчаянных пешеходов, решившихся выйти на солнцепек. Отчаянно ревели кондиционеры, оставляя под собой короткие недолговечные лужи. Город закрыли для тяжелых машин, потому что размягченный асфальт проваливался под их весом. Но зависавшие в тугом воздухе автомобильные выхлопы и горячая пыль никуда не девались. Они оседали на горячей, мокрой от пота коже, на одежде — белой, чтобы как-то смягчить жару, на выгоревших, порывавшихся волосах.

Из деревни написали, что в озере гибнет рыба. Ее, круглую, вздувшуюся, выбрасывает на берег. Вместо камешков на берегу — белесые склизкие туши. Их намыло на несколько метров застоявшейся, погорячевшей водой. Рыбаки позвали на помощь односельчан, чтобы погрузить все это в огромные мусорные мешки, десятки мешков. Рыбу черпали лопатами, она выскальзывала, шлепалась наземь, ее снова черпали и заставляли упасть в мешок.

Я приехала. Смотрела, как бабушка вырывает огромные фиолетовато-малиновые корнеплоды с белыми носами, похожими на крысиные хвосты, и выбрасывает за забор палисада.

— Редиска быстро растет. Да Светка семян не оставила, взяла и все три пакетика сразу посеяла, — ворчит она. — Вот куды столько — без деда? Не успели, переросла вся. А есть ее хорошо. Майонеза купил, порезал, посолил и ешь с хлебом. Хорошо! Но вот семян не осталось, а так бы вот опять посеяла, через месяц бы новая выросла. А так... Эх!

На огороде рыбой не пахло, только если ветер налетит со стороны озера. Болталась туда-сюда не запертая на задвижку калитка. То и дело подавал голос петух — лениво, тоже разомлев от жары.

— Ну, это ничего, скоро все — так, все — так. Перерастем — и вырвет нас с корнем, а потом опять — в землю, — приговаривала бабушка, выпрямляясь, насколько позволяла ей состарившаяся спина. Она прикрывала лоб козырьком из ладони и смотрела куда-то бесцветными, как рыбы чешуйки, глазами. А потом беззвучно шевелила ртом, шелестела что-то вместе с ветром, едва касавшимся флюгера, и снова наклонялась к ботве — жухлой, побитой жаром.

Марина Перова родилась в 1991 году в с. Старые Байдары Половинского района Курганской области. Магистр философии, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России, член Союза писателей России. Стихи и рассказы публиковались в различных литературных журналах. Доцент в Курганском госуниверситете, обозреватель в городской газете «Курган и курганцы», преподает йогу и медитацию. Живет в Кургане.

Рыбу увозили в плотно завязанных мешках в кузове грузовика. Мешки лежали один к другому — черные блестящие жуки — и жутко воняли. У рыбаков, кидавших их в кузов, слезились глаза. То ли от вони, то ли от обиды: столько добра погибло, столько денег. А детей скоро в школу собирать. И вода отравлена, и мало ее. А если еще припечет, совсем озеро обмелеет, промерзнет зимой до дна. И тогда все рыбье царство вымрет — все, кто от жары не погиб. Другую работу, значит, надо придумывать.

А я уже иду от поселка к станции, где ждет мама, посадившая всю бабушкину редиску одновременно. И мне не стыдно, и не грустно, и не тяжело от жары. Прогретый медовый воздух поселился внутри, вытеснил асфальтовую духоту.

Приедешь вот так и думаешь: какое счастье. Даже не думаешь, а отмечаешь уголок осознания счастливую данность, ступая по растрескавшемуся от жары и бездождя проселку, когда из-под ног выпрыгивают кузнечики, бесконечно звенящие в пожелтевшей блеклой траве. Сколько звуков вокруг, сколько жизни. Из придорожных зарослей выпархивают птицы. Дорога и степные участки между березовыми колками изрыты кротами. Всюду городки из их нор, отмеченные курганоподобными кучками земли. Муравьи текут буро-черными ручейками, тащат кресты травинки. И никому здесь нет дела до озера и до рыбы, до изнывающих от жары людей. Тут как будто нет ее. Ни жары, ни холода — только жизнь. Гранатовые брызги сверкнули на обочине. Я наклоняюсь ближе к земному жару. Редкие ягоды клубники высохли, скукожились и потемнели. На вкус они терпко-сладкие, сухие, похожие на вино.

Вечером поднялся ветер. Распахнул в доме плохо закрытые деревянные рамы окон. Смел листы со стола.

— Дождь будет, — решила мама. — Вот знала же, а пошла поливаться. Всегда так.

Крупные капли и правда скоро ударили в оконное стекло. Раз, другой. И вот дождь уже вовсю барабанит, налетает на стекла, отскакивает от них или, разбиваясь, стекает вниз ручейками, сделавшимися скоро сплошной пеленой воды.

Я засыпала под стук дождя и шум раскачиваемой ветром березы. Эти звуки то и дело разрывал сигнал железной дороги, мигавшей в темноте сигнальными огнями. А потом приходил поезд. Длинный товарняк — он никак не заканчивался, сотрясал рельсы и весь станционный поселок так, что стекла в доме дрожали и пол дрожал, а с ним — полка с книгами и моя старая кровать. И все это — с детства любимый монотонный шум, и укачивание, и свежий увлажнившийся воздух, качавший шторы и касавшийся лба, — убаюкивало, обласкивало, утешало.

И вот уже нет ничего. Ни работы, ни душного города, ни его суеты. Только маленькая Катя в большой, пахнущей травами и пухом постели. И худой, но зеленокудрявый березовый колонок за железной дорогой, и домики, притулившиеся на опушке.

В одном из этих домиков жила тетя Феня, у которой я любила играть, пока бабушка с дедушкой не вернутся с работы. Фенин огород уходил к самому лесу. А дальше, за редким рядом деревьев, на полянке, стояли ульи. Я ела соты и смотрела, как пчелы гудят над голубыми чашечками цикория.

Феня умерла, а медовый запах остался. Он возникал из цветочно-травяного ковра, из ветра, из теплой земли, из сухой лесной подстилки, когда я прибежала к заброшенным огородам и садам, обирая ничейную малину, обдирая изнеженные городской жизнью ноги и руки. Запах меда и леса захватывал, растекался в легких, как ягодный сок во рту. В немногих жилых еще домиках звучали людские голоса — редко-редко — и сразу заглушались лесом и ветром.

А потом приходил поезд. Совсем рядом, рукой подать, он нес свои зеленые, серые, темно-коричневые вагончики, груженные чем-то неведомым, раскачивая блестящее

полотно рельсов над шпалами, дышащими креозотом. И весь малинник раскачивался и дрожал, и «чучух-чучух» гремело в ушах до оглушительности.

И вот он проезжал. Его гул отдалялся, но земля волновалась еще какое-то время. А потом наступала тишина. И ты как будто прозревал и обретал слух после головокружительного опьянения. Лес, и кузнечики, и ветер, и шмели, пикирующие на тонкие цветочные чашечки, и птичий гомон, и переговоры соседских собак захватывали пространство.

Так и жил в этих звуках дедушка — наладчик путей, отмахивая километры по этим креозотовым шпалам. Ступать на каждую — слишком маленький шаг выходит, а через одну — слишком широкий. И надо наладить ход, идя через одну или сбоку, рядом с блестящей рельсиной, поржавевшей с краев, там, где ее не полировали колеса.

Что-то думалось ему под этим солнцем на этом голосистом ветру, когда проносился очередной товарняк — не стой близко, под колеса затянет, — а потом наступала полная звучания тишина? Может, потому он и был такой невозмутимо спокойный, с красивыми лесистыми бровями и ясным взглядом, что все время шел и жил среди этой не поддающейся ничему жизни, бесконечно звучащей, гудящей, спешащей и неторопливой одновременно, когда каждое мгновение все обновляется, все начинается заново и живет — жар ли, холод ли, засуха или дожди — живет полно, в том, что есть сейчас и никогда больше не будет. И трудится, и печется только о настоящем и в настоящем. Вечно повторяющемся и неповторимом. И умирает без страха, в голосистом шуме бушующей жизни, тут же замещающей образовавшуюся пустоту.

— Гостинец от зайчика.

Так он говорил, принося с работы хлеб, пропитанный растаявшим маслом, или хрустящие румяные сухари. Пока сам не растаял, не ушел в пустоту, заполнившуюся стрекотом сверчков и шумом леса.

Я вышла к озеру, откуда вчера увозили гниющих рыб. Не всю ее собрали, или уже намыло новую. Она некрасиво белела на берегу, разбавляя цветочный аромат запахом тления.

Но вода в озере уже посветлела, пены на ней почти не было. Через неделю-другую и следа не останется от этого страшного мора — только пугающие снимки, гуляющие по соцсетям. И дождь пройдет, и озеро наполнится, и будут новые рыбы вздрагивать, когда идет товарняк, и снова нестись по неотложным делам ради одного только мгновения жизни.

ПРИВИВКА

Мама сказала, все дело в прививке. Ведь должно же быть что-то, виноватое в этой утрате, от которой теперь так искажается солнечный свет во дворе, падая на никому уже не нужные, посеревшие, засиженные птицами доски. Они лежат у входа в низенькую деревенскую баню, и никто не убирает эти длинные древесные сердцевины, словно из уважения к рукам, сложившим их здесь ровно, одна на другую, одна на другую, чтобы...

— Катька! Наконец-то! Беги сюда скорей! — я спрыгнула с подножки автобуса в пахучее деревенское лето. — У-у-у, кожа да кости, совсем девку заморили!

— Не, просто я изросла! Вытянулась. Вот, смотри, — я поднялась на носочки, чтобы дотянуться до его плеча.

— Хитрюга ты! И все равно — заморыш. Пошли домой, бабушка обед, поди, уже собрала. Конфет хочешь?

Мы свернули к деревне от раскалившегося на солнце металлического треугольника остановки. У дороги паслись чьи-то кони, лоснящиеся удовольствием. Вот они, совсем рядом. Коричневая, блестящая морда поднялась из травы и повернула ко мне большой добрый глаз. Глаз моргал, а ресницы вздрагивали, когда подлетала мошкарка. Жирный паут сел прямо на щеку, и коричневая морда дернулась в сторону, а потом снова уставилась на меня, втягивая полный меда воздух расширившимися ноздрями. Хвост непрерывно обмахивал тугие бока.

— Пойдем.

Его рука была теплой и шершавой. Указательный палец не разгибался, но это совсем не мешало держать мою тоненькую ладошку. Он поранил палец давным-давно, когда мама еще не родилась, а он только начинал обходить пути. Тяжелые шпалы придавили ему руку, и этот палец навсегда остался сжатым в кулак, будто пытался удержать воздух.

Мы остановились у расставленных на деревенской площади длинных столов, заваленных разноцветной одеждой и обувью, от которой пахло резиной. Купили тряпичные тапочки со шнурками и выбросили старые — из них и правда уже торчали большие пальцы. Особенно на правой ноге, которая вечно пинала то мячи, то камешки, то брошенные кем-то пустые бутылки...

...Пустые бутылки стояли на деревянной скамейке, сколоченной у стены дома, наверное, с самого его основания. Флюгер отчаянно мотало из стороны в сторону, с севера на юг, с востока на запад, отпуская на короткие минуты неопределенности. Сверчки поселились где-то под стеной, между сайдинговой обшивкой и старой бревенчатой кладкой, у фундамента, и в краткие периоды безветренной тишины оглушительно стрекотали. Болталась туда-сюда не запертая на вертушку калиточка штaketникового палисада. Дважды пропел петух.

— Сейчас дождь пойдет. Как же мы... Размочит всю землю. Разве мы его — в мокрую?

— Тише, тише...

Мама обнимала ее за плечи — маленькую, сгорбленную, в черном платке, завязанном двумя узлами под опустившимся подбородком. Солнце, нещадно палившее несколько минут назад, скрылось за темной тяжелой тучей. Ветер трепал юбки и высушивал щеки. Все лица казались странно вычерченными, вырезанными, как на средневековой гравюре.

Он стоял под навесом, который мы кое-как устроили в уголке двора. Главное, чтоб не рухнул, и потом легко разобрать. Аккуратные доски у бани трогать не стали, чтобы не портить, нашли старые, от разобранного пола.

— ...Давай, Катька, забирайся наверх, забей там. Я уже выпил немного, немного... я... — мамин брат протянул мне гвозди. Его рука тряслась, а голос срывался. — Только не сильно, чтоб легко вытащить.

И я колотила по ржавой шляпке, чтобы железная, погнутая возрастом и работой плоть срастила трухлявое дерево. Гвоздь звенел, встречаясь с отшлифованной тысячами ударов плоскостью молотка. Теплая шершавая рукоятка натирала ладонь. Я видела их сверху, как они обе стояли между домом и баней и как туча закрыла свет на их непонимающих лицах.

— Везут, везут, кажется...

— Да, открывай ворота... О, Господи!..

... Я проснулась от того, что шел поезд. Банки с компотом под дядиной кроватью, на которой я спала этим летом, стучали о доски и друг об друга, звенели. Бабушка обматывала их старыми газетами, чтобы не разбились. И они не бились, но звенели все

равно. И шкаф звенел, пол дрожал, а кровать немного потряхивало. Я выглянула в окно. Сигнальные огни ярко горели в темноте.

Поезд промчался, и земля стихла, и дом стих. Где-то за дверью раздалась бабушкины шаги. Пора!

— Да куда ты в такую рань, Катенька?

— Я тоже хочу выпускать Марту и дедушку на работу провожать!

Я устроилась на табуретке в тесной квадратной кухне. Смотрела, как бабушка привычно движется от плиты к столу или раковине, и пар поднимается от кастрюли, и синий огонек газа подрагивает и тихо свистит. Окно светлело, светлело. Вот уже видны железная дорога, магазинчик и почта рядом со станцией, посыпанная гравием дорожка.

— Да ты же носом клюешь! Айда еще поспи, айда...

Но я никуда не ушла. Задремала, наверное, здесь, на табуретке, положив голову на подоконник, сладко пахнущий деревом, старой краской, сухой травой.

После завтрака он взял термос и пакет с бутербродами, уложил их в кожаную наплечную сумку. Бабушка подхватила подойник, и мы вышли втроем в гудящую комарами и звенящую птицами свежесть. Он поднял меня на руки и закружил так, что мой смех заглушил все звуки, как заглушал их поезд. Поставил, потрепал вчерашние косички и ушел к железной дороге.

Бабушка уже скрылась в сарае, а я стояла рядом с его темной пахучей стеной и слушала «чирк-чирк», «чирк-чирк» — по алюминиевой стенке подойника. И как Марта нетерпеливо переступает копытами. Смотрела на росинки в траве и глянцевых листьях вишневого куста.

...Он любил собирать вишню. И когда работа закончилась и они уехали со станции в деревню, посадил сразу четыре вишневых куста разных сортов. Каждое лето ждал, пока все они созреют до темно-вишневого цвета, станут сладкими и лопающимися, взрывающимися от сока и спелости. Запрещал нам рвать их раньше времени и ставил рядом огромное пугало из старой рубахи и кепки и флюгер, трещащий на ветру и пугавший птиц.

А потом брал стремянку и лез к самой макушке, а мне разрешал обирать нижние ветки. Мы увозили вишню к себе, и мама закручивала компоты. Из того, что осталось, он варил варенье, и весь обшитый сайдингом домик заполнял густой сладкий запах.

Теперь я на этой стремянке забивала большие ржавые гвозди, и древесная труха летела в лицо, прилипая к тонким влажным дорожкам. Глаза от нее слезились. Ветер трепал флюгер и сдувал с людей и животных мучительный летний гнус.

— Сейчас дождь...

И что-то грянуло. Мне показалось, я уронила что-то, сломала, разрушила. И он пошел с неба, и можно стало из глаз. Я так редко приезжала, так редко. Разве чтобы собрать вишню и взять с собой в безразличное городское нутро банку темного густого варенья. Как загустевшая вишневая кровь.

Он гордился, что я много учусь. И когда бабушка начинала ворчать, брал газету, надевал очки и находил какую-нибудь статью без псевдонима.

— Зато вон смотри! А тебя в газете печатали? И меня нет. Пускай девка учится. Успеются правнуки. У меня четыре класса на всю жизнь осталось. Пускай хоть она ученица будет.

Про себя он рассказывать не любил. Не о чем, не о чем... Все, что я знала — он сбежал из колхоза, когда сельским жителям еще не выдавали паспорта. Уехал в Петропавловск и женился на бабушке. А потом что-то привело их сюда, в эти реденькие, худые березовые колки, болота и степи. К железной дороге и станционному по-

селку величиной в одну короткую улицу. Он гордился, что может работать свободно, по своей воле. За деньги, а не трудодни. Укладывать шпалы, чинить рельсы, отшагивая за день десятки километров.

Машина с кузовом подъехала к самой ограде. Дядя кое-как открыл деревянные ворота. Его принесли под навес — кривой, трухлявый, наспех сколоченный.

— Это все прививка. Я говорила, не надо ставить.

— Не похож. Не похож... Не он это.

Бабушка сделалась вдруг суровой, и скулы на ее лице резко обозначились из-за павших теней.

...Сырые тяжелые комья бились о деревянную крышку. Дождь был несильный, только слегка накрапывал. И когда рабочие отошли и уступили нам место возле, тучи открыли солнце. Грибной дождь, сказал кто-то.

И мне вспомнилось, как мы ходили в лес и бабушка собирала костянику, а он исчезал где-то в переплетении колков и полян, и мне было за ним не угнаться. А потом мы чистили пахучие грузди — пряные, хрустящие, с застрявшими меж пластинок травинками и сухими листочками, влипшими в ворончатые шляпки. Лисички и рыжики он перебирал сам, никому не доверяя, и жарил в сливочном масле со свежеевыкопанными, маленькими еще картошинками. Доставал из наплечной сумки гостинец от зайчика — хлеб с маслом или румяные сухари. Бабушка наливала молоко от Марты, и мы пировали. За окном голосила кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько мне лет осталось?

Но поезд никогда не давал досчитать. Он приходил, и его гул, гудки, жизненная сила движения заглушали счет смерти. Я бежала считать вагоны. Он брал меня на колени, чтобы я лучше видела. Шершавые руки были крепкими, прокаленными солнцем. И пахло от него тоже солнцем. И лесом, и немного — запахом шпал, рельсов, дорог.

— Ты, главное, учись, — говорил он, когда вагонов насчитывалось сто восемь.

...Здесь не слышно поездов, они далеко. Но их гул, наверное, передается земле и тому, что в ней и под ней. И березы растут здесь, налитые земным соком, и даже сосны с янтарными худыми стволами. И прилетает кукушка.

Бабушка сгорбилась. И мы все сгорбились и пошли. Обшитый сайдингом дом стал тихий и неподвижный. Здесь не было гула от поездов, только сверчки неумолчно пели и зудели комары. Даже флюгер утих вместе с ветром.

Бабушка достала варенье.

— Айда чай пить. Не будем его ждать. А он нас там дождется. Много прошлое лето наварил, как чувствовал.

...И стекла дрогнули. На мгновение показалось, что идет товарняк. Но это всего лишь ветер в теплой июньской ночи. Всего лишь ветер.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

За шестнадцать рублей паромщик перевозит городских садоводов, груженых садовым инструментом и пакетами с едой, на ту сторону Тобола. На борту маленького пармочика шатко и жарко, пахнет дизелем, водой и немного рыбой. Пока он, цепляясь за трос, натянутый между берегами, пересекает течение поперек, можно, прикрыв глаза, представить, что ты на настоящем судне. Плывешь по настоящей большой реке или даже по морю. По морю лучше. И солнышко так пригревает, и чайки кричат, и этот рыбный запах. Море ведь должно пахнуть рыбой?

Подумать об этом по-настоящему не успеваешь: паром пришвартовывается к берегу. Невысокий мужичок в безрукавке открывает решетчатую калитку — можно сходить на сушу. Спрыгиваешь быстро, потому что теснят старушки — в цветастых платьях, надетых поверх штанов, и в стоптанных башмаках. Старушки, благодарно охая, ступают на твердую землю. За ними — двое мужчин с пакетами «Метрополис». Наверное, везут пиво и мясо для шашлыков. Шашлыки сейчас делать нельзя: сезон лесных пожаров в самом разгаре. Говорят, люди гибнут. Но мужикам, видимо, до этого дела нет. Последней спускается моложавая женщина с яркой помадой, в дорогом летнем костюме и босоножках — с работы и сразу сюда, даже переодеться не успела. Вот ведь как торопятся некоторые, не живется.

Паром занимает одинокий пассажир с дачного берега. Ни на кого не смотрит, даже яркой помады не видит — думает что-то свое. Лицо загорело до цвета сосновой коры и покрылось бороздами морщин. Руки держит в карманах. Совсем пустые — и карманы, и руки.

Дверца закрывается, мотор тарыхтит, взбивая воду. И вот нашего транспорта уже нет и не будет ближайший час — так сказано в расписании. Но кажется, он никогда больше не вернется, и этот мир кустов, цветов, домиков захватит навечно. Мы стоим на дачной земле, объединенные коротким путешествием и этим неясным чувством. За рекой остались городские многоэтажки, работа и суета. Здесь вроде как вольница. Даже модная женщина заулыбалась по-простому, несмотря на свою помаду.

Мужики растворились в неизвестном направлении. Старушки в платьях деловито свернули в первые же ворота — СНТ «Весна». Они купили участок в складчину — кооператив в кооперативе. Всю дорогу об этом судачили. Так дешевле, и обрабатывать по силам. Правда, ссорятся теперь часто: не могут договориться, что и по чьим правилам выращивать. На этот сезон условились, что командуют по очереди, по три дня каждая.

Я иду по присыпанной гравием дороге, от которой тянутся десятки улиц-переулочков, тесных, как в средневековой Италии, только без булыжника и мрамора. Доцветают черемуха и яблони, сражаясь друг с другом за скудное пространство. Становится жарко. Проезжающие машины поднимают пыль — здесь даже на тротуар не отойдешь, приходится жаться к покосившимся разномастным заборам. А машин много, одна за одной, одна другой больше — дачи рядом с городом, так что их владельцы в основном люди обеспеченные, с транспортом.

Хотя по большинству участков этого не скажешь. Чем дальше в глубь дачных дбрей, тем теснее улочки, меньше и неказистей домики, развалистей заборы. Старая изросшая малина выпускает диковатые побеги прямо к дороге — вперемешку с крапивой. На обочине пылятся пустые пивные банки, обрывки пакетов, упаковки из-под сухариков и мороженого, старые тряпки, разбитые пластиковые ведра, носик от лейки.

Выхожу переулочками к реке. Здесь у кривых дощатых мостков — старое кресло. Точнее, половинка кресла — доживает свой век под открытым небом. Рядом припаркован «хендай», в нем удобные сиденья с кожаными чехлами. Дорожка ведет дальше. Справа от нее низенький частокोल вместо забора. За ним — бабушки. Не те, в платьях, а другие, в фуфайках. Видимо, тоже купили участок в складчину. Молча работают — каждая в своем углу.

Одна — совсем рядом к дороге. Больные ноги еле передвигаются, шаркают по траве. Руки тянут шланг к блестящему ведру, дрожат, проливают мимо искрящуюся на солнце воду. Наконец приноравливаются, и вода ледяной струей бьется о дно. Капельки блестят на траве. Старушка закручивает кран, волочит ведро к малень-

кой грядке и поливает помидорный саженец. Потом следующий и следующий. Пока из наклоняемого ведра не перестает литься. Тогда она поднимает его и опрокидывает остатки. Вода попадает на пыльные калоши, и они тоже блестят. Мокрая земля жирно чернеет. Бабушка туго разгибается и снова идет к шлангу. Но я этого уже не вижу, прохожу мимо.

Девочка-подросток сидит на старой шине за сетчатым забором. Уткнулась в смартфон, мигают розовые беспроводные наушники. Грузная женщина — видимо, мать — копает землю лопатой. Вытирает со лба пот. Лицо недовольное, и от этого сильнее выделяется складка на двойном подбородке. Движения нервные, резкие. Того и гляди, взорвется, отберет у девочки телефон и вручит лопату. Но нет, копает себе дальше. Сама же хотела дачу, не дочка. «Маа, ну зачем? Мы и так помидоры купим!» Дочке дача нужна разве что для отдыха. А какой может быть отдых, если есть клочок земли? Хотела дачу — терпи, к земле привыкай.

На другом участке забор высокий, и что за жизнь за ним — не узнать. Но выше забора — самодельный душ. Жестяной резервуар, похожий на советскую ванну для стирки или купания детей. От него спускается вниз небольшая труба, к которой прилагана лейка для душа.

Дачные дебри становятся все непролазнее. Где-то за фанерными пластинами, обозначающими очередные границы очередного участка, гремит музыка. Одна за другой снуют машины. Дважды проехала «газель» с надписью «Грузоперевозки».

Вдохнуть уже, кажется, нечего — так густо все завалено, загорожено, замусорено. Пинаю очередную бутылку, и она звонко встречается с консервной банкой. Воняет рыбой и еще черт знает чем. Думаю, когда это уже кончится? Где выход? Даже реки уже не видно.

Навстречу — двое парней в солнцезащитных очках. Женщина с помадой. Зачем здесь помада? Сворачивает к маленькой калиточке, приложенной к невероятному забору из колышков, листов кровельного железа и ДСП. За ним ютится маленький домик. Кирпичный, с занавесками на окнах. Рядом — заброшенный участок. Трава там выше моего роста — прошлогодняя, конечно. И еще. И еще. А этот снова жилой, вон мужик возится с рассадой. Блестит окошками новенькая «мазда» рядом с компостной ямой.

Наконец — запах реки. Еще немного, и вырываюсь на свободу. Впереди — незастроенное пространство, справа — вода. Берег замусорен, но это ничего. Зато — воля. Не надо жаться к заборам. Спускаюсь к берегу. Наполовину в воде валяются старые шины. С них дачные пацаны удят рыбу. Не мешаю. Иду дальше, к ржавому подвесному мосту, чтобы через него выбраться в город. И уже покидая дачный мир, на самом его краю вижу старушку. Она стоит посреди отмеченного колышками квадрата земли — ни забора, ни избушки. Только трава и колышки. Старушке лет семьдесят, а то и больше. Достает из пакета саженцы. Кое-как разгибается и оглядывает свои владения. Радостная.

Мост скрипит и шатается, кажется, вот-вот рухнет. С городской стороны спешат по нему на дачи десятки людей. Тяжелых, грузных людей. С граблями и лопатами. С пакетами, полными мяса для шашлыков. На том берегу блестят десятки машин. Их двери хлопают, выпуская все новых дачников. В воду летит пустая бутылка из-под колы. Дедушка ведет по мосту свой велосипед. Ладно, думаю, их выдерживает и меня выдержит.

Шаги гремят. Снова пахнет рыбой, тиной и нагретым металлом. И вот — земля. Многоэтажки совсем рядом, за гаражным кооперативом. Главное, не заблудиться в его однообразных переулках. Выхожу в город. Выбрасываю в урну коробку из-под сока.

Благодарно ступаю на тротуар, отгороженный деревьями от проезжей части. Подхожу к киоску с овощами и фруктами, покупаю азербайджанские помидоры. Все-таки не мое это — дачный сезон.

ДВЕРЬ В НЕБО

Небо в Старом Замарье висело над самыми макушками. Если залезть на старый тополь у колодца, то как пить дать пальцем в облако угодишь. Поэтому сельчане решили, что церковь для связи с Богом не нужна — кто богомольный, пускай так в райские кущи зашагивает, без подмостков.

Желающих оказалось немного — баба Тася да баба Маша. Только они вместо того, чтобы на тополь лезть, поставили у себя в избах иконы. В красном уголке, рядом с портретом Ильича. Читают перед ними акафисты и поклоны бьют — то у одной в избе, то у другой. С икон, говорят, Иисус смотрит, Богоматерь и все святые. А где двое собираются на молитву, там уже вроде как и церковь, то бишь экклесия — от священника еще это слово запомнили, означает собрание верующих. В общем, околицу несут и антисоветчину.

Но бабушки-то старенькие, да и Ильича почитают наравне с Богородицей. Колхозное начальство считало все смягчающие обстоятельства и объявлять выговор богомолицам не стало. Только велело вождя революции поклонами не обделять и бить ему их ровно столько же, сколько конкурентам в борьбе за человеческие души. А чтобы старушки детей не настропалили мечтать о небе вместо земного коммунистического будущего, порешили от школы и пионерячейки провести экскурсию в избу к бабе Тасе и там наглядно объяснить, что такое пережиток дореволюционного невежества.

Идут ребята по узкой немощеной улице, пыль поднимают до самых колен. Впереди, рядом с учительницей, пионеры в опрятных рубашках, с красными тряпицами на шеях. За ними те, кого не принимают в отряд из-за плохих оценок или малого возраста. Пашку забраковали по двум причинам сразу. Он делает вид, что ему безразлично, хотя очень хочет галстук. Чтобы никто этого не заметил, он небрежно насвистывал и периодически сплевывал в пыль. Небо выше обычного над головами поднялось, дразнится: не дотянетесь без икон. Пашка хмыкнул и сложил фигу в кармане заплатанных холщовых штанов. Так с фигой бабы-Тасин порог и переступил.

— Ой, сколько вас, внучики! Заходите!

Избушка у бабы Таси тесная, хоть и пятистенки с сенями. На полкухни раскорячилась русская печь, за ней — закут с посудой и полотенцами. Место под окошками занял скобленный деревянный стол с табуретами. Изба как изба. Только чисто очень и запах непривычный — сладковато-пряный. Пашка даже задышал чаще.

— Здравсьте, баба Тася! Только какие мы тебе внучики, у тебя и семьи-то нет.

— Это как нет? Все люди перед Богом братья и сестры, так что, выходит, вы моя семья и есть. Да проходите в горницу, чаю на пороге стали.

А в горнице у бабы Таси красный угол, а в углу треугольная полочка-божничка, накрытая белой салфеткой с вышитым цветочным узором. На полочке жмутся друг к другу большая деревянная икона, медное распятие и портрет товарища Ленина. Перед божничкой в дощатый потолок вкручен металлический штырь, к нему на трех цепях подвешен металлический стакан, а в нем стеклянная баночка с огоньком — масляная лампадка.

— Ну вот смотрите, ребята, к чему приводит невежество, — начала экскурсию Марья Сергеевна, недавно вернувшаяся с областной комсомольской конференции. —

Что такое красный уголок для советского человека? Правильно, напоминание о его великой цели. Построить коммунизм! Поэтому в красный уголок мы помещаем портреты героев революции и нашего дорогого вождя Владимира Ильича. А также плакаты, стенгазеты, газетные вырезки. Все, что будет заставлять нас идти вперед к светлому будущему! А что такое крест и чуждый портрет женщины с ребенком? Орудие пыток и антисоветское отношение к товарищу женщине! Да еще огонь разводите где попало и масло не бережете. Вы где, вообще, лампаду взяли? Из старой церкви? Так ее не для того национализировали и закрыли, чтобы потом социалистическую собственность разворовывать!

Учительница раскраснелась от пылкой речи, и чуть припухлые обветренные губы на худощавом лице стали похожи на раздавленные ягоды. Пашка сглотнул и с силой отвел глаза от ее лица, коротко стриженных русых волос, тонкой шеи и старенького, но красивого и сладко пахнущего коричневого платья. Такого платья ни у кого в Старом Замарье не было. И такой тонкой талии, и таких аккуратных пальцев с чуть подсохшей от мела кожей.

— Баба Тася, вы почему крашеную доску в красном углу держите? — сощурился Пашка на сухонькую сморщенную старушку. — Вы же не верите, что по крашеной доске можно на небо залезть?

— Залезть, может, и нельзя, а войти можно, — баба Тася хитро блеснула выцветшими глазами, уголки белого платочка живо задвигались под сморщенным подбородком.

— Так у неба дверей нет, как туда входить.

— Как нет? Вот же двери-то, на божничке стоят. Богородица почему так называется? Эта девушка, Мария, родила богочеловека Иисуса, чтобы он искупил нам грехи на кресте и открыл небо. То бишь она и есть дверь, через которую Бог на землю пришел и стал мальчишкой, вот хоть как ты, например.

Паша крепче сжал фигу в кармане.

— Ну а чего ж вы до сих пор на небо не ушли, а все перед деревяшками лоб разбиваете? — поддержал товарища Петька.

— На земле, видать, Бог еще отмерил пожить.

— А икона тогда для чего, если на небо не идете?

— Так Бог же с нее смотрит. Что я делаю, видит, и что думаю. И что ты, внучек, пальцы непотребным образом в кармане сложил, — баба Тася подмигнула Пашке.

Пашка покраснел, глаза в пол уронил, но фигу не распустил.

— А зачем ему смотреть? — снова выручил Петька.

— Как зачем? Чтобы мы не ленились и строили коммунизм. Вот и Владимир Ильич ему помогает.

— Значит, Бог за коммунизм?

— Ну конечно. Он же сказал: не будет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, потому что все равны перед Богом. А еще: будьте как птицы небесные, которые не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Бог питает их. От каждого по способностям — каждому по потребностям.

Учительница не выдержала и стала подталкивать ребят к выходу.

— Все, прекращаем этот балаган. Бога не существует, и нечего обсуждать несуществующие вещи. Завтра пойдем иконы на старой церкви заколачивать.

К вечеру небо снова опустилось почти до самых крыш, так, что малиновые закатные облака едва не обдирали животы о печные трубы. Ветер гнал облака прямо на Пашку, и над его головой они светлели и делались выше. Национализированная церковь стояла посреди села — добротный сруб, высокое крыльцо и большие окна. Крест с кры-

ши сняли. Только между окон в стенах темнели ниши, а в них — огромные ростовые иконы, почти не тронутые дождями и пылью. Оттуда на замарьевцев смотрели суровые люди в нездешней длинной одежде, с нимбами вокруг неестественно большеглазых и малоротых голов.

Проходя мимо церкви по дороге домой, Пашка ускорил шаг. Под ноги ему попала большая гладкая галька, и он пинал ее до самого порога.

— Мам, а Бог есть?

Мама сидела в темной кухне, опершись локтями на стол и уронив голову на руки. Услышав Пашку, она подняла лицо. На щеках в падавшем из окна тусклом свете блестили влажные дорожки.

— Нет, сынок, — вздохнула она. — Был бы, так не допустил бы такого. Забрали сегодня нашу Марту в колхоз.

— Что теперь делать будем?

— А и не знаю даже. Председатель сказал, тебя подпаском возьмет. На работе покормят, а за трудодни хлеба по осени дадут. Только вот как ты на уроки ходить будешь?

Пашка слышал, как сердце упало на скрипучий дощатый пол и поскакало к порогу, точь-в-точь поддетый ногой камень. Он очень хотел галстук. И хотел каждый день слушать Марию Сергеевну, смотреть на ее губы и талию, впитывать запах платья.

— Мам, а коров в колхозы товарищ Ленин велел забирать?

— А кто его знает? Он ведь уже семь лет как в Мавзолее лежит.

— Баба Тася говорит, Ленин заодно с Богом. И Бог хочет, чтобы был коммунизм.

— Ну, вот и будет. Коровушка наша уже коммунистическая. Иди, последнее молочко тебе оставила. Допивай, прощайся. Может, пасти будешь, так перепадет когда.

Пашка обеими руками обхватил крынку, и сладкая пахучая жидкость ухнула в урчащий живот.

— А еще говорит, что Бог всех людей накормит, как птиц, — вспомнил он, утирая рот грязным кулаком.

— Да, только ты червячков не ешь, а птицы молока не дают.

Пашка залез на полати, но уснуть не мог: казалось, что лица с икон пришли в избу вместе с ним и теперь таращатся в темноте. Не выдержал: соскользнул на пол, пробрался к двери на носочках, чтобы доски не скрипнули, и выбежал прямо в черное, утыканное серебряными гвоздями небо. Так и замер посреди двора: босые ноги тонут в мокром конотопе, а голова — в звездной черноте. Совсем легло небо на Старое Замарье, даже подниматься не надо. Пашка руки вперед вытянул, думал, звезду достанет, но пальцы схватили пустоту.

— Не даются, заразы.

Сглотнул слюну, нащупал калитку и выбрался на черную пустую дорогу. Не шел, а плыл в поднебесном пространстве — казалось, сейчас заденет головой твердую сияющую звезду. А может, они налипли ему на волосы и насыпались на плечи, и он теперь будет освещать все дома, куда ему вздумается войти.

В избе у бабы Таси горела керосиновая лампа — значит, не спит еще. Пашка легонько толкнул калитку, поднялся на крыльцо и вежливо постучал в дверь.

— Ты чего в такой час? Случилось что? — впустила его старушка.

— Баба Тася, а Бог правда все видит?

— Правда, внучек.

— Тогда пойдем к твоим иконам, чтоб за глаза не обсуждать — нехорошо выйдет, если за глаза.

Баба Тася кивнула, взяла лампу с кухонного стола, где лежала недоштопанная фуфайка, и провела Пашку в горницу. Лампадка по-прежнему теплилась у божнички. Грустно смотрела Мария с ребенком, повесил голову Иисус на кресте. Один Ильич, казалось, верил в коммунистическое будущее.

— Значит, Бог за коммунизм?

— Выходит, что так, внучек. Нет власти не от Бога. А власть у нас советская, коммунистическая. Значит, Бог за коммунизм.

— А без колхозов коммунизм не построить?

— Выходит, не построить, раз партийное начальство сказала, что все в колхоз должны вступить.

— А наша Марта как же? Она нам с мамкой как друг. И молоко давала, и сметану, и масло, и творогу мамка наварит, а потом сырников наделает. Я ей траву ходил косить уже два лета. Сам! А теперь кто за ней будет ухаживать? В колхозе она всем чужая. И нам есть нечего. А мне школу придется бросить.

Баба Тася печально покачала морщинистой головой.

— Иисус терпел и нам велел. Видишь, он ко кресту прибит? Настоящими гвоздями. Какая боль ему через это приходится! Все, чтобы наши плохие дела искупить и чтобы дверь на небо всегда открыта была. А ты из-за коровы расстроился. Оно, конечно, трудно придется, но для коммунизма и потерпеть можно.

Небо было плоским, как крышка на кринке с молоком, и безразлично серым. Вместо молока по траве стелился белый туман и обдавал холодом босые ноги. Пашка протолкался через бабьи юбки к товарищам — они стояли у самых стен, доставая макушками до колен иконописных людей. Те, у кого были галстуки, несли гвозди под руководством Марьи Сергеевны. Мужики волокли доски, выданные председателем колхоза. Толпа прибывала — все Старое Замарье сгрудилось на площадке у церкви. Чуть поодаль от остальных жались друг к дружке баба Маша и баба Тася. Пашка удивился, какие они старенькие и сгорбленные, к земле тянутся, а не к небу.

— Товарищи! В новой советской стране нет места суевериям и религиозным бредням! — голос председателя взлетел с церковного крыльца и грянул над головами. — Не Иисус наш спаситель, а товарищи Ленин и Сталин, Маркс и Энгельс! Старое Замарье — передовое село! С превышением плановых темпов мы провели коллективизацию! Отправили детей в школу! Отказались от молитв и священника! Настало время покончить с последним оплотом суеверий. Товарищи мужчины, берите доски! Товарищи женщины, берите у пионеров гвозди. Каждая должна забить по гвоздю! Заколоти столетия угнетения! Построим светлое будущее!

Толпа загудела и задвигалась. У Пашки закружилась голова. Так бывает, если переходить вброд огромную лужу и остановиться посередине. Темная вода мерно качается и как будто течет куда-то, хотя на самом деле так и лежит в промоине на дороге.

— Эй, ты чего обмер? Пошли иконы колотить! — крикнул ему Петька и помахал гвоздем.

Пашка хотел двинуться, только ноги вросли в траву и утонули в тумане. Мимо прошаркала баба Тася.

— Христос терпел и нам велел, — подмигнула она, беря из берестяной коробки гвоздь. Уголки ее платка от подмигивания дернулись влево, да там и остались. В деревне заголосил петух.

— Товарищ председатель! Если Бог за коммунизм, тогда почему коммунисты против Бога?

Пашка сам не понял, как слова вырвались из его горла. В толпе зашумелись. Председатель нахмурился.

— Да мы не против. Как можно быть против того, чего нет? — рассмеялась Марья Сергеевна, забивая доску над большими печальными глазами. — Давай помогай, чего стал? Ты же галстук хотел.

Мама чуть подтолкнула его сзади. Пашка пошел. Взгромоздил доску на плечо и поволок к церкви. Доска была длинная, и нижний ее конец то и дело цеплялся за землю.

Марья Сергеевна помогла приладить доску к иконе великомученика Пантелеймона. Налетел ветер, надул парусом подол ее коричневого платья и донес до Пашкиных ноздрей тонкий молочный запах.

— Я держу, колоти.

Длинный ржавый гвоздь вздрагивал от ударов молотка, глубже проваливаясь в старое дерево. Вместе с гвоздем вздрагивали Пашкина рука, голова, все тело. Верхний край доски заколотил председатель.

Дождь лил третий день. Грузные тучи прятали небо. Босые Пашкины ноги немели от холода, пока он караулил на пастбище колхозных коров. Если удавалось, набивал клевером прохудившиеся карманы штанов и скармливал его Марте. Она тыкалась влажным носом в ладони и грустно смотрела огромным блестящим глазом.

— Я тоже скучаю, — Пашка гладил ее морду, шурился и часто моргал.

На обед давали миску перловой каши и кусок черного хлеба. Пашка съедал ровно половину, а остальное заворачивал в платок и прятал за пазуху — для мамы. Она совсем исхудала и почти не разговаривала с сыном. В тот день, когда заколотили иконы на церкви, нашла в сундуке деревянное распятие, растопила гнилым валежником печь и бросила распятие в чадной огонь.

Небо с тех пор не опускалось на крыши. Пашка забирался на самый высокий тополь в Старом Замарье, но до облака не достал. Марью Сергеевну видел только издали, с другими ребятами, которым не пришлось идти на работу. Галстук ему так и не выдали.

«Кругом обман», — думал Пашка, плетясь домой хмурым сентябрьским вечером.

— Здравствуй, внучек! Давно тебя не видала! — в сумраке на бабы-Тасином лице почти не видно было морщин. — Заходи, у меня кусочек сахара есть.

Пашка презрительно фыркнул.

— Не хочу, — буркнул он, заглушая урчание живота под худой рубахой.

— Давай-давай, погреешься хоть, — баба Тася легонько подтолкнула его в спину, и ноги сами понесли к калитке.

Старушка достала из жестяной баночки в закуске грязно-белый зернистый камушек и положила на скобленный стол рядом с миской чая.

— Можно я сначала посмотрю? — спросил Пашка, проходя в горницу. — А где иконы с лампадкой?!

Красный угол был пуст, на трехногом табурете стоял прислоненный к стене портрет товарища Ленина и лежала газета «Правда».

— Спрятать пришлось. Сказали, плохо на вас влияю, да чуть в ссылку не выслали.

— Так вы, выходит, предательница! Сначала иконы вместе со всеми заколачивали, а потом и у себя дома от них отказались. Теперь дверей в небо совсем нет, а мне здесь уже надоело.

— Я тебя за тем и позвала, внучек, чтобы настоящую дверь показать, — подмигнула баба Тася. — Иди, чай пей.

Пашка недоверчиво стрельнул серыми глазами и в кухню вернулся. Горячая жидкость обожгла горло. Зубы скользнули по сладкому камушку и откололи несколько крупинок. Крупинки таяли на языке, и по озябшему телу разливались тепло и радость.

— Нравится?

Пашке не то слово нравилось. Но он только фыркнул и отодвинул от себя сахар. Баба Тася беззубо заулыбалась.

— Нра-а-авится, — протянула она. — А виду не подаешь. Вот и я Богу молюсь, а виду не подаю.

— Без икон?

— Без икон. Бог — он внутри.

— У вас внутри?

— У каждого человека. И у тебя, внучек, тоже. Ты сейчас чай с сахаром пьешь, и тебе сладко и хорошо. А ты попробуй, когда есть и пить нечего будет, в уголочке сядь, глаза закрой и Бога изнутри позови. Такую же сладость и тепло почувствуешь. Так все делают. Иначе не построить коммунизм, сил не хватит. Только не рассказывай никому.

Голубое весеннее небо дразнилось высотой и яркостью. Дурманивший запах влажной земли в проталинах проникал в грудь и теснил сердце так, что оно билось в ребра. Голова кружилась от голода, тонкие ноги в намокших лаптях, похожих на стоптанные ласты, неуклюже шлепали по каше из снега и талой воды. В Пашкиных ушах все еще гудел голос председателя. Утром он собрал все Старое Замарье в клубе, взобрался на сцену, которой служил церковный амвон, и, развернув последний номер «Правды», зачитал постановление Политбюро.

«Центральный Комитет ВКП(б) со всей решительностью подчеркивает, что только враги колхозов могут допускать принудительное обобществление коров и мелкого скота у отдельных колхозников. Задача партии состоит в том, чтобы у каждого колхозника была своя корова... Виновных в нарушении директивы ЦК исключить из партии...»

Пашка повторял запомнившиеся фразы и крепко сжимал веревку, конец которой петлей обвивал рога Марты. Корова шагала медленно и часто оскальзывалась. Ее белые бока с двумя бурыми пятнами справа и одним слева туго обтянула кожа, так что они напоминали стиральную доску. Ключицы и тазовые кости резали воздух. Глаза на опущенной от слабости голове стали еще больше и помутнели. Только живот был круглым: Марта ждала теленка.

— Вот теперь мы с тобой заживем! — Пашка чувствовал, как напрягаются горло, язык и губы, чтобы произвести на свет слова, но звука не слышал.

Он завел корову в темный сырой сарай, давно не обогреваемый дыханием. Наскреб в углу горсть старого сена и скормил Марте. Достал из-за пазухи сверток с кашей и хлебом и отдал их ей. Корова благодарно мигнула. Пашка обнял ее за шею и поцеловал пахнущую теплом белую морду.

Прежде чем вернуться на колхозный скотный двор, Пашка вошел в избу. Достал из сундука старое мамино платье и повесил на стул. Поднес к лицу ее платок, глубоко вдохнул запах. Накинул сверху — красиво, цветами вверх. Взял второй стул, на котором обычно сидел сам, и подвинул в угол возле окна. Мокрые лапти оставили большие бесформенные следы на давно не мытом полу. Пашка закрыл глаза. В животе разлилось молочное тепло.

Виктория КОТЕЛЬНИКОВА

КАПИТАН ВТОРОГО РАНГА

Рассказ

1

— Дедуля, мы дома! — улетел в глубину квартиры мягкий голос.

Спустя пару минут послышались быстрые, прерывистые шаги. Так ходят люди, которые с переменным успехом чувствуют опору. Человек набирался сил, прежде чем сдвинуть ноги с места. Шагам вторила трость для ходьбы.

Молодой человек в округлых очках с тонкой металлической оправой с трудом внес в квартиру большой серый чемодан в клетку.

— Как же он мне надоел! Пни его, Федь!

Валя засмеялась и сняла черную кожаную куртку — такие в Москве и Питере можно увидеть на каждом третьем прохожем.

Федя стянул плотные, крепкие ботинки и прошел на кухню. Девушка осталась в дверях между кухней и коридором.

— Валь, тебе воды налить?

— Да-да, я сейчас подойду, — тихо произнесла Валя, даже не обернувшись на Федю.

Она ждала, пока человек, выскользнувший откуда-то из дальней комнаты, дойдет до нее. Так ее ждала в дверях мама в детстве, когда приходила с работы. Валя с веселым криком бежала к ней из детской, а мама обязательно должна была поймать ее, как мячик, которым играют в сквош.

Наконец-то в дверном проеме между гостиной и кухней показался худенький старичок с бородой. Седые волосы доставали до плеч и уже не имели ни жесткости, ни упругости, ни мягкости. Борода издавала казалась припорошенной чем-то белым. Но как только лицо старика приблизилось, то в хаосе бороды стали заметны скупые и редкие, черные и рыжие волоски. Валью это удивляло.

На его фоне она выглядела большой, хотя и носила одежду размера «S» и стрелка напольных весов едва закрывала отметку в пятьдесят пять килограммов. Казалось, его тело — каркас из костей, обтянутый тонкой кожей, и если снять одежду, то по нему запросто можно изучать строение скелета.

Широкий коричневый свитер висел на плечах. Из-под него выглядывала застиранная тельняшка, черные штаны с катышками в самых разных местах плотно соприкасались с кожей ног.

— Вячеслав Петрович, здравствуйте!

— Не слышу.

— Здравствуйте! — крикнула Валя.

— Привет-привет.

Валя улыбнулась и прошла на кухню. Вячеслав Петрович пошаркал за ней.

— Вот я и приехала! Как ваши дела?

— Нормально, — произнес старик в бороду.

Он остановился у деревянного стула. Облокотившись левой рукой о спинку, приставил к столу трость, стараясь сделать так, чтобы она не упала. Рука в этот момент подпрыгивала, будто бы кто-то легонько бил ее сначала снизу, потом сверху.

Вячеслав Петрович обогнул стул и встал ровно так, чтобы опуститься посередине.

Руки схватились за край стола, ноги медленно гнулись, как у деревянной куклы.

Потребовалось секунд пять, чтобы раздалось триумфальное:

— Обрушился!

Валя засмеялась.

— Ура-а-а! Вы молодец!

Бесшумно почмокав тонкими губами, Вячеслав Петрович пригладил бороду.

Федя протянул Вале кружку с муми-троллями. Она залпом выпила воду.

— Дедуля, сейчас будем обедать.

— Что бог послал?

— Я вчера суп варил с картошкой. Мяса там, правда, нет, но зато есть квашеная капуста.

— Сойдет.

На обеденном столе вдоль стены в аккуратном беспорядке находились баночки без нужных крышечек и крышечки без нужных баночек, трубочка от сока в целлофане и китайские палочки. Это было знакомо Вале. Такой аккуратный беспорядок рождается только в том случае, когда вещи разложены по разным углам, лишь бы не мешались, не находились на видном месте. Но где-то на периферии сознания скользит мысль, что они должны лежать в других местах, а лучше быть выброшенными, потому что никому по-настоящему они не нужны и вряд ли кто-либо еще ими воспользуется. Об этом знала и мама Феде.

Перед Вячеславом Петровичем стояла кружка, на которой красными буквами сияло «С Днем Победы!» В слегка мутноватой воде плавали немногочисленные хлопья гречки, похожие то ли на крупные пятна на крыльях павлиноглазок, то ли на выпавшие чешуйки рыбы.

О стол стукнулась глубокая синяя тарелка. Федя налил суп в тарелку и, зачерпнув его ложкой, отправил в рот.

— Горячий, пусть остынет.

Он повернулся к Вячеславу Петровичу и произнес значительно громче:

— Дедуля, суп пока что очень горячий, через пять минут будем есть.

— Жду.

Ребрами средних пальцев Вячеслав Петрович отбарабанил какой-то быстрый мотив.

— Пойду пока поставлю чемодан, чтобы не мешался. А то Вячеславу Петровичу неудобно ходить.

Валя потащила чемодан из коридора в комнату Феде.

Вещи вываливались из шкафа, в высокой подставке для цветов крепко держались горшки с где-то уже иссохшими и полумертвыми растениями. Некоторые стояли криво, немного наклоняясь в сторону. На столе валялись фотографии, бумажки, умещались упаковки с лекарствами, громоздились книги и какие-то декоративные коробки.

Пол комнаты был покрыт небольшими островками брук и носков. Валя не сразу поняла, куда поставить чемодан.

Она снова, как и в первый раз, отвлеклась на книжный стеллаж во всю стену.

Прошлой зимой Валя впервые приехала в гости к Феде и при свете одной только настольной лампы рассматривала книги в комнате. В тот вечер он рано уснул, и она осталась один на один со стеллажом.

Через час, громко топая, в дверном проеме показался Вячеслав Петрович. Он молча включил свет трясущейся рукой и, стуча тростью, медленно приблизился к кровати. Усевшись, Вячеслав Петрович стал внимательно смотреть, как Валя листает художественные альбомы. Потом перевел взгляд на спящего Федю и произнес:

— Страдалец.

— Пусть спит. Он устает быстро, — попыталась заступиться Валя и перевела тему: — Федя рассказывал, что это ваши альбомы. Очень большая коллекция. Вы их из-за границы привозили?

Она знала ответ. Но надо было о чем-то говорить: неловко молча сидеть при свете лампы, выносить непрерывный старческий взгляд.

— Было дело.

Вячеслав Петрович задумчиво уставился на стеллаж, взял в руки трость и указал на корешок какой-то книги.

— Возьми ее.

Валя поднялась с кровати и подошла к стеллажу. Это был альбом с работами Константина Юона. Она листала его медленнее, чем предыдущие, чтобы старик успел посмотреть и подумать.

После каждой просмотренной книги он указывал на следующую, и Валя снимала ее с полки. Так они просидели до глубокой ночи.

2

Полнотелая листва берез барахталась за окном. Ветви не доставали до восьмого этажа, хотя очень этого хотели. Утренний солнечный свет касался рам, но внутрь не проникал, а осторожно нащупывал оконные отливы, куда можно было бы опустить быстрые молодые ноги.

Валя щелкнула язычком на электрическом чайнике. Он, набирая обороты, как гоночный болид, зашумел на всю кухню.

Вячеслав Петрович сидел за большой тарелкой овсяной каши, посыпанной стружкой сыра. Рядом стояла кружка с муми-троллями.

Валя насыпала хлопья в тарелку с молоком. Они захрустели на зубах, а глаза побежали по ленте новостей.

Вячеслав Петрович смотрел на нее. Она оторвала глаза от экрана телефона и взглянула на него.

— Вы чего не едите?

Валя улыбнулась и налила кипятка в кружку.

— Что вам сегодня снилось? — спросил Вячеслав Петрович и беззвучно зачмокал ртом.

— Ничего. Мне почти никогда ничего не снится. Но я не расстраиваюсь, может быть, это даже хорошо.

Она помолчала немного и отпила чаю.

— А вам что снилось?

Она выжидающе взглянула на Вячеслава Петровича.

Он долго не отвечал, смотрел в окно.

— Да бог его знает.

— Зато не надо во сне нервничать. Уснул, провалился куда-то, а потом уже и утро.

— Интересно же, что там, во сне-то.

Валя отхлебнула еще чаю.

— Вячеслав Петрович, вы ешьте, пожалуйста. А то ведь сейчас все остынет!

— Я ем.

— Хлеба порезать вам?

— Нет.

Вячеслав Петрович схватился за край стола и попытался подняться.

— Вам помочь?

— Нет.

Опираясь о поверхность стола, а потом и о кухонную столешницу, он дошел до широкого подоконника, заваленного деревянными досками, целлофановыми пакетами и многоразовыми контейнерами.

Его тело застыло у подоконника. Глаза вглядывались в березы и дома.

— Что вы там увидели, Вячеслав Петрович?

— Вы видите... вот там...

Он указал пальцем куда-то вдаль.

— Что там? Не вижу... У меня зрение минус три. Все размыто. Сейчас сбегая за очками.

— Куда смотреть?

— На эту березу.

Он еще раз указал пальцем на одну из многочисленных берез.

— Видите черное пятно? Вот там...

Валя с трудом заметила черное пятно на березе, ей показалось, что это чечевички.

— Вы имеете в виду черные пятна на коре?

— Нет, повыше. Посмотрите, вы видите?

Валя сделала вид, что видит.

— Это гнездо. Его свили прошлой весной... Там жили черные птицы.

— Что за птицы?

— Черные. И клюв желтый...

— Жаль, что их сейчас нет.

— Увидите еще... Весной увидите.

— Не знаю, Вячеслав Петрович. Я же учусь, наверное, не смогу весной приехать.

Он замолчал и все смотрел куда-то, уже мимо березы.

— Посмотрите, вы видите черное пятно?

— Да, вижу.

— Это гнездо... Вы его видите?

— Вижу. Там черные птицы весной жили.

— Да. Черные птицы с желтыми клювами.

Он опять указал пальцем на березы и сказал: «Вы видите?»

Затем забарабанил пальцами по подоконнику, как будто бы отвечая какой-то внутренней музыке.

— Вы видите эти дома?

— Да.

— Тут раньше не было домов, а деревья были низкие-низкие. Все, что вы перед собой видите, — этого не было. Пустырь, голое пространство, только Смоленка одна... Мы вдоль нее бегали ребятами. Отец часто ругался.

— А сейчас тут вон сколько домов! И внизу люди гуляют, деревья высокие, почти до нас с вами достают. Видите?

— Вижу. А раньше тут ничего не было. Кто бы мог подумать, что обрастет, появится... Вон туда вправо только залив был виден раньше. Вода блестела там, далеко-далеко.

— Сейчас, конечно, не так. Мир же меняется, люди пространство вокруг себя заселяют, вот и дома строятся, деревья вырастают. Так и должно быть.

— Раньше ничего, кроме Смоленки, не видно было. Вы представляете? Деревья низкие-низкие были, вот так...

— Да, представляю. Но хорошо, что сейчас это изменилось.

— Ничего не было, только пустырь и деревья низкие...

Он добрался до табуретки и медленно уселся за стол.

— Давайте я погрею, все уже остыло.

Валя подхватила тарелку и поставила ее в микроволновку.

— Спасибо.

— Хотите песни послушать?

— Давайте.

Она включила музыку и под свист Эдуарда Хиля, раздающийся из динамика, достала тарелку с кашей.

«Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Море встает — за волной волна, а за спиной — спина....»

— Вы только ешьте, Вячеслав Петрович, а то все остынет, ладно? Придется нам с вами заново греть, а так будет уже невкусно.

Валя улыбнулась и провела рукой по волосам.

«Здесь, у самой кромки бортов, друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг... Место в шлюпке и круг».

Валя вернулась к своим хлопьям. Солнечный свет замер в пространстве кухни, прирос к шкафчикам, желтой губке для мытья посуды и местами чуть липкому полу. Валя подобрала колени к подбородку и посмотрела в окно.

«Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой — третье мое плечо — будет со мной всегда...»

Небо было по-летнему голубое. Валя в каждую смену сезонов замечала, что оно всегда разное и солнечный свет тоже разный. Как-то раз она вошла в подъезд и увидела, что свет от солнца в шесть вечера совершенно не такой, как в двенадцать или в два. Он мягкий, более темный, близкий к оранжевому и слабо греет стены. Вале казалось, что он существует не для того, чтобы согревать землю, а чтобы освещать пространство и давать еще немного видимости перед надвигающейся темнотой. Такой свет ощущался как возможность продлить день, посмотреть на мир лишний час. Валя застывала возле куска вечернего света и смотрела, как он проникает сквозь заляпанные подъездные стекла, каким тонким слоем лежит на зеленой краске стен, делает их как-то роднее, понятнее для человека. Хочется подойти к этой стене и в желании обнять, распластаться по ее поверхности, прижаться и прошептать что-нибудь нежное.

«Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги — таков закон — третий должен уйти... Уйду с дороги — таков закон — третий должен уйти».

Вячеслав Петрович отбил по столу ритм песни.

Валя посмотрела в его сторону. Рука с ложкой подергивалась, как только он подносил ее ко рту, а после каждой съеденной порции Вячеслав Петрович причмокивал тонкими губами, как бы пытаясь прожевать еду не только зубами.

Вале захотелось отдать ему хотя бы часть своей хрупкой, малой силы, которую она, возможно, никогда не замечала, а сейчас вот посмотрела на него и сразу поняла, что есть у нее сила. Ее не осознаешь, не чувствуешь, но только взглянешь на него — и хочется отщипнуть от себя увесистый кусок внутреннего движения, которое помогает упруго

идти, прямо смотреть, резко разводить в сторону руки и нагибаться к земле, если что-то уронил или увидел жука-пожарника и захотел посмотреть поближе.

— Покушали, Вячеслав Петрович?

— Да. Спасибо.

— Вы молодец! Как вы вообще овсянку эту едите, она же невкусная!

— Что дали, то и ем.

Валя убрала тарелку в раковину.

Ее несъеденные хлопья набухли и расходились по швам в молоке. Некоторые затонули, как корабли с дырой в трюме.

Между солнечным светом и тенью от предметов проскользнуло молчание. Валя не любила молчать в ситуациях, которые предполагали слова и диалоги. Ей казалось, что она должна что-то сказать ему, о чем-то спросить, узнать, услышать от него что-то новое, что никто другой не расскажет.

Вячеслав Петрович взглянул на Валью. Она боялась этого взгляда. За ним прятался другой человек, не тот, кто сидел перед ней. Тот, кого она видела, был старой, изношенной оболочкой. Она уже не вмещала всего того человека, который виделся Вале во взгляде Вячеслава Петровича. Валя часто думала: если распороть это тело ровно посередине, начиная от яремной ямки и заканчивая лбом, развернуть два полотна кровавой кожи в стороны, откинуть их, как плащ в теплый весенний день, запустить внутрь тела руки, испачкаться в крови, чуть ль не по локоть испачкаться, — то можно вытащить другого мужчину. Он соскочит на пол, встанет в полный рост, разомнет ноги, подпрыгнет и присядет, а потом оглянется по сторонам и выдохнет так, как будто стоит перед большим пространством свободной земли, с которой делай что хочешь. Он будет моложе, на лице его станет меньше морщин, он сможет двигаться без ограничения собственного тела и быстро говорить, даже быстрее, чем бежит его мысль. И все то, что есть во взгляде старика, все невысказанное и спрятанное, о чем Валя может только догадываться, станет яснее и прозрачнее, примет больший объем, другой размах, сможет выйти, получит способность говорить, громко закричит.

— Вячеслав Петрович, пойдёмте, я вам почитаю.

Она посмотрела на него. Он сидел, закрыв глаза, со слегка открытым ртом.

3

Заскулило кресло. Изможденное годами тело захрустело, опустившись на мягкую ткань. Стукнула трость для ходьбы.

— Я не хочу, чтобы меня закопали.

Натянутые губы, покрывавшиеся крошащейся бордовой пленкой помады, расслабились. Валя обернулась и взглянула на Вячеслава Петровича.

— И я не хочу.

Раздалось молчание. Снова стук.

— Кому это приятно? Все гниет, пахнет.

— Почему вы об этом сейчас думаете?

— А о чем мне еще думать?

Валя присела на корточки возле кресла.

— Как бы вы хотели, чтобы вас похоронили?

— Чтобы сгорел я, гнить не хочу.

— Раз вы этого хотите, значит, так и будет. Вы сказали родителям Феди?

— Написал там, где это требуется.

Вячеслав Петрович погладил бороду.

— Хотите, чтобы прах похоронили или развеяли?

— Пусть закопают. Только не в этих, где все стоят, где много народу.

Стук. Пауза.

— Альбомы были, — глухо вылетело.

— Какие альбомы?

— С фотографиями. Много альбомов было.

— Мне их найти?

— Найдите. Они где-то тут, в шкафу.

Он тростью указал на дверцу напротив.

— Я сейчас у Феди спрошу.

Зашуршал подол черной юбки, зашкрипели резиновые тапочки.

— Федь, Вячеслав Петрович спрашивает, где альбомы с фотографиями. Говорит, в гостиной.

Он привстал с кровати, и мокрые волосы опустились на шершавый лоб. От тела Феди пахло кокосовым маслом.

— Там нет, мама куда-то их убрала. Они либо в моей комнате, либо у бабушки.

Шепот юбки направился обратно в гостиную.

Хлопали дверцы кухонного гарнитура. Пузо мусорного ведра ползало по грязному полу. Вячеслав Петрович искал среди круп, макарон, соусов, различных масел и посуды толстые бумажные фотоальбомы.

— На кухне их точно нет, Вячеслав Петрович. Я поищу потом у Феди на стеллаже, они, наверное, там.

— Много фотографий было, неужели все выбросили? Ну и бог с ним.

— Кто их мог выбросить? Это же ваши альбомы. Они точно где-то дома, надо поискать.

— Выбросили. Ладно, не надо ничего искать, если выбросили, значит, не нужно.

— Я их найду, хорошо? И мы вместе их потом посмотрим.

— Куда же они могли деться?

Стук.

Худые ноги зашаркали в сторону дальней комнаты, которая всегда закрывалась.

4

Хлопнула входная дверь. Гаркнула задвижка.

— Вячеслав Петрович, я вернулась! Простите, что так поздно, — крикнула Валя.

Она быстро сняла серые кроссовки, которые на самом деле были белые, и побежала на кухню.

На кухне сидел Вячеслав Петрович. Он мят вафельное полотенце. Перед ним стояла тарелка с прилипшими остатками гречки.

— Вы уже поели? Извините, я не думала, что так долго буду гулять. Я сейчас вас покормлю. Федя поздно приедет, он с друзьями.

Надо было кормить Вячеслава Петровича в определенном порядке. Это напоминало ритуал, а потому успокаивало и его, и Валу, день за днем повторялось и создавало впечатление чего-то неизменного, что невозможно прервать или остановить, а значит, почти вечное. Обманчиво, конечно.

Она достала кастрюлю из холодильника и поставила на столешницу. Перелила суп в крохотный сотейник и опустила на плиту.

Щелкнул газ.

Из-под тяжести магнита с холодильника слетел лист бумаги. На нем были написаны названия лекарств, которые Валя еще не знала благодаря собственному непогрешимому здоровью. В скобках плясали дозировки. На листе где-то ближе к концу стояло масляное пятно.

Не перепутать бы ничего. Ничего бы не перепутать.

Валя взяла белый пузырек с красной полоской. С синей полоской. Упаковку желтого цвета.

Забавно как. Почти все упаковки лекарств яркие. Наверное, чтобы скрасить жизнь медленно умирающего.

Валя недоверчиво проверила каждый пункт списка: эту положила, да, одну штуку; этой надо только половинку; вот эту до еды, а эту после.

На салфетку легли разных форм и цветов таблетки и капсулы. Всего пять штук, и почти в девяносто лет ты продолжаешь нервно дышать во сне, тяжело передвигаться, есть трясущимися руками, кашлять и болеть, не выходить на улицу.

Пузыристо закипел суп.

Сначала ложка попадала в рот Вале — контрольный пункт. Горячо, надо подождать.

Тарелка, похожая на глубокое морское судно круглой формы, заполнилась желтой водой, в которой плавали квашенная по-деревенски капуста «Красная цена» из «Пятерочки» и мелко нарезанная картошка.

— Вячеслав Петрович, суп пока горячий, придется еще немного подождать!

— Угу.

Сколько помидоров порезать? Один? А может быть, лучше два? Наверное, два.

Продолговатые помидоры сочились полупрозрачным красным соком. Он медленно вытекал на блюде, заполняя небольшое дно.

Валя достала из сумки предусмотрительно купленный хлеб. «Столичный», как он любит.

Осторожно, будто несет дорогое своему сердцу сердце, Валя мелкими шажками двигалась к столу с заполненной до краев тарелкой. Она сосредоточенно смотрела в глубину супа, будто гипнотизируя его и приказывая не плескаться. Суп покорился.

— Вячеслав Петрович, вот таблетки. Не забудьте выпить, хорошо? И помидоры кушайте!

Он высыпал на ладонь все капсулы и таблетки, приблизил к ним рот и, как большая, старая лошадь, слизнул с руки.

После приема лекарств Вячеслав Петрович взялся за ложку и прыгающей рукой медленно поднес ее ко рту. Валя включила музыку на телефоне.

«Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан...»

Иногда картошка или капуста спрыгивали с ложки и бесшумно падали на белый стол. Жевать было тяжело, требовалось время, чтобы поест. Но торопиться больше некуда.

«Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряется моря!»

Помидоры брызгались собственной внутривенной жидкостью, когда их кусали за красные сверкающие бока. Сопротивлялись. Красная влага катилась по пальцам, капая где-то рядом с картошкой и капустой.

«Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз пятнадцать он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел, и никто ему по-дружески не спел: „Капитан, капитан, улыбнитесь...“»

Два куска хлеба и чуть меньше половины супа остались на столе. Вячеслав Петрович нашарил правой рукой деревянную трость и с усилием поднялся из-за стола.

— Вам помочь? — с силой ударило о чуть сгорбленную спину.

— С чем?

— Ну, вдруг вам помощь нужна.

— Сам справлюсь.

Тоненькие ножки посемили сквозь длинный коридор к туалету и ванной.

«Раз пятнадцать он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул».

Валя присела на стул и положила руки на колени, но через пару секунд снова встала и налила воды в кружку с муми-троллями. Федя их очень любил. И мама Феде тоже. Вот и она в них медленно влюблялась.

Валя подошла к окну и стала расставлять контейнеры по цветам: с зелеными крышками — в левую башенку, с желтыми крышками — в правую, а с прозрачными — в шкафчик, под подоконник.

Руки нервничали, хотели соскочить с плеч и куда-то спрятаться. Она тихо подошла к дверному проему и заглянула за деревянную перекладину.

Спиной к ней стоял Вячеслав Петрович.

«Пусть голова моя седа, зимы мне нечего бояться. Не только груз — мои года, мои года — мое богатство...»

Валя увидела голые, обвисшие, сплюснутые ягодички. Она спряталась за угол и оперлась подбородком на кулаки.

На секунду зажмурилась.

Он, наверное, сам справится. Не зовет же меня. Нет, надо подойти. Ему тяжело.

Валя задержала дыхание, прислушиваясь к шорохам за стеной. Толстые брови сошлись на переносице.

Что-то с силой упало на пол.

Валя выбежала из-за угла.

В трех-четырех метрах от туалета, будто согнувшись в молитве или ища что-то маленькое и почти невидимое глазу, сидел Вячеслав Петрович, прислонившись головой к полу.

Валя подбежала и опустилась на колени перед его лицом.

«Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться...»

Сгорбленная, худая фигура застыла, и казалось, что сверху кто-то положил на нее большой, неровный и черный булыжник с белыми, глубокими полосами, как на картине Цвинчера. На лбу розовел ушиб, и кровь застыла на нем яркой краской. Лицо Вячеслава Петровича вспотело, пот собрался на кончике носа, из носа текло.

Валя побежала за салфетками на кухню. Мягкий бумажный звук разрывающихся волокон.

Надо взять побольше салфеток, у него же все лицо мокрое.

Она вытирала Вячеслава Петровича, замедляя движения на ушибе, двигаясь так, чтобы прикосновения руки почти не ощущались.

— Не больно?

Он молчал. Рука протерла щеки и добралась до крючкового красноватого носа. Валя утерла капли пота, прошлась по подбородку.

— Вячеслав Петрович, что болит? Чем вы ударились? Обопритесь о мою руку, я сейчас подниму вас, — загремели движения, стали быстрыми и нервными. В полутемном коридоре Валя пыталась нащупать руки Вячеслава Петровича, чтобы как-то подхватить его, вытянуть.

— Не могу, колени болят, не могу.

Валя резко встала и опять протиснулась мимо эмбрионовидного тела, взяла оливковую широкую подушку и вернулась к Вячеславу Петровичу.

— Попробуйте немного приподнять ноги, я сейчас подушку подложу, чтобы не так больно было. Давайте сначала правую.

Правая нога подергивалась, но приподнималась. Подушка скользнула под нее.

— Отлично, давайте теперь вторую, только осторожно.

Обе коленки стояли на мягкой ткани.

— Вот старый козел!

— Прекратите так говорить! Что еще болит, кроме коленей? Вы ничего не сломали? Давайте я «скорую» вызову?

— Нет, сейчас посижу и встану.

— Обопритесь о мои руки, я вас подниму.

— Не могу, у меня говно в руке.

— Отдайте мне, я сейчас выброшу его в туалет, вытру вам руки, и мы попробуем встать.

— Кто насрал, тот и убирает.

— Вячеслав Петрович, отдайте мне.

— Нет, я сам встану и выброшу.

— Ну как вы встанете? Отдайте! Сейчас возьму туалетную бумагу, — Вале пришлось повысить голос.

Она подскочила и побежала в туалет. Отмотав бумаги в три оборота собственной руки, вернулась и снова стала на колени.

— Я взяла бумагу. Давайте.

Вячеслав Петрович судорожно протянул левую руку. В ней лежала толстая и длинная колбаса.

Как у такого маленького и худого человека может получиться такая огромная штука?

В ней было что-то красное, зеленое, какой-то яркий общий цвет. От помидоров, от квашеной капусты, от картошки, от зелени в супе, от капсул и таблеток в ярких упаковках, от солнечного света по утрам на кухне. Это было странным образом переплетено, связано, сшито в одно яркое, цельное полотно.

Валя взяла ее и отнесла в туалет.

«Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство. Я никому их не отдам, мои года — мое богатство...»

Валя нашла какую-то более или менее чистую белую тряпку, смочила ее водой и снова присела возле Вячеслава Петровича.

— Давайте левую руку, сейчас я ее протру.

Вячеслав Петрович дал ей дрожащую руку. Она крепко обхватила ее снизу и твердыми движениями стала вытирать ладонь и пальцы.

— Тут нечего стесняться, все естественно. Не волнуйтесь, я понимаю.

«Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам. Мои года — мое богатство...»

Шум воды. Тряпка стала отдавать цветом кофейных зерен и молочного шоколада с вкраплениями зеленого, оранжевого и красного. Что-то похожее на волокно или тонкую, жухлую и сухую траву налипло на ткань и не хотело отцепляться.

«А если скажут мне века: „Твоя звезда, увя, погасла“, подымет детская рука мои года — мое богатство...»

— Ну вот, с одним справились. Давайте теперь попробуем подняться. Обопритесь о мою руку, я подниму вас. Или подать трость?

— Не могу встать. Старый козел! Надо было раньше идти.

— Вячеслав Петрович, не ругайте себя. Все хорошо, ничего страшного не произошло. Внутри Валиной головы мысли ощутимо двигались и от усердия, и с усердием.

Опереться, опереться. Надо на что-то опереться.

«Когда-нибудь наверняка подымет детская рука мои года — мое богатство. Когда-нибудь наверняка подымет детская рука мои года — мое богатство...»

Валя толкнула дверь той дальней комнаты, что всегда закрывалась. На ней виднелись следы чего-то острого, резкого, они остались как шрам после вырезанного аппендицита. Кто-то ковырял этот тихий белый цвет. Краска слезала с двери небольшими болячками, как корочка с детских, сбитых об асфальт коленей.

На темно-коричневом советском полу оставались тусклые следы зеленого коврилина. Неразобранный диван стоял посередине небольшой комнаты. Белая простынь с голубыми розами пошла трещинами по ткани там, где обычно находятся ягоды. Комом в ногах лежало одеяло. На спинке дивана валялись застиранные полотенца и две рубашки. Темнота проникала в комнату через белые шторы с голубыми пионами.

В деревянном ящике неподалеку от кровати лежал бурый медведь. У него не было глаз, и он тараторил в потолок остатками клея. Носа на морде тоже не было, только круглый выступ, похожий на скалу, с которой можно прыгнуть в пропасть. Левая лапа медведя тянулась к кровати, словно он просил, чтобы кто-то схватил его за нее и вытянул из грязного старого ящика.

На вешалке, как лишившиеся жизни висельники, покоились пыльные куртки, жилетки, мягкие рубашки в клетку, черная кепка и зонт с деревянной ручкой.

На столе лежал Новый Завет в коричневой тканевой обложке с золотым тиснением. Рядом стояли две светлые чашки, сначала побольше, а потом поменьше, с гномиками. В них плавали небольшие кусочки еды, и темно-коричневые круги обводили их стенки. Под белым в голубую клетку платком бездействовало серое удостоверение ветерана. Ватные диски белыми пятнами разбросаны на столе, некоторые заботливо укрывали молитвослов.

Под расписным абажуром лампы лежал журнал «Историк», который Федя пару дней назад забрал из почтового ящика. Он был открыт на статье про Курскую битву. Вчера Валя спросила у Вячеслава Петровича:

- Вам, наверное, уже тяжело читать?
- Бывает, долго не могу.
- Хотите, я вам вечером почитаю, как только мы с Федей вернемся с прогулки?
- Хочу.

Она так и не почитала ему. Они с Федей сели смотреть какой-то сериал, и Валя уснула.

Среди бесчисленных вещей стоял деревянный стул с красной обивкой. Валя взяла его под раму сиденья, как любящий молодой человек подхватывает девушку, и понесла в коридор.

— Вячеслав Петрович, обопритесь руками о стул, попробуем поднять сначала правую ногу, потом левую. Вам надо сесть на попу, чтобы выпрямить их. Давайте попытаемся.

- Штаны все в говне, измажусь, если на жопу сяду.
- Ничего страшного, мы потом с вами помоемся. Встать все равно надо.

Вячеслав Петрович осторожно попытался сесть на ягоды. Валя взялась за правую ногу и аккуратно потянула ее на себя.

- Больно! Больно!
- Так, тогда давайте попробуем встать с колен, хорошо? Одной рукой обопритесь о меня, второй — о стул.

Вячеслав Петрович правой рукой твердо схватил Валью за предплечье, а левой всем телом налег на мягкую обивку стула.

- Где трость?

Валя быстрым движением подала ему трость.

— Ну как? Стоите? Ничего не болит?

Вячеслав Петрович неуверенно потоптался с ноги на ногу, чтобы почувствовать под собой ту легкую опору, ту твердость пола, что в последние минуты был слишком груб. Теперь надо было ощутить его по-иному, занять власть и ходить, ходить, ходить, чувствуя, что тот не предаст.

— Пойдет.

— Надо помыться, Вячеслав Петрович, вы весь испачкались.

— Нет, я так.

— Как «так»? Пойдемте в ванную, не стесняйтесь.

— Как это меня молодая девушка будет мыть? Ты не должна.

— Ничего страшного, мне несложно. Пойдемте.

Валя включила свет. Ванная комната сохраняла все тот же прикрытый беспорядок, замаскированный под определенную ясную систему. Маленькая, в ее стенах с трудом мог развернуться один человек. На раковине стоял небольшой органайзер с наклейкой, на которой были изображены три бородатых гнома в колпачках разного цвета: синего, розового и красного. В нем лежали грязные, сморщенные ватные диски и использованные ушные палочки. Раковина была покрыта мелкими пылинками и волосами. Зеркало пошло пятнами зубной пасты и разводами от воды.

— Вячеслав Петрович, у вас есть мочалка?

— Нет.

Взгляд Вали упал на собственную мочалку, которую она неделю назад достала из чемодана. Мягкий кусок поролона, обтянутый чуть колкой, царапающей щетиной и синим массажным слоем.

— Вячеслав Петрович, садитесь на край ванны. Я сейчас сниму с вас одежду, мы помоемся, наденем новые трусы и штаны, хорошо?

— Понял.

Валя осторожно стала снимать темно-синие штаны. Ближе к икрам на них размазались пятна каштанового цвета.

У таза ноги Вячеслава Петровича напоминали тонкие и нежные стебли сухих гипсофилов. Чем ниже опускался взгляд Вали, тем больше она замечала растущий в ногах объем. Начиная от колен и доходя до пяток, ноги раздувались, краснели и выглядели так, будто бы в них вкачали литры воды. Кожа на голених блестела от натянутости. Создавалось впечатление, что ее натерли оливковым маслом.

Валя сняла с маленького старого тела коричневый свитер. Выцветшая и поникшая тельняшка с мелкими укусами дырочек осталась висеть на плечах. Вячеслав Петрович потянул ее край как можно ближе к промежности.

— Поднимите руки, Вячеслав Петрович. Я сниму с вас тельняшку.

Он медленно и с трудом поднял руки.

Хрупкое и жалкое тело смотрело на Валу. Оно было немощным и уже почти ни на что не годилось, кроме как проснуться, умыться трясущимися руками, дойти до кухни, сесть, поесть то, что заранее положили, сходить в туалет, с трудом почитать Новый Завет в очках с линзами, которые в несколько раз увеличивали глазные яблоки и веки с уголками глаз, и лечь спать. Так лечь, чтобы судорожно и беспокойно дышать во сне. Руки сложить на груди и сцепить в замок. Будто бы молишься, будто бы проживаешь еще одну жизнь.

Валя с трудом залезла в ванную. Она взяла лейку душа и начала настраивать воду.

Нужна не слишком горячая, но и такая, чтобы не замерз, все-таки он ведь без одежды сидит, дверь открыта. Валя щупала рукой капли, чтобы определить температуру воды.

Да, так подходит.

Она выдавила перламутровую ленточку геля на мочалку. Запахло черникой. Вода наполняла мягкий поролон, два или три движения рукой — и вот он покрыт облачной дымкой густой пены.

— Вячеслав Петрович, я сейчас буду вас мыть сзади. Вы только не волнуйтесь, хорошо?

Молчание.

По его спине, до ягодич, рассыпались крошками темных драгоценных камней родинки. Их было множество. Какие-то совсем небольшие, как мелкие, черные бисерные бусины; другие напоминали коричневые наросты грязи; из третьих торчали тоненькие и строгие волосы. Были и те, которые смотрелись как сухая, покрывшаяся мелкими трещинами глина.

Валя осторожно провела мочалкой по спине. Она покрылась легкой пеной.

Шумела и бежала вода между голых ног Вали, касаясь пяток и косточек голеностопа.

— Вячеслав Петрович, встаньте, пожалуйста.

Он привстал.

Валя запустила губку между обвисших, покрытых тонкой пленкой кожи ягодич. Мочалка окрасилась в светло-коричневый, по рукам потекла такого же цвета вода. Мимо ног проносились рыжие комочки, волокна непереваренной еды и красные помидорные шкурки вперемешку с пышной белой пеной.

— Все?

— Нет, Вячеслав Петрович. Пойдите еще чуть-чуть, я скажу, когда сесть.

Валя сполоснула мочалку. Раз за разом в воде кружилось все меньше комочков, волокон и шкурок. Под крепкими и уверенными руками Вали мочалка вернула прежний цвет.

— Садитесь, Вячеслав Петрович.

Он сел обратно на бортик холодной ванны.

— Я сейчас спереди вас тоже помою, у вас ноги грязные.

Его ребра казались чуть ли не физически ощутимыми, такие острые, что глаза цапались о них. Можно было провести по ним пальцами, и они бы запели, как арфа. Можно было постучать по ним кулаком, и они зазвонили бы, как бубен.

Валя осторожно провела губкой по пространству между ног. Уверенными движениями протерла пенис, который раньше наверняка был предметом гордости, а теперь стыдливо прикрывался краями тельняшки.

Тело подводило. Подводили даже те места, которые любишь.

Так и ее когда-то подведет грудь, клитор и вульва. Больше не захочется после душа замереть у зеркала и сказать себе, что ляжки похожи на те, что у Данаи Рембрандта. Никто больше не захочет сжать их нежными волосатыми руками в попытке охватить. Никто не возьмет в рот коричневый сосок и не покрутит на языке, как шалфей, как леденец от боли в горле. Что-то было в этом страшное, будто бы мертвое, но приходило раньше самой смерти и иногда так скоро, что до нее оставалось несколько десятков лет.

Опухшие ноги в коричневых засохших пятнах стояли на грязном и холодном кафеле.

Несколько раз Валя повторила омовение ног. Теперь вода капала на кафель и делала его чище.

— Вячеслав Петрович, вы пока сидите, я сейчас принесу постиранную одежду. Где у вас трусы с носками? Штаны?

— В шкафу, на нижней полке.

Прежде чем уйти, Валя сняла с крючка большое темно-синее полотенце, которое утром ей дал Федя, и насухо вытерла ноги Вячеслава Петровича.

— Встаньте, пожалуйста.

Вячеслав Петрович тихо поднялся. Валя похлопывающими движениями прошлась по ягодицам и между ними. Она посмотрела на полотенце, ища на нем коричневые следы, которые надо было бы оттереть, но полотенце осталось таким же темно-синим, только потемнело от впитавшейся воды.

Она положила полотенце на бортик ванны. На двери висел полосатый халат, места-ми полинявший. Валя набросила его на плечи Вячеслава Петровича, и от халата пахнуло чем-то кислым.

Ему будет не так холодно сидеть.

— Садитесь.

Валя опять вошла в комнату. Взгляд ее упал на пространство под столом.

На полу стояла большая деревянная голова. Она принадлежала папуасу. Голова была непропорционально вытянута и огромна, как будто папуас страдал водянкой. Закрытые глаза напоминали широкие ромашковые лепестки. Округлые, пухлые губы выступали на лице двумя блямбами, внушительный и мясистый нос пошел трещинами. Голова крепилась к тонкой подпорке. С другой стороны подпорки мягкими и плавными движениями выплывала волной округлая рука с едва намеченными пальцами. Она напоминал большой лист лопуха.

Две стены в комнате были плотно укрыты полками с книгами. Сложно было поверить, что один человек мог прочитывать все, что лежали, стояли, теснились, наклоняясь в разные стороны.

На стеллаже — почерневшая от времени иконка. Ребенок, как нежная птичка, прижался щекой к матери, та обняла его одной рукой, а другую протянула к подбородку сына. Взгляд ее был направлен куда-то вверх, казалось, что кто-то быстро пробежал за спиной ребенка, и она на секунду оторвала от него глаза, пристальные и любящие.

Потолка почти касалась деревянная, серая от пыли, сборная модель кораблика. Его форштевень и галейная фигура в виде большой птицы были направлены к сумраку окна.

На одном из стеллажей виднелась фотография строгой молодой женщины с высокой прической. Она не улыбалась, у нее был усталый, немного напряженный взгляд.

За ее фотографией стояли еще пара штук. На одной можно было рассмотреть небольшую часть плеча в кителе и погоны с двумя звездами. На последней виднелся рядный корабль. Он был украшен флажками, которые в глазах Вали почему-то были цветными, хотя и эта фотография была черно-белой. Мачты тянулись к небу, паруса были завернуты в толстые, белые трубки.

В углу комнаты, возле окна, стоял большой советский шкаф. Скрипнула тяжелая дверь, и Валя увидела нестройные ряды старых вещей. Несмотря на то, что они лежали ровно, было видно, что их редко касаются.

Пошуршав разными видами ткани, Валя нашла белые трусы в черную полоску и серые штаны. Все остальные были, как минимум, на два размера больше. Среди этой одежды Валя заметила свежую тельняшку, где-то на другой полке шкафа нашлись носки. Надо было побыстрее возвращаться, не смотреть жадно на его комнату, пытаться понять его.

Валя вернулась в ванную.

— Вы не замерзли?

— Замерз.

— Вы сидите, сейчас будем трусы надевать. Сначала поднимите правую ногу, а потом левую, когда я скажу, хорошо?

Он кивнул.

— Давайте правую.

Опухшая нога приподнялась, подергиваясь. Валя растянула ткань трусов, чтобы нога Вячеслава Петровича без труда могла пролезть в дырку.

— Теперь левую.

Рукой Валя задела пятку Вячеслава Петровича, и он вскрикнул:

— Больно!

— Что такое? Где больно?

— Там мозоль. Когда ее касаешься, больно.

— Поднимите ногу немного, я сейчас посмотрю.

— Трусы сначала.

— Да, давайте наденем. Вставайте, я натяну.

Он опять с трудом встал.

Валя натянула трусы выше пупка, чтобы точно хорошо сидели.

Вячеслав Петрович сел обратно на бортик ванны, и Валя попросила его поднять ногу.

Она опустилась на колени, одной рукой оперлась о локоть, а второй осторожно взялась за пальцы ног. Ногти были сильно отросшие. Толстый слой ногтевой пластины, такой неестественный для молодого и такой привычный для старого. Полосы на поверхности напоминали рисунок внутри янтаря. Такие же желто-оранжевые, только более тусклые, они ложились на ноготь впадинами и кривыми линиями. Ногти были крючковатыми, росли извилисто, как ветви крепких, больших дубов.

Морщинистая сухая пятка пошла трещинами, темневшими вкраплениями грязи. Кожа напоминала дерево, которое надо обтесать, очистить. Хотелось срезать этот слой, добраться до иного, хотя бы насколько-нибудь мягкого и приятного на ощупь.

На стопу налипли какие-то крошки с пола и поседевшие волосы. На пятке виднелся уплотненный кружок кожи с темной точкой посередине. Он походил на вулкан, которому нужно еще немного времени, чтобы извергнуться.

— Я сейчас надену носки, напишу Феде, узнаю, чем помазать мозоль. Давайте осторожно попробуем.

Валя расширила горлышко черного теплого носка так, чтобы сухая стопа влезла туда.

— Теперь штаны. Опять сначала правую ногу, а затем — левую, хорошо?

Он кивнул.

Надевать штаны было самым неудобным: Валя то и дело боялась задеть больную ногу, услышать ох или ах, а то и тихий крик. Наконец резинка штанов заняла место выше пупка. Валя легонько похлопала по штанам как бы говоря: «Ну вот и все! Хорошая работа!»

— Вячеслав Петрович, поднимите руки, я надену тельняшку и свитер.

Валя натянула на вымытое тело сначала тельняшку, а затем коричневый свитер. Можно было идти в комнату.

— Теперь не холодно?

— Не холодно.

Он бесшумно почмокал губами и переступил с ноги на ногу.

— Вячеслав Петрович, пойдете спать. Я уложу вас.

— Пойдем.

Ноги скользнули в тапки на липучках. Шарканье направилось к белой, поцарапанной двери. Валя шла за Вячеславом Петровичем, руки ее были напряжены, чтобы, если что, поймать его, вдруг он оступится, опять упадет и уже совсем не сможет встать.

Сначала скользнула трость, затем ступили ноги. Вячеслав Петрович повернулся спиной к дивану и остановился. Он замер, ожидая, когда придут силы.

— Вам помочь?

— Я сам.

Тело начинало сжиматься, горбиться, опускаться к полу. Вячеслав Петрович поставил перед собой трость и оперся на нее двумя руками, медленно приближаясь к дивану.

— Обрушился!

Валя улыбнулась.

— Вы молодец, Вячеслав Петрович.

Она вспомнила и про мозоль, и про оставшуюся на кухне тарелку супа, про ушиби на лбу, про то, что коленки тоже надо обработать.

— Вячеслав Петрович, я сейчас протру вам лоб перекисью и помажу зеленкой. Коленки тоже посмотрю, а потом мы мозолью займемся, хорошо?

— Как скажете.

Валя пошла искать перекись и зеленку. Перерыв все шкафчики в ванной и коридоре, она с трудом нашла матовую бутылочку и зеленый пузырек.

Вернувшись в комнату, вспомнила, что где-то тут, среди многочисленных вещей, видела упаковку ватных дисков. Она бросила взгляд на стол и выцепила их: они лежали позади потрепанных упаковок из-под чая. Валя взяла диски и повернулась к Вячеславу Петровичу.

Глаза его были прикрыты. Он облокотился о спинку дивана, голова склонилась набок, а рот немного приоткрылся. Руки лежали на бедрах.

Валя присела рядом и легко похлопала его по колену. Он встрепенулся.

— Вячеслав Петрович, я протру ушибы, хорошо? Будет щипать, надо потерпеть.

Он кивнул.

Валя смочила ватный диск перекисью и приложила к шишке на лбу. Он окрасился в багровый цвет.

— Больно?

— Нет.

Зеленка капнула на ватный диск, и Валя прижала его к шишке. Втаптывающими движениями прикладывала его, чтобы вся поверхность раны покрылась жидкостью.

— Ну вот и все! Теперь колени посмотрим, тоже помажем.

Валя опустилась на корточки рядом с ногами Вячеслава Петровича и закатала штанины. На правом колене была стерта кожа, образовалась небольшая корка засохшей крови. Валя протерла ее и опять прижала зеленый ватный диск.

Вячеслав Петрович резко выдохнул. Валя усиленно задула на колено. Воздух в легких кончился, она быстро набрала его, делая глубокий вдох, и продолжала дуть.

— Все, Вячеслав Петрович! Может быть, немного еще пощиплет, но мы все обработали, и наутро ничего болеть не будет. А теперь давайте ногу.

Валя сбегала в коридор за стулом, поставила его перед Вячеславом Петровичем и помогла закинуть ногу на мягкую красную обивку.

Черный шерстяной носок цеплялся за сухую пятку и длинные ногти. Валя сняла его, намочила ватный диск перекисью и протерла вытянутое уплотнение.

— Больно!

Валя снова быстро-быстро задула, смочила другой ватный диск в зеленке и приложила к мозоли.

— Потерпите, Вячеслав Петрович. Я сейчас подую.

Когда боль прошла, Валя аккуратно натянула носок на ногу и опустила ее на пол, отодвинув стул, чтобы с утра он не мешал ему вставать с кровати.

Она улыбнулась и посмотрела в уставшие глаза Вячеслава Петровича. Его клонило в сон.

Раздался кашель, а за ним слова:

— Передайте привет вашему дедушке от меня.

— Он умер уже, в две тысячи девятнадцатом.

Валя неловко улыбнулась, чтобы Вячеслав Петрович не подумал, что сказал что-то не то.

— Но память о нем жива.

— Спасибо, думаю, он знает об этом.

Они помолчали. Веки Вячеслава Петровича начали слипаться.

— Ложитесь спать, уже поздно. Я сейчас укрою вас.

— Как прикажете.

— Залезайте под одеяло с ногами.

Вячеслав Петрович с трудом, как будто в любую секунду баланс мог нарушиться, закинул ноги на диван. Валя встряхнула одеяло и укрыла его почти до подбородка. Он вынул руки из-под простыни и положил их сверху.

— Спасибо.

— Да не за что, Вячеслав Петрович! Отдыхайте. Я выключу большой свет. Лампу вам оставить или тоже выключить?

— Оставь.

— Хорошо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Валя собрала ватные диски с пятнами крови и зеленки, выключила свет и вышла из комнаты.

5

На полу в ванной валялись серые трусы, штаны и носки. Валя собрала вещи и кинула в барабан стиральной машины. Хлопнула дверца, зашумела машинка, и вещи стали крутиться против часовой стрелки. С каждым оборотом они набирали скорость, вот уже стали единой неразличимой массой.

В коридоре загорелся свет, раздалась возня. Федя снял ботинки и прошел на кухню.

— Валь, а чего тарелка супа на столе стоит? — крикнул Федя.

Она вошла на кухню и налила себе воды в кружку с муми-троллями. Музыка продолжала играть.

«Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная!»

— Вячеслав Петрович не доел суп. Он захотел в туалет, но не успел дойти и упал. Я только сейчас его спать уложила. Но ты не волнуйся, все хорошо. Он лбом об пол ударился, немного колени сбил, но все правда хорошо. Ты только не нервничай, ладно?

Федя закусил губу. Скрещенные руки на ткани красно-белой рубашки пытались защитить его от собственного страха и вины. Глаза за толстыми линзами очков смотрели в пол.

«Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда...»

— Опять, значит, да? Я когда в Москве был, мама рассказывала, что такое уже происходило... А меня дома не было. Блин, ну как так? Прости, Валь. Я не хотел, чтобы ты это видела.

Он нервно тербил рукав рубашки.

«Звезда любви, звезда волшебная, звезда прошедших лучших дней!»

— Прекрати, пожалуйста. Все хорошо, ты чего?

Валя приблизилась к нему и погладила его большие, но хрупкие руки.

— Выдохни, все нормально. Ничего страшного не произошло. Ты же помнишь про моего дедушку? Он болел долго, не ходил. Мы с мамой к нему приходили, она после работы, я после учебы... Мама утку выносила, я посуду мыла, еду разогревала. Это коммуналка была, старая такая. Потолки высоченные, обшарпанные. Я там никогда не ходила в туалет, до дома терпела, боялась, вдруг рухнет что-нибудь сверху. Посуду в холодной воде приходилось мыть, горячей почему-то почти никогда не было. Я помню, еще соседка у дедушки была, Зойка, она пила, работала уборщицей в торговых рядах, и ей продавщицы отдавали просроченные продукты. Она варила курицу на этой маленькой кухне, где только столешница, плита, раковина и стул помещались. Такой запах... Сложно вспомнить, чем пахло, но невыносимо. Я мою посуду и стою в этом мареве, все кипит, четыре конфорки заняты, Зойка болтает какую-то глупость, я поддакиваю, делаю вид, что вовлечена, слушаю, даже что-то отвечаю. А после смерти дедушки, года через три, ее в психушку забрали. У нее комнатка была рядом с дедушкой, так она туда еле пролезала, как-то в щелочку, как червь или гусеница. Дверь полностью не открывалась, мусора было много.

Они помолчали.

«Ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей...»

— Дедушке кусок пятки вырезали из-за тромбоза, мама после операции перевязки делала каждый день. Так уставала, а папа никогда нас не подвозил до его дома, даже в морозы. Я старалась не смотреть, как мама ему пятку перевязывает, но мне тогда сколько было? Сейчас уже как-то глупо бояться, особенно если кому-то помощь нужна. Тут надо стать сильнее, как-то собраться, вжиться в самого себя, чтобы плотнее быть, что ли... Так что не волнуйся, в этом нет ничего такого. Возраст уже, я все понимаю. Ничего, что тебя рядом не было, ты с друзьями хотел увидеться, что в этом такого? Зато я дома была.

«Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена...»

— Это ведь я должен был быть дома. Я и так только на каникулы приезжаю, зимние вообще не считаются, что тут? Неделя, и уехал. Летом хоть еще куда ни шло. Тем более родители в отпуске, мы тут с ним вдвоем, потом ты приехала... Можно же время вместе провести... Я виноват. Если бы не ты, Валь, не знаю, что было бы. Спасибо тебе и извини, что так получилось.

«Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда! Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда!»

— Прекрати извиняться. Все хорошо, слышишь? Я была рядом, никто не пострадал, с Вячеславом Петровичем все отлично, он спит. Завтра проснется, опять позавтракает, пообедает, немного почитает, мы с ним поболтаем. Хватит себя накручивать.

Валя улыбнулась и поцеловала Федю в мягкие, влажные от слюны губы. Тонкие и нежные черты лица Феди преобразились: спала нервность, тиски волнения начали отпускать его, смутная улыбка выскользнула на лицо, как трепещущая рыба. Он взглянул на Валу и тоже поцеловал ее.

Валя выключила музыку.

— Надо коридор убрать, там пятна остались. Помоешь пол?

— Да, конечно. Ты еще спрашиваешь.

— Я пойду вещи из машинки заберу. Я постирала одежду Вячеслава Петровича, а то там все грязное было.

— Спасибо, Валь.

— Прекрати меня благодарить, иначе я разозлюсь.

Она засмеялась и пошла в ванную. Машинка завершила стирку, Валя нагнулась и посмотрела в грязное стекло. Небольшие рыжие комья сидели на одежде, словно кузнечики.

Дура, надо было сначала прополоскать. Неужели непонятно?

Обнимающим жестом, каким берут маленьких детей, Валя подняла кипу одежды и бросила ее в ванную. Опять зашумел душ, и упругие струи точечно били по ткани.

Валя заткнула слив, и вода будто бы ускорила, в экстазе грубо щупая со всех сторон помидорные шкурки. Руки погрузились в ванну и на дне нашарили штаны. Она усиленно терла два куска ткани в области промежности, остервенело погружая их под воду.

В голове всплыла другая ванная. Яркая, с оранжевыми кафельными плитками и таким же полом. Швы к тому времени уже потемнели.

В зеленом тазу лежали спортивные темно-синие штаны. Они тоже облегали маленького, худого старика.

Массивный кран корежился и трясся. Его громко рвало прозрачной водой. Корблик из двух штанин тонул и выныривал, тонул и выныривал. Он погибал и окрашивал воду в бурый цвет. Наверное, это акулы съели маленького и худого мужичку, носившего штаны на удочках-ногах.

Кровь запеклась на ткани, втерлась к ней в доверие, смешалась с синим цветом, вьелась в швы и нитки, резинку на поясе.

Нет, это не в Египте море Красное, это у меня дома, в ванной. Сколько там еще крови?

Вся ванная заполнилась багряной водой. Может быть, сейчас она выйдет из берегов?

Где дно? Его не видно. Там должна плавать большая саблезубая рыба. А если бы я достигла дна, то кто-нибудь обязательно сказал бы мне, что дедушка превратился в багрянки, прилип к большому серому камню и ждет меня.

Опять багровая вода, почти подползшая к краю чугунной ванны. Валя убрала фильтр для слива, и уровень воды начал снижаться. Лишь бы вода вновь стала прозрачной.

— Валь, ты чего так долго? Я уже все помыл, — в ванную заглянули шея и голова в очках.

Валя терла и терла вещи. Они были тяжелые и издавали хлюпающие звуки.

— Валя, ты меня слышишь?

Федя коснулся ее острого локтя, который дрыгался взад-вперед.

Она слегка вздрогнула и обернулась. Что-то большое и тяжелое застыло внутри ее голубых глаз.

— Я не догадалась, что вещи надо прополоскать сначала, теперь все это грязное...

— Давай лучше я, ты устала, Валь.

— Нет, все хорошо. Я разберусь.

Она улыбнулась так, как это делают люди, что-то скрывающие.

— Ладно. Я пойду пока со стола уберу и посуду помою.

Валя протянула мокрые, красные руки к лицу Феде и застыла. Она долго смотрела в него, будто бы придумывая про каждую часть лица какую-то историю: легкая щетина может вырасти в лес, в котором будут жить крохотные человечки и ходить к друг другу в гости. Или эти брови... Они так похожи на густые и зеленые пригорки.

Что-то в его глазах было слабое и нежное, что-то такое, что можно было бы схватить за туловище, сжать в руке, и оно бы с мягким хрустом надломилось.

Федя едва заметно улыбнулся и убрал Валины руки со своего лица.

Она продолжила полоскать вещи до тех пор, пока вода все-таки не стала прозрачной.

Александр МЕЛИХОВ,
Вадим ПУГАЧ,
Айгуль АХМЕТОВА

КРАСОТА СТАРОСТИ

Публикуется в дискуссионном порядке

Александр Мелихов. Мы, литературные люди, невольно ищем главных жизненных уроков тоже в литературе. И вот с годами я начал задумываться, дает ли классическая русская литература примеры гармоничной старости? Окруженной любовью и заботой или хотя бы свободной от страха надвигающейся смерти. В космосе «Войны и мира» представлены старый князь Болконский и старая графиня Ростова, которой никак не может быть больше шестидесяти пяти лет. Она изображена утратившей всякий интерес к жизни после гибели сына и смерти мужа, и ею дорожат скорее в память о некогда любимом человеке. Старого же князя все побаиваются. Он всегда раздражен, неизвестно ради чего работает на токарном станке и, чувствуя приближение смерти, велит стелить себе постель в разных комнатах, словно надеясь этим запутать костлявую.

Что говорить, оба персонажа перенесли страшный удар — потерю сына. Но моя бабушка по маме потеряла на войне двух сыновей, и не утратила интереса к жизни —

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квзимодо» (2017). Премия им. Искандера (2022), премия правительства Санкт-Петербурга (2023) и премия «Книга года» (2023) за роман «Сапфировый альбатрос». Премия им. Гончарова за роман «Тризна» (2023). Премия «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мысли (2024).

Вадим Пугач родился в Ленинграде в 1963 году. По профессии — учитель словесности; кандидат педагогических наук; сейчас преподает в СПбГУ разные дисциплины, так или иначе связанные с педагогикой. Автор нескольких поэтических книг и одного романа, а также нескольких десятков публикаций в России и за рубежом. Председатель секции поэзии СП СПб. Живет в Санкт-Петербурге.

Айгуль Разитовна Ахметова родилась в Воркуте (Республика Коми). Высшее экономическое образование получила в Уральском федеральном университете. Публиковалась в «Новом журнале» (2023), в журнале «Урал». Живет в Екатеринбурге.

оставалась такой же кроткой и доброй, как и прежде. Мамина сестра, у которой в тридцать седьмом расстреляли мужа, после чего она сама оттянула червонец на Колыме, а два ее сына пошли по тюрьмам, причем один там и сгинул, — она тоже не была этим раздавлена, и если не знать о ее прошлом, можно было и не догадаться. Она могла шутить, улыбаться, хотя на ее улыбке все-таки лежала тень грусти. Но таких и среди благополучных женщин сколько угодно.

В рассказе Бунина «Худая трава» умирающий старик ждет смерти с удивительным смирением, но его стойкость кажется отражением черствости окружающих. Зять его обрывает, когда он хочет поговорить с ним по душам, и даже священник с ним суров и деловит.

Еще более устрашающую картину рисует Толстой в рассказе «Три смерти».

Ямщик Серега просит умирающего: «Тебе, чай, сапог новых не надо теперь; отдай мне, ходить, чай, не будешь».

А кухарка крикливо подхватывает: «Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хронить не станут. А уж давно пора, прости господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевести его, что ль, в избу в другую, или куда! Такие больницы, слышь, в городе есть; а то разве дело — занял весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже, чистоту спрашивают».

Но умирающего это нисколько не возмущает: «Ты сапоги возьми, Серега. Только, слышь, камень купи, как помру».

У кухарки же он просто-таки просит прощения: «Ты на меня не сердчай, Настасья, скоро опростаю угол-то твой». И та смущается: «Ладно, ладно, что ж, ничаво. Ты ноги-то укрой вот так».

А срубленное дерево умирает и вовсе безропотно.

«Дерево вздрогнуло всем телом, надулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, снова слышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями».

Рецепты Толстого давно известны: нужно сделаться мужиками, а еще лучше — растениями, и все экзистенциальные проблемы будут решены.

Впрочем, нет, утешение можно найти и в религиозном ритуале, которым завершается сцена смерти барыни.

«Дьячок, не понимая своих слов, мерно читал, и в тихой комнате странно звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота.

„Сокроешь лицо твое — смущаются, — гласил псалтырь, — возьмешь от них дух — умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются и обновляют лицо земли. Да будет господу слава вовеки“.

Лицо усопшей было строго, спокойно и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?»

По силе безжалостности этот финал стократно превосходит простодушный эгоизм ямщика и кухарки. Что, собственно, подарило бы несчастной понимание этих слов? Да и что в них можно не понять? Что люди умирают, а господу слава вовеки — за какие, собственно, заслуги? Приятие этого дается только верой, а уверовать не во вла-

сти смертных, вера дается как благодать. То есть удача. А без этого грозный библейский слог лишь наводит дополнительную жуть.

Правда, перечитав этот маленький шедевр проповедника естественности и христианского милосердия, я еще раз убедился: главное, в чем нуждаются старые люди, это не материальный комфорт, а ослабление экзистенциального ужаса.

В романе «Интернационал дураков» («В долине блаженных») я вложил в уста беженцу с Кавказа такой отзыв о европейских домах престарелых: «А как старыков нэ уважают?.. Как сдэлался старый — атправляют в дом старыков. Оны думают, старый чэлавэк главное кушат, спат — как будто он собака! Старый чэлавэк нужен уважение! Он должен на маладых сматрэть, на внуков — тогда у него хароший мысли будут! А если он сидыт одын, кругом тоже старые люды — что он будэт думат? Ты сэгодня умэр, я завтра умэр... Это что, счастливый старост, да?.. Скажи, нэ дураки?!.»

Да, черствость окружающих, с детства гасящая в человеке ощущение бесконечной ценности его личности, ослабляет страх исчезновения, но это лекарство, которое хуже болезни. Зато способность человека эмоционально слиться с тем, что будет продолжаться за пределами его жизни, существенно усиливает его экзистенциальную защиту.

Символическое, потенциальное бессмертие обеспечивает почти всякая преемственность — и преемственность рода, и преемственность профессии: тоска старого профессора из чеховской «Скучной истории» обостряется еще и тем, что он практически не вспоминает о своей научной работе, которой вроде бы отдал жизнь. А я не могу забыть матмеховского профессора, которого когда-то сопровождал на нейрохирургическую операцию, и он всю дорогу рассуждал о корреляционных функциях: их обычно понимают так, а нужно понимать этак. Операцию он не пережил, но ужас смерти отогнал очень успешно.

Принадлежность к науке обеспечивает мощную экзистенциальную защиту, если не говорить о защите религиозной, но наиболее универсальную ее форму обеспечивает принадлежность к нации. Именно поэтому национальные конфликты становятся такими раскаленными: ущерб образу нации люди неосознанно ощущают как покушение на их экзистенциальную защиту. А индивидуализм оставляет человека беззащитным перед лицом неизбежного исчезновения. Поэтому самое большое благодеяние, которое общество может оказать пожилым людям, это поддержание в них хотя бы иллюзорного ощущения их нужности, их включенности в общие дела: семейные, профессиональные, национальные.

Вадим Пугач. В одной из статей А. Миролюбовой читал, что отношение к личной смерти сильно изменилось в эпоху барокко. До этого христианин боялся не смерти как таковой, а попадания в ад. Собственная физическая смерть (душа-то по-любому бессмертна) воспринималась как нечто закономерное и поэтому не возмущала — именно так относится к смерти ящик у Толстого; надо полагать, проблемы барочного самосознания его не коснулись. Литература барокко (зрелый Шекспир, Кальдерон) приучила нас к мысли, что индивидуальная смерть — трагедия. Однако есть и другой взгляд. Знаменитая светловская строка «Отряд не заметил потери бойца» относится не только к восприятию чужой смерти: боец зачастую не замечал и собственной смерти — не потому, что не успевал заметить, а потому, что относился к ней вполне по-деловому (см. бабелевскую «Конармию»). И вот тут, мне кажется, я вижу перекличку с вашей мыслью о преодолении частного страха смерти принадлежностью к общности. Впрочем, все эти соображения не касаются напрямую темы старости. Герои Шекспира, Кальдерона, Бабеля и Светлова молоды. Дело в том, что смерть пожилого

человека воспринимается как трагедия не обществом (тут-то все в порядке: пожил — дай другим дорогу), а им самим. В замечательном стихотворении «Просьба» Вячеслава Лейкина о смерти матери сказано вот что: «...мама моя атеистка кричала „Жить!“ . Полгода кричала „Жить!“ на смертном пороге». Тут проблема обострена: для лирического субъекта стихотворения смерть старой матери болезненна, но в целом — в порядке вещей, для нее же — это конец всему. Одна моя знакомая, известная поэтесса, умирающая от рака легких в шестьдесят с небольшим, не хотела со мной разговаривать (я справлялся по телефону о ней у ее мужа и слышал, как она обвиняет тех, кто остается жить: почему они живут, а я умираю?). Нам, ее ученикам, тогда было по тридцать. Успокоили бы ее наши смерти? Помирили бы с мировой несправедливостью? В важности своей работы она не сомневалась — и правильно делала, стихи ее превосходны. Но перспектива личной смерти ее не устраивала. А другой перспективы нам не предоставлено.

Как мне видится, тут возможны рассуждения на две темы: примирения с надвигающейся смертью и сенильной активности как отвлечения от мысли, что пожилой возраст — всего лишь подготовка к смерти.

Сначала о примирении. У Греза есть чудная картина, в меру забавная, поучительная и сентиментальная, — «Паралитик, или Плоды хорошего воспитания». В центре — рамолик в креслах, а вокруг него хлопочут дети, внуки, слуги, собака со щенком... Он центр, они периферия. Это он создал среду, в которой комфортно доживать. Может быть, дети ждут его смерти и мечтают распорядиться наследством, но они демонстрируют не это ожидание, а почтение, любовь, заботу. Одинокая старость зачастую воспринимается как посюстороннее наказание себялюбцу. Умирающий может быть удовлетворен, если жизнь его осмыслится им как звено в значимой цепи. От его ухода цепь не рвется, просто приходит время других звеньев. Такой подход дарит нам Пушкин в стихотворении «Вновь я посетил...». Трагизм личной смерти снимается за счет торжества общего дела. Им может быть продолжение рода, творчество («памятник нерукотворный»), политика (например, сочувствие народному горю, которым оправдывал себя умирающий Некрасов). Оправдание и удовлетворенность жизнью — мощная защита от ужаса небытия.

Теперь о старческой активности — о таком ее аспекте, как любовь. У Тютчева есть стихотворение «Последняя любовь», которое построено на противостоянии мотивов старости и любви. Последняя строка («Ты и блаженство, и безнадежность») дает нам своего рода фонетический синтез: последняя любовь совмещает оба состояния в том числе и потому, что слова «блаженство» и «безнадежность» состоят из почти идентичного набора звуков, только расположенных в разном порядке. Любовь — это один из способов сделать старость осмысленной. Тут и литературных, и жизненных примеров тьма. «Старосветские помещики» Гоголя, «Ада» Набокова, «Любовь во время чумы» Маркеса — это про то (или в том числе про то), как в старости любовь достигает высшей точки напряжения. Припоминается, что Маканин хотел написать о стариковском эросе, вот не знаю, успел ли. Так что враг старости, может быть, не неотвратимо надвигающаяся смерть, а одиночество и отсутствие посильного осмысленного дела и любви...

Айгуль Ахметова. Различные интернет-сообщества изобилуют так называемым запросом на расширение окружения, на его наполнение незаурядными людьми, которые стали бы ориентирами, маяками и ролевыми моделями для молодых и не очень людей, наломавших немало дров и отчаявшихся своим умом и силами научиться жить. Есть спрос — будет и предложение: к вашим услугам коучи, тренеры, настав-

ники, проводники — стоит только позолотить ручку. В охотниках, готовых за померную и не очень плату изображать постигших тайны бытия, недостатка нет. И нет нужды объяснять желание менее расторопных и удачливых припасть к чужим искусственным родникам благополучия, гармонии и энергии — они искрятся и журчат, манят игривостью и легкодоступностью. А между тем есть свои, незамутненные, настоящие, но невостребованные: только обрати взор в сторону ближнего своего, вступившего в осеннюю пору жизненного пути, оставившего позади десятков лет больше, чем ожидает впереди. Старость — не проказа, а впрочем, старость, может быть, и болезнь с длинным инкубационным периодом, тогда мы все ею заражены, стоит ли страшиться и брезговать вглядеться в зеркало будущего с открытым сердцем — смелость будет вознаграждена: мы увидим там не морщины, не выцветшие глаза, не ввалившийся рот, а чистый дух: сплетенье тьмы и света, радости и скорби — жизнь, обвивающуюся плющом смерти. Есть ли в жизни дело главнее смерти? Так почему же мы к этому делу — делу умирания — не желаем готовиться, отчего не готовы быть в учениках и подмастерьях у постигающих таинство? Готовиться к старчеству и смерти не значит пропустить жизнь, наоборот, это значит усиленно жить, памятуя о смерти, ведь мы умеем дорожить только чем-то конечным. Вот где возникает разность потенциалов, вот где источник вожденной энергии и недостающих смыслов! Не оттого ли ребенок, не так давно вышедший из небытия, тянется к пожилому человеку, к небытию устремляющемуся? Человек, с достоинством встретивший старость, не раздавленный болью тяжелых утрат, сохранивший страсть к делу, интерес к другому человеку, — разве он не достоин восхищения и воспевания, ему ли не быть ролевой моделью?

Старость так многое готова и желает отдавать, умели б только дары принимать. Материальное наследие, пожалуй, и не пропадет, но что же с духовными ценностями, одними которыми и поддерживается преемственность? Пренебрегаем, отмахиваемся, предаем забвению.

В рассказе Распутина «Старуха» героиня безропотно ожидает своей смерти: «Она была просто старухой, старой-престарой, собирающейся умирать...»

«Они жили одни, являясь продолжением друг друга: мать была дочерью старухи, и девчонка была дочерью матери, внучкой старухи, словно на их генеалогическом древе отмерли все ветви и только на самой его вершине несмело бились зеленые листья, идущие прямо от ствола.

Когда-то в далекие времена старуха была шаманкой. С тех пор все шаманы померли, она осталась одна. Уже давным-давно никто не приходил к ней и не просил спасти человека, вызвать удачу перед промыслом или отвести болезнь от оленей.

Она не обижалась на людей: теперь настали другие времена, и то, за чем раньше шли к шаману, сейчас получают в больнице, в магазине или в колхозе».

Казалось бы, свое отжито, долги отданы. Но накануне смерти старуху охватывает беспокойство.

«Старуху мучило то, что она последняя шаманка, больше никого нет. Сотни и тысячи лет — у ее отцов и дедов, у их отцов и дедов — тайна и сила, которыми она владела, всегда считались великими. И вот теперь всему этому приходит конец. Человек, заканчивающий свой род, несчастен. Но человек, который похитил у своего народа его старинное достояние и унес его с собой в землю, никому ничего не сказав, — как назвать этого человека?»

Оказывается, одного продолжения рода недостаточно — нужен дух. Дух, который останется. Старуха спохватывается и бросается к дочери:

«Я — шаманка, — с последним достоинством сказала старуха.

Мать знала об этом.

— Больше нету, — с последней тоской продолжала старуха. — Я одна. Нельзя, чтобы наш народ остался без шамана. Беда будет.

— Что ты городишь? — сурово спросила мать.

— Не надо шаманить. — Старуха испугалась, что мать уйдет, и заговорила торопливой: — Не надо, не надо. Я давно не шаманю. Надо остаться шаманом. Я умру, меня не будет. Надо, чтобы был шаман».

Но получает в ответ лишь сердитое: «Из ума ты выжила». Последнюю надежду старуха возлагала на внучку, но и здесь старуху одернули: «Перестань!»

Ночью старуха умерла. Так и не назначив никого вместо себя шаманом. Со старухой прощался весь поселок, и никто, никто не вспомнил о том, что она была шаманом.

Итог старухиной жизни подвела внучка:

«Старуха когда-то давным-давно была шаманкой, но потом исправилась. В войну она больше всех купила облигаций, после войны она не меньше мужиков добывала соболя, а когда старуха была телятницей, с ней хотели работать все люди.

И тут девчонка умолкла, потому что больше слов не было».

Александр Мелихов. К сожалению, не все старые люди обладают мудростью, у которой можно чему-то поучиться. Но в поколении моих родителей очень многие обладали душевной щедростью, рождающей душевную стойкость. От вопросов о самочувствии отмахивались: «У стариков всегда что-нибудь болит!», «Старой бабе и на печи ухабы!», не докучая, жили жизнью детей и внуков: «Иди через двор, чтобы я на тебя посмотрела». Ну а те, кто жил научными интересами, тоже никогда их не утрачивали.

Но если не каждый может поделиться мудростью, то переживаниями — многие. Хорошо бы, возникло неформальное волонтерское движение, которое бы записывало рассказы пожилых людей о самых радостных или самых страшных событиях их жизни, если они будут готовы к откровенности. Чем они гордятся и в чем раскаиваются. Чем бы, они хотели, их запомнили. Это был бы важный архив.

Что же до любви, есть афоризм: старость не спасает от любви, но любовь спасает от старости. Влюбленность всегда счастливое состояние. Пока она не превращается в жажду безраздельного обладания душой и телом. После этого золотая рыбка сразу ускользнет в глубину.

Вадим Пугач. Вполне разделяю мнение Айгуль о моде на коучей, не вижу особенной разницы между ними и легионом шарлатанов, которые под видом открытия доступных путей к счастью паразитируют на человеческом легковерии. Однако не признаю и никакого дополнительного права старости на мудрость (Александр, кстати, сказал об этом) и тайное знание жизни. У великолепной Нонны Слепаковой сильно сказано о родителях, чей опыт не годится для детей:

...давних лет осколок или спорок
Не впору был, не пригождался мне.

Так и по рассказу Распутина, о котором говорила Айгуль, выходит. Может быть, опыт старухи и был важным, но не для дочери и внучки. Об этом можно погрустить, но и только.

Да и не всякий пожилой способен понять смысл своего опыта. Тезис «старый что малый» применим к очень многим именно как характеристика ментальности. Среди пожилых много инфантилов, не пошедших в понимании жизни дальше того, что им

объясняли воспитатели в детском саду. Чем они могут поделиться с молодыми? Меня всегда смешило, когда, например, со значением повторяют общее место о мужском «долге»: мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Дом, дерево, ребенок — это черты детской картины мира, мы их увидим на любом детском рисунке. У многих эта картина закрепляется до старости, и дальше этого в понимании жизни они не идут. Рассказы стариков бывают потрясающими, если это великие старики, то есть бывшие великими и до вхождения в пожилой возраст. Однажды, оказавшись в одной компании с Даниилом Алем, я был заворожен его рассказами. Но вслушиваться в монологи глупца, повторяющего прописные истины или злящегося на весь мир из-за того, что молодость прошла, — зачем?

Впрочем, идея Александра о волонтерах, записывающих рассказы стариков, вполне современная. Есть такая модная форма, использующаяся в психологии и педагогике, — сторителлинг, по-русски — рассказывание историй. Люди учатся рассказывать о себе — не для того, чтобы валом подаваться в стендаперы, а для развития речи, умения общаться, рефлексии, для избавления от комплексов. Волонтеры, о которых говорит Александр, могли бы сделать серьезное дело для антропологии, может быть, способствовать написанию нескольких диссертаций, но ни пожилым рассказчикам, ни молодым слушателям, думаю, это не поможет. Смысл жизни в любом возрасте не приходит извне благодаря социальным технологиям (а такие волонтерские бригады охотников за чужим опытом и есть социальная технология). А главное — любая социальная технология быстро превращается в формальность. Ну, пришли, выслушали, чаю попили. Что дальше?

Александр Мелихов. Дальше за энтузиазмом следует профессионализм. Когда любимец деревенских вечеринок начинает петь в опере, тоже начинается формализм — и высокое качество. Что же до осмысления опыта, то никакой опыт не может быть осмыслен «правильно», реальность не допускает никаких однозначных обобщений. Разве что банальных. Но рассказ о потрясениях будет непременно приносить какие-то открытия. И уроки. Мне, слава богу, пока что не понадобился отцовский лагерный опыт, но урок он мне преподнес на всю жизнь: пережив страшную несправедливость, крушение всех надежд, тяжелейшие мытарства, можно сохранить детскую чистоту и душевную щедрость, а потому остаться счастливым человеком. Словами он бы никогда меня этому не научил, да и слов бы таких никогда не произнес. В моих фантазиях пожилые люди рассказывают о себе не для развития речи и прочего. Рассказывая, они станут невольно укрупнять обыденность, эстетизировать ее, переводить в разряд универсального — и этим возвышать себя в собственных глазах. И если слушатели будут хотя бы имитировать интерес к повествованию, этим самым они подкрепят в рассказчике столь необходимое каждому ощущение собственной нужности и значительности.

Айгуль Ахметова. Было бы здорово, если бы старость служила залогом мудрости. Но возраст может служить условием возможности и готовности — даже не потребности (уж ей-то надо вызреть) — делиться. Прекрасно, если человеку удалось остаться в стороне от крысиных бегов, не попасться на крючок зависти, не предаться стяжательству. Хотя и странно, если этих этапов, их превозмоганий и перерастаний в жизни не было. Чего стоит благо, если оно не было выстрадано. Невозможно кого-то напитать духовной пищей, да еще так, чтобы она усвоилась, не обогатившись прежде самому. Что ж, алчущих этой пищи, возможно, немногим больше бескорыстных кормильцев. Подчас мы сами не даем проявиться мудрости или, пусть менее пафосно, — хотя бы житейскому опыту: пожилой человек все равно что хрупкое растение, он ну-

ждается в поддержании благоприятных условий, в недежурном внимании и сердечном слове. Как, впрочем, и всякий чувствующий человек. Хочу ошибиться, но, по-моему, у нас слабо развита культура почитания возраста. Тому причиной — немногочисленность образцов достойного вхождения в старость и ее проживания. Или, вернее, их неподсвеченность. Проживание старости обращается в доживание, в явление, в которое для сохранения спокойствия духа желательно не всматриваться. Нужно обладать невероятной силой духа, чтобы, вопреки сложившемуся общественному образу, продолжать активную жизнь, держать спину прямо, а голову высоко, сохранять оптимизм и продолжать (или начинать!) увлеченно заниматься делом.

А все же есть и кое-какие попытки если и не воспевания человека преклонных лет, то, по крайней мере, облагораживания его образа. К ним, пожалуй, можно причислить утопичные картины уральского художника Леонида Баранова, изображающего стариков в изолированном мире нерушимого счастья, гармонии и спокойствия. Кисти художника принадлежат очаровательные картины с незамысловатым сюжетом: вот дед со старухой тянутся к вязаному половику за оброненными столовыми приборами, на согбенной спине старушки стоит наглая кошка, на полovice — тоже котенок; вот старики и старушки, облаченные в фуфайки, обутые в сапоги и калоши, пихая друг друга, гоняют мяч, кругом — избы, деревья, виднеется речка, на лицах — довольство, простодушные улыбки; еще — дед с бабкой, тесненько прижавшись друг к другу, сидят за столом и щелкают семечки из сковороды, на столе, по разные его стороны, конфета и яблоко, а старицкие лица светлые-светлые; дед, заглядывая под металлическую кровать с панцирной сеткой, достает созревшие помидоры, в то время как старушка придерживает покрывало. И мало ли чего еще: дед кормит голубей, его заноба достает огурцы, оба катаются на коньках или гребут лопатой снег. Неизменно одно — всюду довольство, простота, безмятежность. Незамысловатое счастье, пахнущее свежееиспеченным хлебом и парным молоком. От бесхитростных названий картин веет теплом: «Жили-были старик со старухой», «Старики полетели куда-то...», «Помидорки зреют», «Прыгнуть с крыши, держа в руках зонтик... Как в детстве в сугроб с высоты». Кстати, на просторах Интернета встречается упоминание о том, что мама художника начала рисовать в восемьдесят лет!

Вадим Пугач. Александр, насколько я могу понять, видит искусственно подогреваемое общение молодых со стариками как социальный проект, но это не чистая благотворительность, а как бы вторичное использование пожилых обществом. То есть (прозвучит чрезмерно грубо, но по-честному) утилизация того, что от них еще можно получить. И действительно, хозяйственное в социальном смысле отношение к старости может дать социуму определенные преимущества. Кстати, первобытные люди это хорошо понимали: система социального обеспечения (как, впрочем, и использования) пожилых работает с момента появления человеческого общества и даже, возможно, еще с более древних времен. Но современному пожилому человеку этого мало. Он хочет самоутвердиться, его поддерживает осознание собственной значимости. Интересно было бы узнать статистику, сколько деятельных людей умирает вскоре после выхода на пенсию, когда их ласково лишают возможности продолжать привычно работать. Что же до эстетизации старости, то эта линия видна отчетливо, особенно в самом массовом из искусств — кинематографе. Ее раскрывали и с мягким юмором («Старики-разбойники» Э. Рязанова), и откровенно грубо (чего стоят крушащие все на своем пути постаревшие Сталлоне, Шварценеггер и Брюс Уиллис), но в целом фигура ветерана, оказывающегося лучше молодых, в общественном сознании достаточно романтизирована. Другой вопрос, насколько эту художественную идею можно

перенести в реальность, ведь не каждый пенсионер — потенциальный Брюс Уиллис или Джон Малкович.

Интересный в этом смысле пример эстетизации старости приводит Айгуль. И действительно, необязательно воспевать старика с непобедимым кулаком, уважения и любви достоин и старик, выращивающий помидорки. На мой вкус, такого рода занятия заслуживают большего внимания, чем умелый мордобой. Но и это — только образ. А вот реальность. На днях видел такую сцену. Ленинградский вокзал в Москве. Мать лет восьмидесяти провожает пятидесятилетнего сына. Он нагружен пакетами и сумками, она идет рядом и каждый его шаг сопровождает раздраженным комментарием — вплоть до грубой ругани. Он иногда смиренно отвечает, она повышает градус резкости, поминутно тыркает и оскорбляет его. Конечно, дело в деменции, куда от нее денешься. Тут эстетизируй не эстетизируй, понимай не понимай диагноз, а отнестись к такой старушке с приязнью довольно сложно.

Александр Мелихов. Что ж, милосердие можно назвать и утилизацией, в философии утилитаризма других мотивов, кроме поиска пользы, не существует. Но пусть даже так, хоть горшком назови, только дай старому человеку толику внимания, которой ему так недостает. В нашей культуре. А в Средней Азии, на Кавказе старики окружены вниманием и почетом, и деменция по этой причине не то их обходит, не то проявляется менее раздражающим образом, поскольку даже дементиков окружающие не дают повода сомневаться в их добром отношении.

Вот и идея Леонида Баранова очень хороша, но и она отдает толстовством, поисками душевного мира в простоте. Однако в этот Эдем вернуться невозможно по миллиону причин.

Зато рембрандтовские старики и старухи вызывают почти преклонение глубиной пережитого и смирением перед тем, что уже пережито, и перед тем, что еще предстоит. Эта мудрость и стойкость с гениальной силой изображены в «Старике и море», и я не знаю, каких бы премий я не пожалел для писателя, который бы, пусть с вдвесьте-ро меньшей художественной силой, изобразил старого человека, который с таким же мужеством борется не с акулами, а с болезнями, с упадком сил, с забывчивостью, с одиночеством — да мало ли еще с чем.

Кстати, и самая малоприятная деменция может дать урок. В моем романе «Тризна» его юный герой поздним вечером за городом наткнулся на заблудившегося старика из психоневрологического интерната и долго тащил его на себе, вместо благодарности получая ругательства и упрёки. Но когда он его все-таки дотащил, то испытал некоторое просветление.

«Он предельно отчетливо ощутил, что все это — и послушные мышцы, и ясный ум, и твердая память вверены ему только на время. Но ощутил без страха, а с какой-то необычной серьезностью. С ответственностью, что ли...

Вдруг он осознал, что всю дорогу, пока возился со стариком, он не испытывал к нему никакой такой особенно болезненной жалости — только вполне деловое сочувствие и беспокойство: не сползли ли штаны, не споткнется ли он, не простудится ли. Так вот как, оказывается, можно лечиться от жалости к людям: сделай для них что-нибудь — глядишь, и пройдет. Для душевного здоровья нет ничего гигиеничнее, чем сделать доброе дело».

Я бы ничего не имел против такого способа утилизации стариков: пусть бы кто-то обретал душевную гармонию, оказывая им посильную помощь. А то ведь что получается: помогать детям — общепризнанно благородное дело. Но старики из стандартов благородства, похоже, как-то выпали. Не помню, чтобы кто-то о них напоминал. Наверно, можно такие напоминания и призывы найти, но искать придется с лупой.

Айгуль Ахметова. Что и говорить, недуг, вызывающий когнитивные нарушения, всегда трагедия, в каком бы возрасте он ни настиг. Пожалуй, наивно (глупо?) уповать на всепреодолевающую любовь, когда от объекта ее приложения остается лишь тень. Сколько к ней ни апеллируй, прежнего человека не найти. Если он вообще был, если отклонения не носят врожденный характер. Выдержит разве что материнское сердце. Кого легче любить: особенного ребенка, который, возможно, никогда не сумеет выразить к своему родителю ни нежного чувства, ни благодарности, или утратившего связь с реальностью пожилого человека, но перед тем десятилетиями одаривавшего вниманием и заботой? Что делать — выкорчевывать гнилые корни, отсекал сухие ветки? Самозабвенно служить, исполняя долг, пренебрегая собственной жизнью, или положиться на специализированные учреждения? Вопросы будто исключают чувство, привязанность, человечность и сводят дело к комфорту. Больше тела, чем души. Ну да какие сантименты в наш прагматичный век! Впрочем, времена всегда одинаковые, а осуждения не заслуживает ни один из ответов — любой из них приговор, разве что стоит примериться к ним самому; в конце концов, не так много вариантов, которые могут уберечь от старости и болезни: преступление, несчастный случай — никак не дар вечной молодости: «Как бы ты ни был стар, ты можешь прожить еще год; как бы ты ни был молод, ты можешь умереть в любой день» (Ф. Рохас).

Вот уже и сознательно контролируемые стариковские властолюбие, упрямство и капризность как будто стали менее досадными. И разве нельзя из отрицательного примера? Тоже урок для овладения искусством старости, доступным, по словам Ф. Ларошфуко, с которыми мы единогласно согласились, лишь немногим.

Нас выводит из себя грубо сказанное слово, нечаянно посаженное на костюм пятно, неудобная обувь, но мы так редко умеем снисходить к чужой боли, даже той, которую, если повезет, нам самим суждено постичь: тело — не башмак, а все же жмет, натирает душу, поди-ка сохрани улыбку и жизнерадостность, не обратись в ворчуна и брюзгу. В силах тех, кто находится рядом с пожилым человеком, хотя бы сделать попытку противостоять этой метаморфозе: терпением, искренней заинтересованностью (имитация, по-моему, не годится: старость нетождественна глупости) и почтительностью. «Мы любимся вековыми деревьями, отчего ж нам не любоваться и „вековыми“ людьми?» (Татьяна Москвина).

Александр Мелихов. Что-то нас занесло в медицинский аспект, который, мне кажется, актуален, слава богу, все-таки для меньшей части старых людей и для меньшей доли их «возраста дожития» (тьфу, в любом возрасте нужно жить, а не «доживать»!). Конечно, там место медицине и не место, видимо, эстетике. А вот в «нормальной» старости эстетики более всего и не хватает. Точнее, не хватает понимания ее необходимости. То, что люди нуждаются в пище, понимают все, но мало кто понимает: потребность ощущать себя красивым — тоже важнейшая человеческая потребность, без которой невозможно счастье. И тот факт, что современное искусство не предлагает образцов красивой старости, большое его упущение. Не объявить ли нам такой литературный конкурс — «Красивая старость»?



ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Марина КУДИМОВА

КЛАССИЧЕСКИЕ КОРНИ РОМАНА «ЗИНЗИВЕР»

В романе Виктора Слипечука «Зинзивер» (В. Слипечук. Собрание сочинений. Т. V. М.: Художественная литература, 2021) главный герой, молодой человек Митя Слезкин живет в переломную эпоху 90-х.

Искренний, влюбленный, тонко чувствующий, поэтичный.

Почему он может быть интересен читателю?

У Виктора Слипечука есть множество созданных им образов обаятельнейших тружеников, так называемых «простых людей», своей ошеломительной биографией буквально просившихся в литературные герои.

Но почему не они, вернее, не только они призваны приковать внимание читателя?

Литкритиков XX века на каком-то этапе их бурной деятельности остро беспокоила проблема «положительного героя». Казалось бы, в советской гиперсекулярной литературе с этим все хорошо. Кальки соцреализма безостановочно воспроизводили то Павла Власова, то Павла Корчагина, то Павлика Морозова. Бесчисленных одно-йцевых председателей колхозов, начальников цехов, физиков-ядерщиков и учителей не станем упоминать. Никто не говорит о том, что на стройках народного хозяйства или в сельской местности не было настоящих героев!

Марина Владимировна Кудимова — поэт, прозаик, эссеист, историк литературы, культуролог. Родилась в Тамбове. Начала печататься в 1969 году. Автор книг стихов: «Перечень причин» (1982), «Чуть что» (1987), «Область» (1989), «Арысь-поле» (1990), «Черед» (2011), «Целый Божий день» (2011), «Голубятня» (2013), «Душа-левша» (2014), «Держидерево» (2017) и книги прозы «Бустрофедон» (2017). Лауреат премий им. Маяковского (1982), журнала «Новый мир» (2000), Антона Дельвига (2010), «Венец» (2011), Бунинской (2012), Бориса Корнилова (2013), «Писатель XXI века» (2015), Лермонтовской (2015), Волошинская (2018).

Но критиков не устраивал ни начальник цеха, ни председатель колхоза, а уж тем более какая-нибудь неведомая Матрена или Иван Африканович. Они неустанно искали положительного героя в русской классике, не понимая или делая вид, что не понимают, очевидного обстоятельства: чем выше уровень литературного произведения, тем сложнее его оптика.

Гений Достоевского, великого знатока Евангелия, привел писателя к очевидной, казалось бы, мысли: самый совершенный человек не может приблизиться к идеалу Христа по многим причинам, главная из которых — неодолимо страстная природа человека.

«Положительный» герой в православном сознании если не невозможен, то заведомо рискован.

Мир русской классики многообразен и нелинеен. То есть сложен настолько, насколько усложнен грехом падший человек — основной объект исследования литературы. Идеалом народного сознания были и остаются юродивые, «дурачки» (идиоты) — за их беззлобие и прозорливость.

Виктор Слипечук, моделируя главного героя романа «Зинзивер» Митю Слезкина, молодого филолога и стихотворца, словно постоянно видит перед собой то Алешу, то князя Льва Николаевича, то бесшабашного Петрушу. Поэт Митя, которому, как водится в романах, отданы многие размышления автора, не случайно напоминает: «Души умерших писателей, рожденных до учения Христа, Данте поместил между адом и раем, в городе, лишенном даже намека на жизнь».

Надо сразу сказать, что роман В. Слипечука далеко и отнюдь не реалистический. Но с реализмом в художественной литературе вообще все очень непросто. А как может быть просто с фактурой, основанной на вымысле? Приблизительно реальны в литературе только социальные аллюзии. Но они не составляют и йоты того набора критериев, по которым мы оцениваем литературу, а тем более любим ее. И такой опытный беллетрист, как Слипечук, разумеется, не может этого не понимать.

Столь же справедливы и обратные утверждения. Так, давно замечено, что фэнтезийные миры братьев Стругацких основаны на их житейском опыте — например, работе брата Бориса в Пулковской обсерватории. Но от этого «Понедельник начинается в субботу» не становится реалистическим произведением. Герой романа «Зинзивер» по этому поводу автохарактеризуется так: «При всей своей материальности я по сути теоретический человек, то есть нематериальный. Только такой человек, как я, и мог жить будущим, так сказать, пребывать в несуществующей реальности».

Литература сама по себе и есть «пребывание в несуществующей реальности» — причем и автора, и читателя.

Осмотримся в ней, этой «несуществующей реальности»... Итак, «Зинзивер». Почему так назван роман?

Наверное, не все понимают, насколько важно писателю выбрать оптимальное название произведения. Например, на тернистом пути создания «Мастера и Маргариты» Булгаков перепробовал на зуб своего могучего воображения не менее десяти вариантов. И остановился гениальный мастер только на одиннадцатом номере, когда появилась в тексте любовная линия.

Название — «Зинзивер» — отсылает нас равно как к орнитологии, так и снова — к истории литературы. А конкретно — к едва ли не самому известному стихотворению Велимира Хлебникова «Кузнечик»:

Крылышкуя золотиписьмом
 Тончайших жил,
 Кузнечик в кузов пуза уложил
 Прибрежных много трав и вер.
 «Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.
 О, лебедиво!
 О, озари!

Кто такой зинзивер? Очень любопытный анализ этого стихотворения находим в работе Э. Ахадова «Зинзивер — тайна Велимира Хлебникова»: «Богатым голосовым репертуаром обладает Большая синица (лат. *Parus major*). Специалисты выделяют до 40 вариаций издаваемых ею звуков. При этом одна и та же особь одновременно способна чередовать три-пять вариантов, различных по ритму, тембру, относительной высоте звуков и количеству слогов». Большая синица по признаку звукоподражания и есть зинзивер. Роман Виктора Слипечука — о поэте. Метафора зинзивера хорошо ложится на образ Мити Слезкина, «птицы небесной».

Кузнечикам в поэтическом мире Хлебникова А. Россомехин посвятил целую монографию. Но тайна еще и в том, что кузнечик — одно из имен той же синицы. Невесомый Митя Слезкин в силу голодных обстоятельств и болезней за время повествования теряет вес. Таким образом, зинзивер в целом ряде эпизодов превращается в кузнечика, даже если не знать, что в птичьей иерархии это синонимы.

В названии романа скрыта первая литературная реминисценция. По достаточно объемному тексту их рассыпано великое множество. Вряд ли мы перечислим все — иначе рецензия превратится в диссертацию. Мы уже вспоминали героев Достоевского. Но поэт-полуночник Митя Слезкин больше похож не на князя Мышкина или Алешу Карамазова. Психологически он сплавлен, во всяком случае в преамбуле, из рассказчика «Белых ночей» и героя «Записок из подполья», если к этому герою подходить непредвзято и не с мерками советских литературоведов.

Однако первая из достоевских аллюзий, которая посещает при чтении «Зинзивера», это, конечно, роман «Подросток» — про познание нового мира юной душой.

В «Зинзивере» весьма серьезное место занимают прямые и косвенные цитаты из Священного Писания, начиная с эпитафий, что для русского романа явление традиционно неотъемлемое.

Очень сильна тема Екклезиаста. Вот Митя размышляет о замкнутости времени: «Как бы резво ни бежал — бежишь по кругу, да и весь мир перед тобой похож более всего на замкнутый круг. Поневоле вспомнишь Екклезиаста: «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Так и ты в своей круговерти. А отсюда и убеждение: мир движется не по спирали, а по кругу — вот вам и второй постулат. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

И хотя прямого обращения к Кохелету более в тексте нет, суета сует и томление духа много раз встретится Мите и овладеет им самим, к счастью, не навсегда. А одна из главных мыслей Екклезиаста — что и блага земные не зависят от человека — станет важнейшим мотивом романа.

Волею автора Мите предстоит испытание не только бедностью и безвестностью, но и богатством и относительной славой — двумя искусами, которые чаще всего ломают юношей и искажают их духовную сущность: «Со студенческой скамьи мечтал

я о внезапном богатстве, которое позволило бы не думать о хлебе насущном, не забывать голову унижительными мыслями о пропитании, а творить, создавать бессмертные произведения». Вот вам и Аркадий Долгорукий с его мечтой «стать Ротшильдом». Вот вам и Мандельштам, у которого «чудак Евгений — бедности стыдится».

Кохелет-проповедник будет снова и снова стилистически возникать на страницах романа: «От лучшего к худшему движется мир. Мы, ангелами рожденные, всей своей жизнью спускаемся с небес на землю и даже более того — в землю. Вот вам и последнее мое открытие, так называемый третий постулат — мир движется к своему концу». Третий постулат — это Нильс Бор: «Электрон в стационарном состоянии атома движется по круговым орбитам». Это Евклид: «Из всякого центра всяким радиусом может быть описан круг». Наконец, это третий закон термодинамики Планка, когда при абсолютном температурном нуле полностью прекращается движение молекул. Согласно законам природы, ниже абсолютного нуля температура опуститься не может. И в то же время одно движение невидимого циркуля, завершающее очертания круга, и снова появляется депрессивный Екклезиаст с его убеждением в бессмысленности всех человеческих дел.

Мотив Екклезиаста возникает в романе совершенно естественно. Мите Слезкину, как и всей еще недавно огромной и единой стране, предстоит пережить «лихие», по мнению большинства, и «святые», по мнению удачно хапнувших значительную долю общенародного достояния, 90-е годы минувшего века. Этому и посвящен роман «Зинзивер», и его героем становится беспомощный и простодушный, как вольтеровский Кандид, поэт, которого несет «рок событий» то в одну, а то в прямо противоположную сторону и который «всем сердцем ощутил корыстную низость смутного времени, точнее, всех смутных времен».

И тень набоковского «Приглашения на казнь» здесь тоже более чем органична. Антиутопия? Но если вернуться к проблеме реализма, более реалистичной, вербальной книги вообразить невозможно! И эта плохо прочитанная книга абсолютно рифмуется с «Зинзивером», написанным лет 70 спустя: «Существует ли вообще, может ли существовать в этом мире хоть какое-нибудь обеспечение, хоть в чем-нибудь порука, — или даже самая идея гарантии неизвестна тут?»

Обеспечение — насущная цель любящего молодого мужа. Образ небесной и земной любви Мити, Розочки, безусловно оригинален. Но так и хочется снабдить его табличкой: «Все совпадения не случайны и глубоко продуманы!» Розочка — гремучая смесь Марфиньки, булгаковско-гётевской Маргариты и героини бунинского «Чистого понедельника». Это, собственно, едва ли не исчерпывает женские типажи.

Но Розочка, вынужденная наркоманка, вдобавок живет в 90-е, что добавляет ей черты времени безумного, совершенно иррационального и при этом каким-то чудом не затрагивающего базовых интимных черт женского характера.

А что же Митина миссия — поэзия?

Неизбежный вопрос спойлеру: ладно, допустим, Митя исполнил мечту — разбогател. Это мы поняли. Но поэт-то он какой? Гений или графоман? Ответ на этот вопрос, скажем так, не явен.

Во-первых, Митя Слезкин очень молод и только пробует перо.

Во-вторых, его вирши стали, что называется, культовыми среди прощелыг и ско-рохватов, волею судеб окружающих его. Вчерашних маргиналов (и завтрашних, ес-

ли, конечно, выживут в баталиях «лихих» и «святых»). Митя и сам себя иронически называет поэтом «всех угнетенных челночников и киоскеров».

Призвание Мити материализуется на фоне разрушения всего и вся, а культуры — в первую голову. Критерии сметены, новые, постпостмодернистские и либерально-бесформенные, только проклевываются. Какою мерой мерить стихи в такой ситуации? Что такое хорошо и что такое плохо в условиях полного замещения классических понятий?

Сам Митя выбрал позицию неуязвимую, хотя ему, конечно, свойственны и сомнения, и колебания: «писать и верить — это основной принцип писателя».

Наконец, в-третьих, а на самом деле в главных, — личность Мити многоуровневая, так сказать, неустаканенная. Он и несчастный лох, и немислимый везун. Он и начинающий Поэт, и Звездочет, владеющий (или думающий, что владеет) тайным знанием. Он — и некто третий, которому предстоит либо слить все свои ипостаси в личностное монолитное единство «на пьедестале общего „я“», либо рассеяться, «яко исчезает дым»: «Тем не менее именно Я, некто третий, жаждал не только примирения звездочета и поэта Мити Слезкина, но и их слияния. Да-да, слияния в единое общее „я“, в результате которого Я, некто третий, рассеялся бы и исчез, как дым, как дурной сон, то есть уступил бы свое место новому Мите Слезкину, обогащенному опытом звездочета...»

За этими рассуждениями просматривается трехсложная формула Набокова: «невозвратность прошлого, ненасытность настоящего и непредсказуемость будущего». И хотя Звездочет явно надеется это будущее предсказать, трудно поверить, что ему это удастся в полной мере.

«Корыстная низость» меж тем постепенно захватывает Митю своими щупальцами. Нельзя сказать, что он отчаянно сопротивляется: желание разбогатеть, дабы беспрепятственно «устремляться к недостижимому», никуда не делось.

Вот только неясно, как Митя представляет себе «достижимое»? Как некий мимолежный процесс, не затрагивающий основ его души и бытия? Откуда же тогда появилось ощущение, что «второстепенные, косвенные люди настолько плотно овладевали ситуацией, что мы с Розочкой почти всегда превращались в их руках в обыкновенную разменную монету»?

А ведь Розочка почти в начале романа, ознакомившись с биографиями Рембо и Верлена, высказала своему мужу: «Я хочу, Митя, чтобы ты объединял в себе и поэта, и рыцаря, и еще... Да-да — спонсора-золотодобытчика! Лучше умереть с кожаным поясом с золотом, чем без портков под забором».

«Без портков» Митя не остался, а вот в одних кальсонах — пришлось.

Дотошные булгаковеды неоднократно фиксировались на важности темы нижнего белья у их подопечного. И действительно: поэт Понырев по кличке Бездомный появляется в писательском ресторане неглиже, а именно в белых кальсонах. «Ты видел, что он в подштанниках?» — допрашивает Арчибальд Арчибальдович швейцара после столь необыкновенного происшествия. Фраза Аннушки: «Куда ж тебя черт несет в одних подштанниках?» — не менее известна, чем пролитое ею масло. Митины финские кальсоны, в которые он запрятал доллары, предназначенные Розочке, лишь один из многих булгаковских мотивов в «Зинзивере».

С тех пор как Митя занялся продажей своих произведений, из-под его пера, по собственному признанию, выходит «галиматья». Что ж! «Не продается вдохновенье...» Митя постепенно с ужасом понимает, что «на корню куплен. Какая уж тут независимость?!» Снова и снова он повторяет, что «как поэт более всего признан не просто

в криминальной среде, а... среди теневой номенклатуры, а это для денег самая надежная страховка уже потому хотя бы, что ходить против признанных поэтов там много опасней, чем здесь, хотя официальные критики тоже хорошие головорезы».

С последними утверждениями трудно не согласиться.

Но у Митиной дороги новый поворот.

«Я остался один на необитаемой планете...» Обретя богатство, условное и зыбкое, как всякое богатство, Митя волею судьбы потерял любимую Розочку.

Что осталось «чужаку Евгению», то бишь нашему Дмитрию? Ничего, кроме матери и родины — Богом забытой алтайской деревни Черемшанка. Туда Митя и подался.

Если уж мы начали с реализма, автор им неожиданно и заканчивает роман: «Летняя кухня, собранная из каких-то немислимых кусков фанеры и вагонной рейки. Забор из жердин, разделяющий внутренний дворик. Во всем ощущалась крайняя бедность».

Но дело в том, что «изба, и летняя кухня, и сараюшки, и покосившийся плетень, и этот просыпающийся тополь, и все-все, что я видел своими или мамиными глазами, — было моим, было со мной, было частью меня».

Так трюйственность героя становится единством. Так литературные реминисценции XX века к финалу возвращаются в век XIX. Гоголевские Филимон Пуплиевич, Тутатхамон и Алексей Феофилактович (Писемский?), номинально рассыпанные по тексту, уступают место толстовскому Вронскому.

Митя, подобно герою «Анны Карениной», едет добровольцем на Балканы. Русская история делает круг. При этом едет Слезкин следом за первым своим литературным авторитетом Валерием Губкиным, сошедшим со страниц романа В. Слипенчука «Огонь молчания». Там Губкина преследовали серьезные проблемы, но за ним стояла могучая страна и авторитетнейший ее институт в лице Союза писателей.

Когда-то третьекурсник факультета журналистики Губкин, выпускник той же сельской школы, которую окончил и Митя, обсуждал стихи членов школьного литературного кружка и советовал Слезкину писать прозу, чем здорово задел его самолюбие. Теперь учитель и ученик по-вронски потеряли «вкус к жизни». А безвкусная жизнь теряет всякую цену.

В этом сходятся два героя с разным жизненным опытом и установками. «Пусты звонницы наших церквей, музейный холодок мертвит наши иконостасы, потому что более всего и всех мертвы мы сами. Тусклость, серость и горечь, да и то какая-то невсамделишная, вот что такое — мы».

К таким грустным умозаключениям приводят 90-е. Для кого-то «святые». Для нас, не потерявших исторической памяти, — лихие. Лихо по-русски — «горе».

Мы всегда относились к литературным героям, как к живым людям, поэтому дай Бог всем героям романа Виктора Слипенчука «Зинзивер» долгой жизни в читательских сердцах!

ЮБИЛЕЙ

К 70-летию Алексея Пурина

Александр ВЕРГЕЛИС

ПРОТИВЛЕНИЕ ПУСТОТЕ

В самом начале третьего тысячелетия Алексей Пурин написал, пожалуй, наиболее значительное свое стихотворение. Оно как бы замыкает длинный ряд «памятников», начинающийся с «Eхegi monumentum» Горация, а в России продолженный Ломоносовым, Державиным, Пушкиным, Брюсовым, Бродским.

Я памятник воздвиг — едва ли ощутимый
для вкуса большинства и спеси единиц.
Живые сыновья, увидев этот мнимый
кумир, не прослезят взыскующих зениц.

И внуки никогда, а правнуки — подавно,
в урочищах страстей не вспомнят обо мне —
не ведая о том, сколь сладостно и славно
переплавлялась боль на стиховом огне.

Слух обо мне пройдет, как дождь проходит летний,
как с тополей летит их безнадежный пух, —
отсылкой в словаре, недостоверной сплетней.
И незачем ему неволить чей-то слух...

Трудно заподозрить автора в кокетстве, когда он говорит о неошутимости, призрачности воздвигнутого им монумента из слов и даже о грядущем забвении своего имени. Основания для этого, к сожалению, есть. Имя Алексея Пурина известно критикам, литературоведам, коллегам-литераторам, редакторам журналов, издателям, но подозреваю, широкой публике оно ни о чем не говорит. Впрочем, широкой публике ни о чем не говорят и имена Иннокентия Анненского, Михаила Кузмина, Георгия Иванова. А Пурин — из их числа. Во всяком случае, в одной с ними весовой категории «больших поэтов» или «поэтов первого ряда» — как кому нравится. Вообще, нынешняя ситуация с поэзией трагически уникальна: значительнейшие стихотворцы

Александр Петрович Вергелис родился в Ленинграде в 1977 году. Публиковался как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов» и других изданиях России и зарубежья. Лауреат нескольких литературных премий, дипломант премии Анны Ахматовой (2024), победитель конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (2017). Автор трех книг стихов и сборника эссе. Живет в Санкт-Петербурге.

живут в одном времени с нами, но оптика современного обывателя их не распознает, никаких «памятников» на горизонте не обнаруживает. Большие поэты существуют, но их как бы нет. Потому ли что нет социального заказа на настоящую поэзию или просто «благодаря» техническому прогрессу, создавшему условия, при которых проще потреблять видеоконтент, беспрерывно вываливающийся из мобильного телефона, чем искать хорошую книгу. Но ведь именно технический прогресс открывает нам дополнительные возможности для наслаждения подлинной литературой, позволяет делать по-настоящему упоительные вещи — например, в любой момент, в любом месте, где ловит сеть (даже в каком-нибудь сумрачном лесу!), набрать в поисковике «Алексей Пурин». И в секунду получить совершенно бесплатный доступ к огромному количеству журнальных публикаций, оцифрованным поэтическим книгам, интервью, лекциям, радиопередачам, видеозаписям творческих вечеров.

Мне могут возразить, указав на тот факт, что интерес к поэтическому творчеству сейчас колоссален — достаточно ознакомиться с явлением сетевой поэзии и ее адептов, имя которым легион. Данное возражение выглядит вполне убедительным, как и то соображение, что для многотысячной аудитории потребителей интернет-лирики Пурин слишком книжен, слишком традиционен и в то же время чаще всего непонятен для рядового читателя, вскормленного компьютерной мышью. Чепуха! Во-первых, никакой чрезмерной усложненности, никакой нарочитой «зауми» в его стихах нет, во-вторых, он, как принято говорить, «разный» — наряду с текстами для высококолобых ценителей, склонных к разгадыванию культурологических ребусов, можно найти замечательные стихи, отвечающие кузминскому принципу «прекрасной ясности», совершенно не перегруженные интертекстуальными связями, филологическими и искусствоведческими отсылками, не обремененные тайными смыслами (во всяком случае, имеющие вполне считываемый верхний слой). Например, эти стихи, написанные на разломе веков, полные чувства усталости от перманентного кровопускания, которым занято человечество (то ли еще будет!):

Благодать — сидеть
на траве, вязать
или так глазеть
на речную гладь,
на зеленый скат,
на кусты и пни,
будто дымный ад
нас не ждет, — в тени,
где кошмаров нет,
и душманов нет,
и газет газет
нам не страшен, нет...
Не читай, зачем:
там опять — вулкан
надоевших всем
за века Балкан,
и Кабул горит,
и аул в огне —
неизменный вид,
надоевший мне.

Или вот это стихотворение о любви, в котором столько страсти и нежности:

Если вновь родиться — на Востоке,
у Аллаха зоркого в горсти.
Ночи там так жарки и жестоки,
что веселых глаз не отвести.
И молиться лучше, скинув кеды:
не алтарь, не капище — но дом,
где тебя взрастили для победы
и для рая страстного потом.
Я любил бы улочек Багдада
путаное, пряное руно —
или стал бы юнгой у Синдбада,
записавшись в первое кино.
В снах моих меня манила б Мекка,
и зрачок чернила бы во мне.
Я узрел бы звезды Улугбека
и хромого хана на коне.
И тебя, тебя бы вновь увидел
где-нибудь в Ширазе золотом —
смуглой кожи самый нежный выдел
пролистал соскучившимся ртом...
Ядом вязь арабская сочится,
и священной жизни правый бой —
стяг зеленый, реющий, как птица.
Верная погибель, но — с тобой!

Впрочем, «простые», сиречь «понятные» для неподготовленного читателя, тексты появляются у Пурина, скорее, в порядке исключения. И тот, кого, как принято сегодня выражаться, «зацепила» пуринская лира, кто «подсел» на его музыку, просто обречен на саморазвитие, на добросовестное гуманитарное самообразование. Иначе никак: полноценное прочтение Пурина требует высокой читательской квалификации и безнадёжного, окончательного впадения в тоску по мировой культуре. То есть — превращения в нормального читателя стихов. Слово «нормальный» сам Алексей Пурин любит применять к поэтам, и в его устах это несомненная похвала. Поэтическая «нормальность» есть укорененность в культурной традиции, свобода от постмодернистских соблазнов и добросовестная, ответственная работа с языком — с его как смысловой, так и фонетической музыкальной составляющими. «Нормальный поэт» в понимании Пурина — поэт настоящий.

«Настоящий поэт — вроде бабочки. Сначала он „пресмыкается“ в изобильной листве традиции, он еще зелен и бескрыл, его почти не отличить от других хрустящих челястями собратьев-насекомых. Потом он замыкается в себе, окукливается — и вдруг является живое чудо, схожее лишь с предыдущими чудесами. Это трудные, долгие метаморфозы». Эти слова из книги Алексея Пурина «Утраченные аллюзии» вполне применимы к пути, пройденному им самим. Дорога поэта к себе, к своему особому, безошибочно узнаваемому облику и складу была непростой, метаморфозы трудны и долги. Но дорога эта была счастливой: с самого старта неофита вели по стезе муз надежные провожатые.

Наличие «школы» для поэта — обстоятельство определяющее. Место жительства, судя по всему, тоже. Полвека назад студент Ленинградского технологического института Алексей Пурин стал участником литературного объединения Александра Кушнера. Это ЛИТО занимало особую нишу — равноудаленную как от советского официоза, так и от литературного подполья. И — максимально приближенную к полуоткрытому в то время наследию лучших поэтов Серебряного века. В основу этой школы была положена ориентация на «будничное слово» Иннокентия Анненского в сочетании с установкой на культурную открытость и преемственность, на следование традиции. Первая книга стихов «Лыжня», вышедшая в коллективном сборнике «Дебют» в 1987 году, была замечена и отмечена мэтрами. Поэт Галина Гампер писала, что в стихах дебютанта «образы действительности преломляются через призму культуры» (стоит заметить, что этот творческий принцип сохраняется Алексеем Пуриным и поныне, спустя 50 лет). Потом будет «Архаика», удостоенная премии «Честь и свобода» Санкт-Петербургского отделения русского ПЕН-центра. Далее — «Евразия и другие стихотворения Алексея Пурина», где поэт осмысляет свой опыт офицерской службы в стройбате, попутно «хороня» Советский Союз. Затем — «Созвездие рыб» — книга, с которой начинается зрелый Пурин. Книг будет много. Стихи будут появляться в ведущих литературных журналах России и зарубежья. Помимо стихотворений оригинальных — большое количество переводов из европейских поэтов: Рильке, Гейма, Гезелле, Леополда, Нейхофа и др.

Итогом размышлений о природе литературного творчества станет несколько книг блестящей эссеистической прозы: «Воспоминания о Евтерпе», «Утраченные аллюзии», «Листья, цвет и ветка». Эссеистику Алексея Пурина можно смело числить по разряду художественной литературы. Приведенный выше отрывок о поэтах-бабочках — характерный пример пуринской прозы — тонкой, остроумной, провокативной, местами желчной, иногда попросту злой. Эта ажурная словесная ткань способна доставить большое интеллектуальное удовольствие — даже если читатель в корне не согласен с автором. Завораживает сам способ выражения мысли, манера обращения со словом, обнаруживающая в ее авторе прежде всего поэта. Поэта, склонного к аллюзиям, но отнюдь не к иллюзиям — вполне осознающего трагическую тщету не только земной жизни, но и собственных усилий на литературном поле. И тем не менее отдающий должное самой попытке противостояния торжествующему хаосу:

Но, муза, оцени, с какой паучьей силой
Противилось перо величию пустоты.

Так завершается пуринский «Памятник». На вечный вопрос что такое поэзия, стихотворец как бы отвечает: это противление пустоте, небытию, смерти... Стало быть — дело «хорошего рода», как сказал бы другой русский поэт с созвучной фамилией.

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ СВ. ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО

Часть 1

В житиях Франциска говорится, что «опьяненный любовью и состраданием ко Христу Франциск иногда поднимал кусок дерева с земли и, взяв его в левую руку, правой водил по нем на манер смычка по скрипке, припевая французскую песнь о Господе Иисусе Христе»¹. Вот что писал об этом поэт Арсений Александрович Тарковский (1907–1989): «Святого Франциска и Моцарта (пушкинского) породили разные двигатели, но ведомы они одним путем „вечного детства“»².

«Иногда, — рассказывает о Франциске его биограф Фома из Челано, — когда сладостные звуки рождались в его пламенной душе, он начинал петь по-галльски: чутким ухом прислушивался он к нежной музыке в душе своей, пока она не выливалась в славословие. Своими глазами мы видели, как он подымал с земли кусок дерева и, держа его в левой руке, наподобие скрипки, правой рукой водил тоненькой палочкой точно смычком и, делая соответствующие движения, пел по-галльски о Боге. Это веселие заканчивалось часто слезами, и ликование переходило в оплакивание страстей Христовых»³.

Внутренняя мелодия, охватившая душу Франциска Ассизского, нашла свой отзвук в рассказах о небесной музыке, как повествуют нам «Цветочки». Так, однажды во время своего предсмертного уединения на Альвернской горе, Франциск, мучаясь и скорбя по поводу судьбы своего ордена, долго не мог уснуть. Наконец он забылся сном и увидел Ангела, стоящего у ложа его со смычком и скрипкой. «Я покажу тебе, — говорит ему Ангел, — немного той музыки, которую мы играем там наверху — в небесном царстве, пред престолом Божиим». И с этими словами он только раз провел смычком по струнам: и тут Франциска охватила такая безмерная радость, душа его исполнилась сладости столь дивной, что поистине ему казалось, что у него нет больше тела и что он не знает никаких страданий. «И если бы только один еще раз коснулся до струн смычком, — рассказывал Франциск своим братьям на следующее утро, — то, конечно, моя душа отделилась бы от тела в избытке блаженства!»⁴

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Герье В. И. Франциск Ассизский, апостол нищеты и любви. М., 1908. С. 156.

² Тарковский А. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1991. С. 265.

³ Арсеньев Н. С. О жизни преизбыточествующей. Брюссель, 1966. С. 209.

⁴ Там же. С. 206.

Другой рассказ сохранен нам у древнего биографа Франциска Фомы из Челано. Во время своего пребывания в Риэти для лечения глаз — также незадолго уже до смерти — Франциску весьма хотелось послушать игры на лютне во славу Господню; он попросил одного брата, игравшего прежде в миру, раздобыть где-нибудь на время лютню и игрой на ней «доставить некоторое облегчение брату телу, жестоко страдающему». Но пришлось Франциску от этого желания отказаться, ибо брат смущался играть, боясь ввести в соблазн окружающих. «На следующую ночь, когда святой бодрствовал и размышлял о Боге, он вдруг услышал звуки лютни удивительной красоты и сладчайшей гармонии. Никого не было видно, но звуки то приближались, то удалялись. Святой отец, устремив душу к Богу, испытывал такую усладу от прелести песни, что ему казалось, что он уносится в иной мир»⁵. То была небесная игра Ангелов.

Сходные переживания этой «небесной» — внутренней — музыки приписывает легенда и двум великим ученикам Франциска. Про Бернарда de Quintavalle рассказывается: однажды он в течение восьми дней не ощущал божественных утешений, и, исполненный глубокой скорби, он в горячей молитве взывал к Господу. «И вот внезапно явилась ему в воздухе некая рука, держащая скрипку, которая, один раз проведя смычком по направлению к земле, исполнила его чрез свою музыку таким утешением духовным, что, если бы она в другой раз провела смычком — но по направлению к небу, он — так был уверен — испустил бы дух»⁶.

В житии брата Иоанна из Альверны имеется сходный рассказ⁷. «Вообще рассказы о небесной музыке весьма распространены в агиографии средних веков, — пишет Н. С. Арсеньев. — Укажу для примера еще лишь на одну легенду из среды учеников Бернарда Клервосского („Exordium magnum ordinis cisterciensis“, Dist. III, p. 16 — Migne, Series latina. t. 185, col. 1074) и на ряд сходных мотивов из области германской мистики»⁸.

По словам Н. С. Арсеньева, родственные отголоски мистических переживаний имелись в произведении, вышедшем из той же францисканской среды, — в провансальском трактате XIV века «Scala divini amoris»: здесь читаем про мелодию божественной песни — *melodia de cant*, которую дупла, восходящая горе — к «Чертогу любви», слышит во всех стихиях и во всех тварях. И «одно из величайших чудес в нынешнем веке — в том, что моя душа не умирает и не выходит из себя, когда слышит, как небеса и земля оглашаются песнью и теми звуками, что крылья Ангелов производят в раю». Бог и мир как бы охвачены одной чередующейся песнью: «Итак, Бог начинает Свою *balada* и говорит: „Amors!“ (Любовь). И все твари отвечают: „Ты сотворил нас“. И про эту *doussa balada* („сладостную балладу“) говорит *mosenher San Johan Evangelista*, что он слышал, как ее пели все твари на земле, и на небе, и на воде: „Любовь, ты создала нас, чтобы любить!“»⁹ В неясных и робких намеках, сквозь призму легендарных рассказов, встало перед нами мистическое пение души, без слов и без звуков, полное неуловимого ритма и торжествующей гармонии!¹⁰

Духовное наследие св. Франциска благотворно влияло на творчество целого ряда поэтов, писателей, художников, композиторов. Одним из них был Джованни Баттиста Мартини (1706—1784) — итальянский композитор, музыковед, капельмейстер, пе-

⁵ Там же.

⁶ Vita fratris Bernardi de Quintavalle — см. *Analecta franciscana*, tomus II, 1897, Quaracchi, p. 44.

⁷ Vita fratris Johannis de Alverna — *ibid.* p. 446.

⁸ Арсеньев Н. С. О жизни преизбыточествующей. Брюссель, 1966. С. 206—207.

⁹ *Scala divini amoris* — hrsg. von De la Motte, 1902.

¹⁰ Арсеньев Н. С. О жизни преизбыточествующей. Брюссель, 1966. С. 191.

вещ и скрипач, известен как «падре Мартини». В 1753 году он написал интроит¹¹ (для шести голосов) на праздник Стигматов св. Франциска.

В 1721 году Джованни Баттиста Мартини вступил во францисканский монастырь. Изучал философию, математику и теорию музыки; в 1725 году 19-летний Мартини стал капельмейстером церкви Св. Франциска в Болонье. Рукоположен в сан священника в 1729 году. Как композитор падре Мартини следовал традициям «римской школы» церковной музыки. Автор месс, ораторий, произведений для органа, клавесина, вокальных дуэтов, хоров с инструментальным сопровождением¹². Среди его многочисленных учеников — юный Моцарт, К.-В. Глюк, Н. Йомелли, Дж. Сарти, И.-Х. Бах, русские композиторы М. Березовский и Е. Фомин¹³.

Духовным подвигам св. Франциска посвятил одно из своих сочинений *Иоганн Михаэль Гайдн* (1737—1806) — австрийский композитор и органист, младший брат композитора Йозефа Гайдна. Михаэлем Гайдном написано, по меньшей мере, 32 полных цикла латинских месс, (в том числе месса святым Кириллу и Мефодию, 1758), а также 8 месс на немецком языке. Вершиной творчества Иоганна Михаэля Гайдна стала месса св. Франциска ре минор (*Missa Sancti Francisci Seraphici*), заказанная ему во время поездки в Вену в 1801 году императором Францем II и законченная в 1803 году¹⁴.

Ференц (Франц) Лист (венг. Liszt Ferenc, нем. Franz Liszt) (1811—1886) был автором таких сочинений, как «Гранская месса», оратории «Христос», «Св. Елизавета» и многих других. Небесным покровителем Листа был св. Франциск из Паолы¹⁵ (имя, данное Листу при крещении, было записано по-латыни как Franciscus, а по-немецки произносилось Франц). К образам двух самых дорогих для Листа святых — своего небесного покровителя Франциска из Паолы и Франциска Ассизского — композитор обращался неоднократно. Еще в 1860 году он написал сочинение для мужского хора «К святому Франциску из Паолы», а в 1862 году Лист написал «Солнечный гимн святого Франциска Ассизского» (*Cantique du soleil de Saint Francois d'Assise*) (с версиями для фортепиано соло, органа и оркестра, сочиненных или аранжированных между 1862 и 1882 годами).

Под впечатлением проповеди св. Франциска, обращенной к птицам, Лист написал фортепианное сочинение «Святой Франциск Ассизский: проповедь птицам» («*Saint Francois d'Assise, ou la predication aux oiseaux*») (1862). В следующем, 1863 году Лист написал сочинение «Святой Франциск из Паолы, идущий по волнам». В очередной раз Лист использовал темы из «Солнечного гимна», а сюжетную основу второй составляли 35-я глава «Жизнеописания святого Франциска из Паолы» и рисунок австрийского художника Эдуарда фон Штайнле «Святой Франциск из Паолы, идущий по волнам»¹⁶.

¹¹ Интроит (входное песнопение, от лат. introitus — «вступление, вход») в западных литургических обрядах — один из элементов литургии, входящий в состав начальных обрядов и открывающий собой мессу.

¹² https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартини_Джованни_Баттиста. Дата посещения 14.09.2024.

¹³ <https://www.poy.su/martini-djovanni-battista.html>. Дата посещения 14.09.2024.

¹⁴ Коваленко Т. С. Жанр мессы в творчестве Йозефа и Михаэля Гайднов. — Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5: Вопросы истории и теории христианского искусства, 2009. — V: Музыкальное искусство христианского мира 2009. Вып. 2 (5). С. 125—136; Коваленко Т. С. Духовные сочинения М. Гайдна в контексте австрийской музыкальной традиции XVIII века. — М., 2012.

¹⁵ Святой Франциск из Паолы (1416—1507) — католический святой, отшельник, основатель ордена минимов.

¹⁶ <https://www.liveinternet.ru/users/4273051/post460395818>. Дата посещения 14.09.2024.

В 1865 году в Риме Ференц Лист принял малый постриг в аколиты¹⁷. В поздние годы своей жизни Лист и вся его творческая энергия перешла в сферу духовной музыки. В России Лист был в 1842 и 1848 годах. В Санкт-Петербурге Листа слушали выдающиеся деятели русской музыки: В. В. Стасов, А. Н. Серов, М. И. Глинка. Впоследствии его сочинение, посвященное св. Франциску, исполнялось в российской столице¹⁸.

В 1912 году французский органист, композитор и дирижер Анри Констан Габриель Пьернё (1863–1937) сочинил ораторию «Святой Франциск Ассизский». В своем творчестве Пьернё неоднократно уделял внимание христианской тематике. В числе его произведений оратория «Детский крестовый поход» (1902) (фр. *La Croisade des Enfants*), оратория «Дети в Вифлееме» (1907), «Францисканские пейзажи» пьеса для оркестра (1919–1920).

В 1919 году очередное музыкальное произведение, посвященное бедняку из Ассизи, — «„Фиоретти“ св. Франциска»¹⁹ сочинил итало-американский композитор Марио Кастельнуово-Тедеско (1895–1968)²⁰. Как отмечалось в тогдашней печати, Марио Кастельнуово-Тедеско должен был быть «ревностным последователем и радостного любителя природы, святого Франциска», а «Fioretti» — это «три симфонические фрески, задуманные как своего рода музыкальная интерпретация картин Джотто»²¹.

Творчество Кастельнуово-Тедеско во многом связано с тосканской музыкальной культурой. Многие его произведения пользовались успехом в 1920–1950-х годах. Среди прочих посвященные евангельским сюжетам: *История Иисуса, рассказанная детям в 28 маленьких фортепианных пьесах*, соч. 141 (1949); *Песнь на Сретение Господне*, Ор. 126b (1945) для смешанного хора и фортепиано; *Два мотета: из Евангелия от Иоанна*, соч. 174 (1955) для смешанного хора без сопровождения, а также *Шесть рождественских гимнов* на ранние английские стихи, соч. 175 (1955) для смешанного хора без сопровождения.

В 1919 году англиканский священник Уильям Генри Дрейпер (1855–1933) опубликовал в сборнике гимнов для государственных школ текст песнопения «Все создания нашего Бога и Царя» («All Creatures of Our God and King»). Этот гимн — перевод и пересказ «Песни брату Солнцу» св. Франциска.

В то время Дрейпер был настоятелем приходской англиканской церкви в Аделе (Адель — пригород Лидса, Западный Йоркшир). Неизвестно, когда Дрейпер написал свой гимн; это было между 1899 и 1919 годами. Сам о. Уильям сочинил около шестидесяти гимнов; тексты многих из них появились в церковных периодических изданиях, однако сегодня Дрейпер известен главным образом по одному из них — своему парафразу «Песни Солнцу» Франциска Ассизского. В настоящее время текст этого гимна напечатан в 179 сборниках церковных песнопений²².

¹⁷ Аколит (лат. *acolythus*, от др.-греч. помощник) — первоначально малый чин духовенства — помощник епископа или пресвитера, а впоследствии церковнослужитель-мирянин в Римско-католической церкви, который выполняет определенное литургическое служение. В обязанности аколита входят зажжение и ношение свечей, подготовка хлеба и вина для евхаристического освящения, а также ряд других функций. Аколиты аналогичны алтарникам в Православной церкви.

¹⁸ Санкт-Петербург. François d'Assise: La Prédication aux oiseaux, № 1 из Deux Légendes (фортепиано, 1862–1863).

¹⁹ I Fioretti di San Francesco (голос и фортепиано, 1919; переложение для голоса и оркестра, 1920).

²⁰ Композитор «нового немецкого замка» — именно так переводится его двойная фамилия, первая часть которой идет от еврейских предков, бежавших в XV веке в Италию из испанской Кастилии, а вторая была добавлена позже, уже на их новой родине // Лысенков А. Композитор нового немецкого замка / orpheusradio.ru/persons/id/56737. Дата посещения 14.09.2024.

²¹ Гвидо М. Гатти. Некоторые современные итальянские композиторы. Марио Кастельнуово-Тедеско. *The Musical Times*, 1 февраля 1921 г. С. 454.

²² https://ru.wikibrief.org/wiki/All_Creatures_of_Our_God_and_King. Дата посещения 14.09.2024.

Под духовным влиянием «бедняка из Ассизи» находился Джан Франческо Малипьеро (итал. Gian Francesco Malipiero) (1882–1973) — итальянский композитор и музыковед. Среди вокальных произведений Малипьеро — мистерия для солистов, хора и оркестра «Святой Франциск Ассизский» (1920–1921)²³.

Швейцарский композитор и дирижер Герман Зутер (1870–1926) в 1923 году сочинил ораторию *Le Laudi di San Francesco d'Assisi*, op. 25 (Хвала Франциску Ассизскому) по мотивам «Песни Солнца». Премьера этого музыкального произведения состоялась в 1924 году²⁴.

В 1924 году американская пианистка и композитор Эми Бич (Amy Beach, урожденная Эми Марси Чейни) (1867–1944), положила «Песнь Солнца» на музыку (орган или оркестр, хор и сольный вокальный квартет). Впервые это произведение было исполнено с органом в 1928 году в соборе Св. Варфоломея в Нью-Йорке²⁵. Оркестровая версия была впервые исполнена Чикагским симфоническим оркестром и Толедским хоровым обществом в 1930 году.

В 1925 году Чарлз Мартин Лефлер²⁶ (1861–1935) — американский скрипач и композитор немецкого происхождения, использовал современный итальянский перевод текста *Canticum fratris Solis* («Песнь Солнца») св. Франциска Ассизского (на диалекте Умбрии) в своем сочинении для солистов и камерного оркестра; премьера состоялась в 1929 году. Это произведение было также исполнено в 1945 году в Карнеги-холле (Нью-Йорк).

Детские годы Чарлз Мартин Лефлер провел в России, где в девятилетнем возрасте начал заниматься на скрипке (отец Лефлера, родом из Эльзаса, служил в имении в городке Смела под Киевом). Среди его сочинений — сюита для скрипки с оркестром «Украинские вечера» по мотивам рассказов Н. В. Гоголя (1891) и симфоническая поэма «Воспоминание детства» («Жизнь в русской деревне», 1924), пронизанная интонациями русских и украинских песен.

В 1925 году в Ассизи состоялась премьера песнопения «*Il Canticum delle Creature*», положенного на музыку для соло и хора мужских и женских голосов в сопровождении органа. Автором этого сочинения был итальянский францисканец и композитор о. Доменико Стелла (1881–1956).

Рукоположенный в сан священника в 1908 году, Доменико Стелла был назначен директором *Schola Cantorum* в Анцио, а с 1911-го по 1915 год он был профессором церковного пения в Международном колледже Сан Теодоро суль Палатино. Священник Доменико оставался в Риме до 1920 года, после чего он был переведен в Ассизи, где руководил музыкальной капеллой в базилике Сан Франческо. В Ассизи он и скончался в 1956 году²⁷.

21 июля 1938 года в театре «Друри-лейн» (Лондон) был показан одноактный балет (хореографическая легенда) «Достославнейшее видение» (лат. *Nobilissima Visione*) — о жизни Франциска Ассизского в шести картинах (11 номеров). Балет был представлен труппой «Русский балет Монте-Карло» в постановке Л. Ф. Мясина на музыку П. Хиндемита²⁸. Либретто композитора и балетмейстера, сценография П. Ф. Челищева.

²³ Рудко М. В. Русские контакты Дж. Ф. Малипьеро // *Musicus: Вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова*. 2017. № 2 (50). С. 45–48.

²⁴ Merian W., H. Suter, Bd 1–2, Basel 1936.

²⁵ Песнь Солнца (Святой Франциск), сопрано, меццо-сопрано, тенор, бас, 4 голоса, оркестр, 1924, оркестровая партитура (1928), соч. 123.

²⁶ Англ. Charles Martin Loeffler, собственно Карл Мартин Леффлер, нем. Karl Martin Loeffler.

²⁷ https://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Stella. Дата посещения 14.09.2024.

²⁸ Пауль Хиндемит (нем. Paul Hindemith) (1895–1963) — немецкий композитор.

В начале 1937 года в США Мясин согласился стать балетмейстером вновь созданной труппы «Русский балет Монте-Карло» под руководством Сержа Дэнема (Сергея Ивановича Докучаева). Идею нового балета Мясину предложил Хиндемит, когда балетмейстер и композитор случайно встретились во Флоренции. Хиндемит был глубоко впечатлен фресками Джотто в церкви Санта Кроче, описывающими житие святого Франциска Ассизского. Хиндемит отвел Мясина в церковь, и балетмейстер также был ошеломлен их духовной красотой. Хиндемит предложил совместно создать балет о жизни святого. Мясин не был готов ответить согласием, так как хотел детально изучить материалы по теме, чем занимался следующие несколько месяцев, вдохновился идеей, все более разжигавшей его воображение.

Совместная работа началась летом 1938 года; композитор строил партитуру на старинной французской духовной музыке. Репетиции балета проходили в Монте-Карло в тесном сотрудничестве композитора, балетмейстера и художника. Оформителем выступил художник Челищев; в мемуарах Мясин отзывался о работе Челищева как об одном из его лучших сценических решений, «костюмы были выполнены в чистейшем средневековом итальянском стиле». Концепцию совместного произведения Мясин описал следующими словами: «Nobilissima visione в действительности не был балетом как таковым. Это была драматическая и хореографическая интерпретация жизни святого Франциска, в которой Хиндемит, Челищев и я постарались создать и выдержать в полной мере настроение мистической экзальтации».

«Достославнейшее видение» стало вторым после «Литургии» балетом Мясина на религиозную тематику. 14 октября 1938 года балет был представлен под измененным названием «Святой Франциск» в «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк)²⁹.

В 1944 году американский композитор и органист Лео Соуэрби (Leo Sowerby) (1895–1968) написал кантату «Песнь Солнца» (кантата для смешанных голосов в сопровождении фортепиано или оркестра). Это сочинение было впервые исполнено школой церковного пения «Schola Cantorum» в Нью-Йорке в апреле 1945 года. В следующем, 1946 году работа была удостоена Пулитцеровской премии в области музыки³⁰.

Духовному наследию св. Франциска посвятил свое творчество Франсис Жан Марсель Пуленк (1899–1963) — французский композитор, пианист. В 1948 году им были положены на музыку «Четыре маленькие молитвы святого Франциска Ассизского», (Quatre petites prières de saint François d'Assise) для мужского хора а капелла. «Четыре молитвы» на тексты молитв самого св. Франциска Пуленк сочинил летом 1948 года в местечке Нуазей. Об этом его попросил внучатый племянник Жером, францисканец монастыря Champfleury недалеко от Пуасси.

Сочинение предназначалось не для концертной эстрады, а для семинарии при монастырской обители (где и состоялось первое исполнение сочинения). Это ограничивало хоровое исполнение исключительно мужскими голосами. Сами учащиеся семинарии выбрали целый ряд текстов, принадлежавших св. Франциску для композитора, но он отобрал из них только четыре, которые и положил на музыку. Впоследствии композитор вспоминал, что это сочинение было навеяно воспоминаниями о посещении им церкви Св. Франциска в Ассизи³¹.

В том же 1948 году было напечатано стихотворение «Франциск Ассизский» поэта русского зарубежья Владимира Доброхотова:

²⁹ Шлуглейт Г. М. Балле Рюс де Монте-Карло // Балет: энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981.

³⁰ Пулитцеровская премия, существующая с 1943 года, вручается «за выдающееся музыкальное произведение американца, первое исполнение которого было дано в течение года».

³¹ Vittorio Crivelli <http://www.forumklassika.ru/entry.php?b=7721> 12.11.2013. Дата посещения 17.09.2024.

Под звуки невидимой арфы пою,
И ширится песня святая,
И птицы мне вторят, как будто в раю,
При каждом аккорде взлетая.

Я вижу, я слышу, как в ясной дали
Поют трубадуры Прованса,
В молении Марии, Царице земли,
Кансоны, сервенты и стансы³².

7 июня 2013 года «Четыре маленькие молитвы святого Франциска Ассизского» Пуленка прозвучали в капелле Санкт-Петербурга во время концерта VII Международного хорового фестиваля. Это произведение — «Quatre petites prieres de saint Francois d'Assise» — исполнил вокальный ансамбль «The Gents» (Нидерланды), под управлением художественного руководителя и дирижера Бенни Ксиллага.

В 1949 году американский композитор *Сет Дэниэлс Бингем* (Seth Bingham) (1882—1972), взяв за основу «Песнь Солнца» св. Франциска, написал сочинение «The Cantic of the Sun» (кантата для хора смешанных голосов с сольным исполнением и сопровождением органа или оркестра).

Бингем преподавал в Йельском университете (1908—1919), а затем в Колумбийском университете и долгое время был органистом в пресвитерианской церкви на Мэдисон-авеню. Сет Бингем сочинил много хоровых и органых произведений на религиозную тему, и его музыка часто исполняется в храмах и на других молитвенных собраниях³³.

В 1954 году немецкий композитор *Карл Орф* (Carl Heinrich Maria Orff) (1895—1982) положил на музыку «Laudes creaturarum: Quas fecit Beatus Francisco ad Laudem et Honorem Dei» для восьмичастного смешанного хора на текст Франциска Ассизского. Впервые это хоровое произведение Карла Орфа было исполнено 21 июля 1957 года в Золингене³⁴.

В 1964 году американский композитор и органист *Ричард (Ирвен) Первис* (Richard Irven Purvis) (1913—1994) написал сюиту ко Дню св. Франциска, заключительной частью которой стала «Песнь Солнца» (Cantic of the sun).

С 1947-го по 1971 год Ричард Первис занимал должность органиста в кафедральном соборе Епископальной епархии Калифорнии (Сан-Франциско). Расположенный на вершине Ноб-Хилл, собор Грейс (Grace — благодать) известен своим 44-колокольным кантрионом, тремя органами и хорами³⁵.

В 1972 году на экраны вышел фильм «Брат Солнце, сестра Луна» режиссера *Франко Дзеффирелли*, который был вдохновлен молитвенными подвигами св. Франциска Ассизского.

После успеха «Ромео и Джульетты» Дзеффирелли начал задумываться об экранизации подвижнической жизни св. Франциска. Вдохновение пришло к режиссеру после автомобильной аварии, как он сам об этом вспоминал: «Я решил снять фильм о Поверелло (Беднячке) после серьезной автомобильной аварии. Меня пригвоздили к кровати и сняли цепь с изображением святого, которую я носил на шее. Она свисала с изголовья кровати, а фигура Франциска сияла перед моими глазами и пригла-

³² Доброхотов В. Стихотворение «Франциск Ассизский» // Эстафета. Сборник стихов русских зарубежных поэтов. Париж; Нью-Йорк, 1948. С. 36.

³³ <https://archives.nypl.org/mus/20304>. Дата посещения 17.09.2024.

³⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff. Дата посещения 17.09.2024.

³⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Cathedral,_San_Francisco. Дата посещения 17.09.2024.

шала меня позаботиться о нем. И я поклялся, что, если выздоровею, мой следующий фильм будет посвящен святому Франциску»³⁶.

Фильм «Брат Солнце, сестра Луна» повествует о жизни св. Франциска и св. Клары Ассизской — от войны с Перуджей (1204 год) до утверждения францисканского ордена папой Иннокентием III в 1209 году. Одну из песен в этой картине исполняет итальянский певец Клаудио Бальони (Claudio Baglioni; род. 1951 г.). «Брат Солнце, сестра Луна» (Fratello Sole, Sorella Luna) — это переработка гимна св. Франциска; текст был написан французским священником Жаном Мари Бенджамином; музыка Пезаро Риза Ортолани³⁷.

В 1972 году Франко Дзеффирелли получил премию «Давида ди Донателло»³⁸ за лучшую режиссуру и был номинирован на «Оскар» за лучшую сценографию в 1974 году. А в октябре 2024 года фильм 1972 года «Брат Солнца, сестра Луна» Франко Дзеффирелли возвратился в кинотеатры в отреставрированной версии.

В 1974 году итальянский композитор Карло Моссо (1931–1995) написал музыкальную композицию *Cantico delle creature* («Песнь хвалы творений»), также известную как «Песнь брата Солнца».

Карло Моссо был ведущей фигурой в музыкальной среде Турина, в 1970-х годах он переехал в Алессандрию³⁹ и до 1985 года был директором консерватории, затем заведовал курсом композиции, которым и руководил до самой смерти в 1995 году⁴⁰.

В 1974 году британский композитор и дирижер Уильям Тернер Уолтон (1902–1983) написал для Международного хорового фестиваля в Корке (Ирландия) музыкальную композицию «Песнь Солнца» (*Cantico del sol*; хор) по мотивам духовного наследия св. Франциска.

Уильям Уолтон — автор литургических композиций, таких, как *Coronation Te Deum* (1952), *Missa brevis* (1966), *Jubilate Deo* (1972), а также *Magnificat* (1974). На стиль Уолтона оказали влияние сочинения И. Ф. Стравинского и С. С. Прокофьева⁴¹.

В 1976 году польский композитор Юлиуш Люциук (Juliusz Luciuk) (1927–2020) (ученик Оливье Мессиаана) сочинил ораторию «Святой Франциск из Ассизи» (*Święty Franciszek z Asyżu*) (оратория для сопрано, тенора, баритона, смешанного хора и оркестра. В 2004 году одно из своих сочинений он посвятил «Святой Кларе Ассизской» (четыре песни для женского хора)⁴².

В 1977 году английский композитор, дирижер и пианист Говард Дэвид Блейк (род. 1938 г.) написал композицию «Песнь святого Франциска» («*Il Cantico del Sole*»). Первое исполнение оркестровой версии для хора и оркестра состоялось 15 мая 1977 года в аббатстве Уорт (Worth Abbey)⁴³.

³⁶ <https://www.doremifasol.org/news/2024/10/04/fratello-sole-sorella-luna-torna-in-sala>. Дата посещения 17.09.2024.

³⁷ https://it.wikipedia.org/wiki/Fratello_sole_sorella_luna. Дата посещения 17.09.2024.

³⁸ «Давид ди Донателло» (итал. Ente David di Donatello) — национальная кинопремия Италии. Ежегодно вручается с 1956 года итальянской Академией кинематографии. Представляет собой золотую копию статуи Давида (которую изваял скульптор Донателло в XV веке) на кубической малахитовой подставке с золотой пластинкой, на которой указаны категория награды, год и победитель. Премия считается итальянским аналогом американской премии «Оскар».

³⁹ Алессандрия — небольшой город, центр одноименной провинции. Город расположен в 90 километрах юго-восточнее Турина, на берегу реки Танаро, в Пьемонте (Италия).

⁴⁰ <https://www.discogs.com/artist/5908924-Carlo-Mosso>. Дата посещения 20.10.2024.

⁴¹ https://en.wikipedia.org/wiki/William_Walton. Дата посещения 20.10.2024.

⁴² https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Luciuk. Дата посещения 20.10.2024.

⁴³ Аббатство Богоматери, Помощницы христиан, обычно известное как аббатство Уорт, расположено недалеко от деревни Тернерс-Хилл в Западном Суссексе, Англия. Это аббатство, основанное в 1933 году, является общиной католических монахов, которые следуют уставу святого Бенедикта

После возвращения в Лондон после паломничества по Святой земле Говард Блейк отправился в библиотеку францисканцев, где нашел «Il Cantico del Sole» на умбрийском диалекте итальянского языка, которую он положил на музыку. Вскоре после этого в аббатстве Уорт состоялось второе исполнение вместе с «Реквиемом» Моцарта, с использованием той же инструментовки, что и у Моцарта. Произведение настолько впечатлило тогдашнего аббата Виктора Фарвелла (1965–1988), что он заказал композитору сочинение для празднования 1500-летия св. Бенедикта в 1980 году. Так родилась драматическая оратория «Бенедиктус», которую Блейк написал, живя с монахами в аббатстве Уорт⁴⁴, Творческая карьера Говарда Блейка длилась более 50 лет, и за это время он создал более 650 произведений.

Под духовным влиянием св. Франциска был Альфред Гарриевич Шнитке (1934–1998) — советский и российский композитор, музыкальный педагог и музыковед. В 70-е годы самой насущной для Шнитке стала духовная и философская литература. В 1977 году на текст знаменитой средневековой лауды Франциска Ассизского, проповедовавшего «святую бедность» и «духовную радость», Шнитке написал «Der Sonnengesang des Franz von Assisi» для двух смешанных хоров и шести инструментов (по-русски — «Кантика брата Солнца, или Похвала творению»).

В 48-летнем возрасте Шнитке принял католицизм; крещение было совершено в Вене 18 июня 1983 года в церкви Св. Августина священником Йозефом Геровичем (из Локенхауза). Однако исповедовался он у московского православного священника Николая Ведерникова, который называл Альфреда человеком великого духа, чистой совести и глубокой веры. Свою духовную позицию прот. Николай высказал в беседе со своим учеником: «Бог один, но люди идут к нему разными путями». С этого времени Шнитке большое внимание уделял церковной музыке. 1984 — Три хора для смешанного хора а капелла: Богородице Дево радуйся; Господи Иисусе Христе; Отче наш. 1987 — Стихи покаянные для смешанного хора без сопровождения в 12 частях. К 1000-летию крещения Руси.

После долгого периода опалы Шнитке был осыпан десятком престижных званий и наград. Среди российских — Ленинская премия (1990) (отказался от премии по этическим соображениям) и Государственная премия Российской Федерации (1995). Скончался в Гамбурге 3 августа 1998 года. По завещанию Шнитке он был похоронен по православному обряду. Отпевание проходило в Москве, в церкви Иоанна Воина на Якиманке, отпевал композитора протоиерей Николай Ведерников. Альфред Шнитке был похоронен на Новодевичьем кладбище.

В 1978 году немецкий композитор Питер Янссенс (1934–1998) сочинил музыкальную пьесу «Франциск Ассизский».

С 1962 года Янссенс сочинял религиозные песни в жанре, позже получившем название Neues Geistliches Lied. Чтобы иметь возможность представлять свои песни на концертах, на церковных службах и в рамках церковных собраний, Янссенс в 1976 году основал «поющий оркестр», в котором певцы образовали постоянный ансамбль для частых выступлений и выступлений в немецкоязычных странах. Янссенс сочинил множество духовных песен, которые вошли, среди прочего, в сборник гимнов Объединенной методистской церкви и в «Сборник евангелических гимнов»⁴⁵.

(480–547). По состоянию на 2020 год община насчитывала 21 монаха. https://en.wikipedia.org/wiki/Worth_Abbey. Дата посещения 20.10. 2024.

⁴⁴ <https://www.howardblake.com/music/Choral/Chorus-Orchestra/480/THE-SONG-OF-SAINT-FRANCIS.htm>. Дата посещения 20.10. 2024.

⁴⁵ https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Janssens. Дата посещения 20.10. 2024.

Contents

Prose and Poetry

- Ksenia Avgust.** Above the Wicker Basket of Earth. *Poems* • 3
Sergey Korolkov. Sacrilege. *Story* • 8
Daria Lontaris. There, Beyond the Oikumene, No One Tasted Me. *Short story* • 30
Victoria Belyaeva. Forgiving Doubts. *Poems* • 50
Tatiana Tikunova. Musketeers From the Cherry Orchard. *Story* • 54
Irina Krupina. Lada Chernyavka. *Short story* • 77
Max Shapiro. Uncle Izya's Doll. *Story* • 91
Ekaterina Spiridonova. Not a Day — Linen Tablecloth. *Poems* • 117
Marat Gizatulin. Book Lover. *Novel. Ending* • 120
Leonid Bezhin. Rainy Alley, or Ten Reports to the Police Department about the Composer Scriabin, the Construction of a Temple in India and the Mystery at the End of Time. *Novel. Continued* • 160

Translations

- Jules Breton.** Poems. *Translated by Mikhail Serebrinsky* • 190

Non-Capital Russia

- Marina Perova.** Earthly Heat. Grafting. Summer Cottage Season. Door to Heaven. *Short stories* • 193

Archipelago of Nobility

- Victoria Kotelnikova.** Captain of the Second Rank. *Short Story* • 207

Beauty of Old Age

- Alexander Melikhov, Vadim Pugach, Aigul Akhmetova.** Beauty of Old Age. *Published for discussion* • 226

Petersburg Bookman

- Art of Reading.** Marina Kudimova. Classical Roots of the Novel „Zinziver“. **Jubilee.** On the 70th Anniversary of Alexei Purin. Alexander Vergelis. Resisting the Emptiness • 236

Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** The Musical Heritage of St. Francis of Assisi. Part 1 • 246

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефоны: (812) 314-72-50, 312-49-23
E-mail: nevaredaction@mail.ru, officeneva@mail.ru

Сайт «Невы»: neva-journal.ru. По вопросам, связанным с интернет-сайтом,
обращайтесь по адресу web@neva-journal.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: <https://magazines.gorky.media/neva>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России»,
подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах
прессы у станций метрополитена.

**По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей,
приобретением** отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18,
тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала
«Нева» на территории РФ осуществляет редакция.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 22.05.2025. Подписано в печать 19.06.2025.
Выход в свет 03.07.2025. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 38

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86
Тел. (812) 207-58-43